

Ammonio  
Sulfato

I

Она окинула взглядом кресла, расставленные перед камином, чайный столик, блестящий в полумраке, и большие бледные снопы цветов, поднимавшиеся из китайских ваз. Она погрузила руку в цветущие ветви калины и раскачала ее серебристо-белые шары. Внезапно она с пристальным вниманием издали посмотрела на себя в зеркало. Изогнув стан, она стала боком, склонила голову на плечо, чтобы проследить тонкие очертания своей фигуры под покровом черного атласа, вокруг которого зыблилась легкая туника, усеянная бисером, сверкавшим темными трепещущими искрами. Она подошла ближе — посмотреть, хороша ли она сегодня. Взор, которым ответило ей зеркало, был спокоен, словно прелестная женщина, на которую она глядела не без удовольствия, не знала в жизни ни жгучей радости, ни глубокой печали.

По стенам обширной гостиной, безлюдной и безмолвной, персонажи гобеленов, тусклые, смутные как тени, пленяли предсмертной грацией своих старинных утех. Подобно им, терракотовые статуэтки на высоких консолях, группы старого саксонского фарфора и расписные севрские изделия под стеклом говорили о прошлом. На пьедестале, отделанном драгоценной бронзой, высился, вырываясь из складок каменной одежды, мраморный бюст некоей принцессы крови в обличии Дианы — с миловидным лицом, с горделивой грудью, а на потолке Ночь, напудренная, как маркиза, и окруженная амурами, сыпала цветы. Все дремало, и слышно лишь было, как потрескивает огонь в камине и легко шелестит материя, расшитая бисером.

Отвернувшись от зеркала, она подошла к окну, приподняла край портьеры и сквозь черные ветви деревьев набережной в тусклом свете дня увидела Сену, покрытую вялой желтой рябью. В светло-серых глазах отразилась скука, источаемая и небом и водой. Прошел пароход «Ласточка»: он появился из-под пролета моста Альмы и понес скромных своих пассажиров к Гренелю и Бильянкуру. Она проводила его взглядом, следя, как его увлекает мутное и грязное течение реки, потом опустила занавеску и, усевшись на диване, в привычном своем углу под кустами цветов, протянула руку за книгой, брошенной на столе. На соломенно-желтом холсте переплета золотыми буквами блестело заглавие: «Изольда белокурая, сочинение Вивиан Белл». То был сборник французских стихов, написанных англичанкой и напечатанных в Лондоне.

Она раскрыла книгу наугад и прочитала:

Когда колокольная медь, молясь, трепеща, торжествуя,

Летит в потрясенную высь, приветствуя деву святую,

Предчувствие первой любви, невинное сердце тревожа,

Безгрешную девичью плоть пронзает неведомой дрожью.

И грезится деве в тиши, в глуши потаенной, зеленой,

Что красную лилию ей вручает гонец окрыленный, —

И, страстно прикинув к цветку, смертельной истомой объята,  
Беспомощно тонет она в потоках его аромата;  
И в сумерках мягких к устам душа подступает несмело,  
И жизнь, как прозрачный ручей, уходит, уходит из тела.[1]

Она читала, равнодушная, рассеянная, ожидая визитеров и думая не столько о поэзии, сколько о поэтессе, об этой мисс Белл, пожалуй, самой приятной среди всех ее знакомых, с которой ей почти никогда не приходилось видеться и которая при каждой из их встреч, столь редких, обнимала и называла ее «darling»[2], быстро клевала ее в щеку и начинала щебетать; некрасивая, но прелестная, чуть смешная и совершенно обворожительная, она вела во Фьезоле жизнь эстета и философа, меж тем как Англия прославляла в ее лице свою самую любимую поэтессу. Она так же, как Вернон Ли[3] и Мэри Робинсон[4], влюбилась в тосканское искусство и в тосканскую жизнь и, даже не окончив «Тристана», первая часть которого внушила Берн-Джонсу[5] замысел мечтательных акварелей, писала теперь французские и провансальские стихи на итальянские мотивы. Свою «Изольду белокурую» она послала darling вместе с письмом, приглашая провести месяц у нее во Фьезоле. Она писала: «Приезжайте, вы увидите самые прекрасные вещи в мире и еще украсите их». А darling думала о том, что не поедет, что решительно все задерживает ее в Париже. Однако же мысль увидеть мисс Белл и Италию не оставляла ее равнодушной. Перелистывая книгу, она случайно обратила внимание на стих:

Любовь и сердце милое — едины.

И она с легкой и очень мягкой иронией задала себе вопрос: любила ли мисс Белл и что это была за любовь? У поэтессы был во Фьезоле чичисбей, князь Альбертинелли. Хотя и очень красивый, он казался слишком пошлым и грубым, чтобы нравиться эстетке, которая с жадной любви соединяла мистические грезы о благовещенье.

— Здравствуйте, Тереза. Я просто изнемогаю.

Это явилась княгиня Сенявина, гибкая, укутанная в меха, как бы неразрывно связанные с ее смуглым неистовым телом. Она порывистым движением опустилась в кресло и голосом резким, хотя и ласкающим, сочетавшим в себе нечто мужское и нечто птичье, сообщила:

— Сегодня утром я с генералом Ларивьером пешком прошла весь Булонский лес. Я встретила его в аллее Слухов и довела до Аржантейльского моста, где он непременно хотел в подарок мне купить у сторожа парка ученую сороку, которая проделывает упражнения с маленьким ружьем. Сил нет.

— Но почему же вы тащили генерала до самого Аржантейльского моста?

— Потому что подагра сводила ему пальцы на ноге.

Тереза пожала плечами, улыбнулась:

— Вы попусту растрчиваете вашу злость. Вы расточительны.

— А вы хотите, дорогая, чтобы я сэкономила и доброту и злость в надежде найти им достойное применение?

И она выпила токайского.

Генерал Ларивьер, о приближении которого мощным шумом возвещало его дыхание, подошел, тяжело ступая, поцеловал дамам руки и сел между ними с видом упрямым и довольным, закатив глаза, смеясь всеми морщинками, образовавшимися у него на висках.

— Как поживает господин Мартен-Беллем? Все по-прежнему занят?

Тереза ответила, что он, должно быть, в палате и даже выступает там с речью.

Княгиня Сенявина ела в это время сэндвичи с икрой; она спросила г-жу Мартен, почему та не была вчера у г-жи Мейан. Там давали спектакль.

— Какую-то скандинавскую пьесу. И что же — удачно?

— Да. Впрочем, не знаю. Я сидела в маленькой зеленой гостиной под портретом герцога Орлеанского[6]. Ко мне подошел господин Ле Мениль и оказал мне одну из тех услуг, какие не забываешь. Он спас меня от господина Гарена.

Генерал, имевший привычку пользоваться разными справочниками и копить в своей большой голове всякого рода полезные сведения, при этом имени наострил уши.

— Гарен? — спросил он. — Министр, который входил в состав кабинета в период изгнания принцев?[7]

— Он самый. Я, видимо, чрезвычайно понравилась ему. Он рассказывал мне о потребностях своего сердца и смотрел на меня с устрашающей нежностью. А время от времени со вздохом взирал на портрет герцога Орлеанского. Я ему сказала: «Господин Гарен, вы ошибаетесь. Это моя свояченица — орлеанистка, а я — нисколько». В эту минуту явился господин Ле Мениль и проводил меня в столовую. Он говорил мне много лестного... по поводу моих лошадей. Еще он говорил, что нет ничего прекраснее, чем леса зимой, рассказывал о волках и волчатах. Это меня освежило.

Генерал, не любивший молодых людей, сказал, что накануне, в Булонском лесу, встретил Ле Мениля, который несся верхом сломя голову.

Он заявил, что только у старых наездников сохранились правильные традиции, что светским людям можно теперь поставить в упрек манеру ездить на жокейский лад.

— То же и с фехтованием, — прибавил он. — В прежние времена...

Княгиня Сенявина внезапно прервала его:

— Генерал, да вы взгляните, как хороша госпожа Мартен. Она всегда прелестна, но сейчас она прелестнее, чем когда бы то ни было. Это потому, что ей скучно. Ничто не идет ей так, как скука. Мы ей ужасно надоели. Вот посмотрите на нее: лоб нахмурен, взгляд блуждает, губы страдальчески сжаты. Жертва!

Она вскочила, бурно обняла Терезу и умчалась, оставив генерала в удивлении.

Госпожа Мартен-Беллем умоляла его не слушать эту сумасшедшую.

Он пришел в себя и спросил:

— А что ваши поэты, сударыня?

Он с трудом прощал г-же Мартен ее пристрастие к людям, которые что-то такое пишут и не принадлежат к ее кругу.

— Да, ваши поэты? Что случилось с господином Шулеттом, который приходит к вам с визитом в красном кашне?

— Мои поэты меня забывают, покидают. Ни на кого нельзя положиться. И люди и вещи — все ненадежно. Жизнь — непрерывная измена. Одна только милая мисс Белл не забывает меня. Она написала мне из Флоренции и прислала свою книгу.

— Мисс Белл — это ведь та молодая особа с вьющимися рыжими волосами, что похожа на комнатную собачку?

Он вычислил в уме и пришел к выводу, что в настоящее время ей наверно уже лет тридцать.

Друг за другом в комнату вошли старая дама, с достоинством, полным скромности, выступавшая в венце седых волос, и маленький живой человечек с хитрым взглядом: то были г-жа Марме и Поль Ванс. Затем, страшно прямой, с моноклем в глазу, появился Даниэль Саломон, законодатель моды. Генерал незаметно удалился.

Заговорили о романе, появившемся за последнюю неделю. Г-жа Марме, оказывается, несколько раз обедала вместе с его автором, человеком молодым и очень приятным. Поль Ванс находил книгу скучной.

— Все книги скучны, — вздохнула г-жа Мартен. — Но люди еще скучнее. И более требовательны.

Госпожа Марме сообщила, что муж ее, у которого был прекрасный литературный вкус, до конца своих дней с отвращением относился к натурализму.

Ее покойный муж был членом Академии надписей, и она появлялась в гостиных, гордая памятью знаменитого ученого, впрочем всегда кроткая и скромная, в черном платье, с красивыми седыми волосами.

Госпожа Мартен сказала Даниэлю Саломону, что хочет посоветоваться с ним по поводу фарфоровой вещицы — группы детей.

— Это сделано на заводе Сен-Клу. Вы мне скажете, нравится ли вам. И вы тоже, господин Ванс, откроете мне свое мнение, если только не презираете подобные пустяки.

Даниэль Саломон с угрюмым высокомерием посмотрел в монокль на Поля Ванса.

Поль Ванс оглядывал гостиную.

— У вас красивые вещи, сударыня, и в этом нет еще ничего особенного. Но у вас только красивые вещи, и они к вам идут.

Она не скрыла, какое удовольствие доставили ей его слова. Из всех, кого она принимала у себя, одного Поля Ванса она считала действительно умным человеком. Она оценила его еще до того, как его книги создали ему громкую известность. Слабое здоровье, хандра, усидчивость в работе отдаляли его от светского общества. Этот маленький желчный человечек не отличался приятностью. Но она старалась привлечь его к себе. Она очень высоко ставила его глубокую иронию, его нелюдимую гордость, его талант, созревший в одиночестве, — и справедливо восхищалась Полем Вансом, как превосходным писателем, автором прекрасных этюдов об искусстве и о нравах.

Гостиная понемногу наполнилась блестящей толпой гостей. В креслах, расставленных

широким кругом, теперь сидели г-жа де Врессон, о которой рассказывали ужасающие истории и которая, после двадцати лет скандалов, еще не совсем забытых, сохранила детские глаза и девически чистое лицо; старуха де Морлен, пронзительным голосом бросавшая острые словечки, бесцеремонная, порывистая, похожая на пловца, окруженного пузырями, — так бурно колыхалось ее чудовищное, огромное тело; г-жа Ремон, жена академика; г-жа Гарен, жена бывшего министра, еще три дамы; прислонясь спиной к камину, стоял г-н Бертье д'Эзелль, редактор «Журналь де Деба»[8] и депутат; он с важным видом поглаживал седые бакенбарды, а г-жа де Морлен ему кричала:

— Ваша статья о биметаллизме[9] — это чудо, это прелесть. Особенно конец — сущий восторг.

В глубине гостиной молодые члены клубов, стоя, необычайно серьезные, сюсюкали между собой:

— И что же он сделал, чтобы получить доступ на охоту к принцу?

— Он — ничего. Зато его жена — все.

У них была своя философия. Ни один из них не верил в людские обещания:

— Терпеть не могу таких субъектов: душа нараспашку, — что на уме, то и на языке... «Вы выставляете в клубе свою кандидатуру? Обещаю вам, что опущу белый шар...» Да будет ли он белый? Как алебастр! Как снег! Приступают к баллотировке. Трах — все черняки! Жизнь, как подумаешь, скверная штука.

— Так ты и не думай, — сказал ему кто-то.

Даниэль Саломон, присоединившийся к ним, целомудренным голосом нашептывал им альковные тайны. И после каждого из диковинных разоблачений, касавшихся г-жи Ремон, г-жи д'Эзелль, княгини Сенявиной, он небрежно прибавлял:

— Это же всем известно.

Мало-помалу толпа гостей поредела. Оставались еще только г-жа Марме и Поль Ванс.

Он подошел к графине Мартен и спросил:

— Когда вам будет угодно, чтобы я представил вам Дешартра?

Он уже во второй раз спрашивал ее об этом. Она не любила видеть новые лица. И с полным равнодушием она ответила ему:

— Вашего скульптора? Да когда хотите. Я на Марсовом поле видела медальоны его работы, они превосходны. Но он мало работает. Он дилетант, не правда ли?

— Он — человек утонченный. Работать для денег ему не надо. Он любовно и медлительно ласкает свои изваяния. Но не поддавайтесь заблуждению, сударыня: он и знает и чувствует; это был бы мастер, если бы он не жил один. Я с ним знаком с детства. Его считают неблагожелательным и мрачным. А он — человек страстный и застенчивый. Чего ему недостает, чего ему всегда будет доставать, чтобы достичь высшего совершенства в своем искусстве, — так это душевной простоты. Он тревожится, терзается и губит лучшие свои замыслы. На мой взгляд, ему больше подошло бы заниматься поэзией или философией, чем скульптурой. Он много знает, и вас поразит богатство его ума.

Госпожа Марме благосклонно подтвердила это.

Она пользовалась расположением света, сама выказывая ему расположение. Она много слушала и мало говорила. Держалась очень любезно и придавала еще большую цену своей любезности тем, что не слишком спешила с ее проявлениями. Потому ли, что ей действительно нравилась г-жа Мартен, потому ли, что она умела в сдержанной форме выразить свое предпочтение каждому дому, в котором бывала, но только она с довольным видом, словно какая-нибудь бабушка, грелась у этого камина в чистейшем стиле Людовика XVI, гармонировавшем с ее красотой — красотой благосклонной старой дамы. Ей не доставало здесь только ее болонки.

— Как поживает Тоби? — спросила ее г-жа Мартен. — Господин Ванс, вы знакомы с Тоби? У него длинная шелковая шерстка и восхитительный черный носик.

В то время как г-жа Марме наслаждалась похвалами по адресу Тоби, появился некий старик, румяный и белокурый, с вьющимися волосами, близорукий, почти слепой, в золотых очках и коротконогий; налетая на мебель, отвешивая поклоны пустым креслам, порывисто устремляясь к зеркалам, он, наконец, чуть не наткнулся крючковатым своим носом на г-жу Марме, взглянувшую на него с негодованием.

То был г-н Шмоль, член Академии надписей, пухленький и улыбающийся; он гримасничал; обращался к графине Мартен с мадригалами, произнося их тем грубым и густым голосом, каким евреи, его предки, требовали денег от своих должников, эльзасских, польских и крымских крестьян. Фразы его были тягучи и неповоротливы. Этот крупнейший филолог, член Французской академии, знал все языки, кроме французского. И г-жу Мартен забавляли его любезности, тяжелые и ржавые, как железный лом в лавке старьевщика; но порой среди них попадался какой-нибудь засохший цветок из Антологии[10]. Г-н Шмоль был ценитель поэзии и женщин и был неглуп.

Госпожа Марме сделала вид, что незнакома с ним, и вышла, не ответив на его поклон.

Исчерпав свои мадригалы, г-н Шмоль стал мрачен и жалок. Стонам его не было конца. Он сетовал на собственную участь: было у него и мало орденов и мало синекур, и недостаточно хороша была казенная квартира, в которой он жил с женой и пятью дочерьми. В жалобах его было некоторое величие. В нем жила душа Иезекииля и Иеремии[11].

По несчастью, склонившись к самому столу, он разглядел сквозь золотые очки книгу Вивиан Белл.

— А-а! «Изольда белокурая», — с горечью воскликнул он. — Вы читаете эту книгу, сударыня? Ну, так да будет вам известно, что мадемуазель Вивиан Белл украла у меня одну надпись и что к тому же она исказила ее, переложив стихами! Вы найдете ее на странице сто девятой.

— Минувшая любовь, не сетуй запоздало, —

Ведь что ушло навек, того и не бывало.

— О нет, пускай душа отчаянья не прячет,

Пусть тень оплачет тень, мечта мечту оплачет![12]

Обратите внимание, сударыня: «Пусть тень оплачет тень»! Так вот, эти слова — буквальный перевод надгробной надписи, которую я первый издал и прокомментировал. Как-то раз в прошлом году, во время обеда у вас, оказавшись за столом рядом с мадемуазель Белл, я процитировал ей эту фразу, и она ей очень понравилась. По ее просьбе я на другой же день

перевел на французский язык всю эту надпись и послал ей. И вот я нахожу ее в сборнике стихов, изуродованную и искаженную, под заголовком: «На священном пути...» Священный путь — это же я!

И он с шутовской досадой повторил:

— Это я, сударыня, священный путь.

Он был недоволен, что поэтесса не упомянула о нем в связи с этой надписью. Ему хотелось бы видеть свое имя в заглавии стихотворения, в самих стихах, в рифме. Ему всегда везде хотелось видеть свое имя. И он искал его в газетах, которыми были набиты его карманы. Но он не был злопамятен. Он не сердился на мисс Белл. Он охотно согласился, что она — личность весьма выдающаяся и что сейчас как поэтесса она приносит Англии величайшую честь.

Когда он удалился, графиня Мартен с полным простодушием спросила у Поля Ванса, не знает ли он, почему милейшая, г-жа Марме, всегда благожелательная, так гневно и не говоря ни слова поглядела на г-на Шмоля. Поль Ванс удивился, что она этого не знает.

— Я никогда ничего не знаю.

— Но ведь распря между Жозефом Шмолем и Луи Марме общеизвестна, и по поводу нее в Академии было столько шума. Конец ей положила только смерть Марме, которого его беспощадный собрат преследовал до самого кладбища Пер-Лашез.

В день, когда хоронили бедного Марме, шел мокрый снег. Мы промокли и продрогли до костей; было грязно, в воздухе — мгла. Над могилой, стоя под зонтиком, на ветру, Шмоль сказал речь, полную веселой жестокости и победоносной жалости, речь, которую потом в траурной карете он повез по редакциям. Один бестолковый знакомый показал ее добрейшей госпоже Марме, и та упала в обморок. Неужели же, сударыня, вы никогда не слышали об этой ученой и свирепой ссоре?

Причиной ее послужил этрусский язык. Марме только им и занимался. Его и прозвали Марме-этруск. Ни он, ни кто другой не знал ни одного слова этого языка, утраченного без остатка. Шмоль непрестанно твердил Марме: «Вы знаете, что вы не знаете этрусского языка, мой дорогой собрат; в этом отношении вы почтенный ученый и добросовестный человек». Уязвленный этими жестокими похвалами, Марме решил показать, что он немножко знает этрусский язык. Он прочел своим собратьям по Академии надписей доклад о роли флексий в древнетосканском наречии.

Госпожа Мартен спросила, что такое флексия.

— Ах, сударыня, если я начну разъяснять, вы совсем запутаетесь. Достаточно будет сказать, что в этом докладе бедный Марме приводил латинские тексты, и приводил их сплошь неверно. А Шмоль — очень крупный латинист и после Моммзена[13] лучший в мире эпиграфист.

Он упрекнул своего молодого собрата (Марме еще не было пятидесяти), что тот слишком хорошо толкует этрусские тексты и недостаточно хорошо латинские. С тех пор Марме уже не знал покоя. На каждом заседании он становился предметом таких свирепо веселых насмешек, таких издевательств, что, несмотря на свою мягкость, все же рассердился. Шмоль незлопамятен. Это — одна из добродетелей его нации. У него нет злобы против тех, кого он мучит. Однажды, подымаясь в обществе Ренана[14] и Опперта[15] по лестнице Академии, он встретился с Марме и протянул ему руку. Марме не взял ее и сказал: «Я вас не знаю». — «Не принимаете ли вы меня за латинскую надпись?» — возразил Шмоль. Вот эти-то слова отчасти причина того, что бедный Марме умер и похоронен. Теперь вы понимаете, что его

вдова, которая свято чтит память мужа, с ужасом смотрит на его врага.

— А я-то пригласила их обедать вместе и еще посадила рядом, бок о бок.

— Это не было безнравственно, сударыня, отнюдь нет, но это было жестоко.

— Вас это, может быть, неприятно удивит, но если бы мне пришлось выбирать между безнравственностью и жестокостью, я предпочла бы сделать что-нибудь безнравственное.

Вошел высокий и худой молодой человек, смуглолицый, с длинными усами; он поклонился с порывистой грацией.

— Господин Ванс, вы, кажется, знакомы с господином Ле Менилем?

Они действительно уже бывали вместе у г-жи Мартен и встречались иногда на фехтовании, в котором Ле Мениль постоянно упражнялся. Еще накануне они виделись у г-жи Мейан.

— Вот у кого бывает скучно, — сказал Поль Ванс.

— Однако там принимают академиков, — заметил г-н Ле Мениль. — Я не преувеличиваю их достоинств, но в общем это избранный круг.

Госпожа Мартен улыбнулась:

— Нам известно, господин Ле Мениль, что у госпожи Мейан вы больше занимались дамами, чем академиками. Вы провожали княгиню Сенявину в столовую и рассказывали ей о волках.

— Что? о волках?

— О волках, волчихах и волчатах и о лесах, которые зимой становятся черными. Нам показалось, что это несколько мрачно для разговора с такой хорошенькой женщиной.

Поль Ванс встал.

— Итак, сударыня, вы мне разрешаете привести к вам моего друга Дешартра. Ему очень хочется познакомиться с вами, и я надеюсь, что он вам понравится. У него живой и гибкий ум. У него столько мыслей!

Госпожа Мартен перебила его:

— О! так много мне и не требуется. С людьми, которые держатся естественно и остаются самими собой, мне редко бывает скучно, а иногда они меня занимают.

Когда Поль Ванс вышел, Ле Мениль прислушался, как, удаляясь, глуше отдаются его шаги в передней, как захлопываются двери; потом он приблизился к ней:

— Завтра, в три часа, у нас — хорошо?

— Так вы еще любите меня?

Он стал торопить ее с ответом, пока они наедине; она же, не без желания подразнить, ответила, что время позднее, что визитов она больше не ждет и что прийти теперь может только ее муж.

Он стал умолять ее. Тогда, не заставляя себя слишком долго просить, она сказала:

— Тебе хочется? Так слушай: завтра я весь день буду свободна. Жди меня на улице Спонтини в три часа. Потом мы пойдем гулять.

Он взглядом поблагодарил ее. Затем, снова сев против нее, по другую сторону камина, спросил, кто такой этот Дешартр, с которым она собирается познакомиться.

— Не я собираюсь с ним знакомиться. Меня с ним знакомят. Это скульптор.

Он выразил сожаление, что у нее потребность видеть новые лица.

— Скульптор? Скульпторы обычно немного грубы.

— О! Этот мало занимается скульптурой. Но если вам неприятно, я не стану его принимать.

— Мне было бы неприятно, если бы общество стало отнимать у вас часть того времени, которое вы дарите мне.

— Друг мой, вы не можете пожаловаться, что я веду слишком светскую жизнь. Я даже не ездила к госпоже Мейан.

— Вы правильно поступаете, что появляетесь там как можно реже: этот дом не для вас.

Он объяснил: у всех дам, которые ездят туда, бывали какие-нибудь истории, о которых знают другие, о которых рассказывают. К тому же г-жа Мейан покровительствует романам. В подтверждение он привел несколько примеров.

Она между тем, полная чудесного спокойствия, вытянула руки и склонила голову набок, глядя на угасающее пламя. Мысли ее куда-то отлетали: ни единого их следа не хранило ни ее лицо, немного грустное, ни томное тело, более пленительное, чем когда бы то ни было в эту минуту душевной дремоты. Глубокая неподвижность сообщала ее прелестному облику нечто роднившее его с произведением искусства.

Он спросил, о чем она думает. Освобождаясь от власти меланхолических чар, навеянных созерцанием догорающих углей и пепла, она проговорила:

— Хотите, завтра мы поедем в какие-нибудь дальние кварталы, в те странные кварталы, где видишь, как живут бедные люди? Я люблю старые улицы, где царит нищета.

Он обещал исполнить ее желание, хоть и дал понять, что находит его нелепым. Эти прогулки, в которые она иногда вовлекала его, были ему неприятны, и он считал их опасными: кто-нибудь мог увидеть.

— А раз уж нам удалось до сих пор не дать повода к разговорам...

Она покачала головой:

— Вы думаете, что о нас никогда никто не говорил? Знают что-нибудь люди или не знают, а разговоры идут. Всего нельзя знать, но все можно сказать.

Она опять погрузилась в задумчивость. Он решил, что она недовольна, рассердилась и только не говорит — почему. Он наклонился и заглянул в ее красивые загадочные глаза, в которых отражались огни камина. Но она его успокоила:

— Я совершенно не знаю, говорят ли обо мне. Да и что мне в этом? Из ничего ничего и не будет.

Он расстался с ней, собираясь обедать в клубе, где его ждал Комон, его приятель, проездом оказавшийся в Париже. Она со спокойной приязнью проводила его глазами. Потом опять углубилась в созерцание тлеющих углей, подернутых пеплом.

И она увидела вновь дни своего детства, замок, в котором проводила долгое, печальное

лето, подстриженные деревья, сырой и мрачный парк, бассейн с дремлющей зеленой водой, мраморных нимф под каштанами и скамейку, где она плакала, желая умереть. Ей и теперь оставалась непонятной причина девичьего отчаяния, охватывавшего ее в ту пору, когда пыл пробуждающегося воображения и таинственные силы плоти повергали ее в тревогу, полную и желаний и страхов. Когда она была ребенком, жизнь манила и пугала ее. А теперь она знала, что жизнь не стоит ни таких тревог, ни таких надежд, что в жизни все вполне обыкновенно. Так и надо было ожидать. Как она этого не предвидела? И она думала:

«Я жила возле мамы. Она была добрая женщина, очень простая и не очень счастливая. Я мечтала о судьбе, совсем непохожей на ее судьбу. Почему? Жизнь вокруг меня была пресная, и будущее я вдыхала, словно воздух, напоенный солью и благоуханиями. Почему? Чего я хотела и чего ждала? Разве я еще не знала, как грустно все на свете?»

Она родилась богатой, среди крикливого блеска только что сколоченного состояния. Дочь того самого Монтессюи, что вначале был мелким банковским служащим в Париже, потом основал два больших кредитных общества, управлял ими, а в трудные часы сумел их поддержать благодаря изобретательности ума, непоколебимой силе характера, неповторимому сочетанию хитрости и честности, и на равной ноге вел переговоры с правительством. Она выросла в историческом замке Жуэнвиле[16], который был куплен, реставрирован и роскошно обставлен ее отцом и за шесть лет своим великолепием, красотой парка и больших прудов сравнялся с Во-ле-Виконтом. Монтессюи брал от жизни все, что она может дать. Прирожденный заядлый атеист, он жаждал всех плотских благ, всех соблазнительных даров нашей земли. В галерее и в гостиных Жуэнвильского замка он собрал картины первоклассных мастеров и драгоценные мраморные изваяния. В пятьдесят лет он обладал самыми красивыми актрисами и несколькими светскими женщинами, которые благодаря ему заблистали еще ярче. Всем, что ценят в обществе, он наслаждался со всем неистовством бурного нрава и изощренностью ума.

А тем временем бедная г-жа Монтессюи, бережливая и домовитая, тщедушная и жалкая, изнывала в Жуэнвиле, в алькове с золочеными колоннами и под взглядом двенадцати исполинских кариатид, подпиравших плафон, на котором Лебрэн изобразил титанов, сраженных громами Юпитера. Там-то, на железной койке, поставленной в ногах большой парадной кровати, она однажды вечером скончалась, истаяв от тоски и печали; во всем мире она любила только своего мужа и свою маленькую гостиную на улице Мобеж, обитую красным узорчатым шелком.

С дочерью она никогда не была близка, чувствуя, что они совсем разные, что у дочери слишком свободный ум, слишком отважное сердце, — мать угадывала в Терезе, пусть кроткой и доброй, ту бурную кровь Монтессюи, ту пылкость души и плоти, от которой сама так страдала и которую ей легче было простить мужу, чем дочери.

Но он, Монтессюи, видел в Терезе свою дочь и любил ее. У него, как у всех крупных хищников, бывали часы обаятельной веселости. Хотя он много времени проводил вне дома, все же успевал почти каждый день завтракать с нею, а иногда брал ее с собой на прогулку. Он знал толк в безделушках и в туалетах. С первого же взгляда он замечал и исправлял ущерб, который наносил платьям девушки убогий, грубый вкус г-жи Монтессюи. Он обучал, он воспитывал свою Терезу. Властный и очаровательный, он умел ее забавлять и привлекал к себе. Даже вблизи дочери его вдохновляла жажда побед. Он, вечно желавший покорять, покорил и свою дочь. Он отнимал ее у матери. Она восхищалась им, боготворила его.

Теперь, думая о прошлом, она видела в нем единственную радость своего детства. Она и теперь еще была убеждена, что нет на свете человека более обаятельного, чем ее отец.

Вступая в жизнь, она сразу же отчаялась найти в ком-либо такое же богатство даров природы, такую же силу ума и энергию. Это чувство безнадежности не оставляло ее и при

выборе мужа, а быть может, и тогда, когда ей пришлось делать выбор тайный и более свободный.

Мужа она в сущности и не выбирала. Она ничего не знала тогда: выдать ее замуж она предоставила отцу; будучи уже вдовцом, он, среди деловой и бурной жизни, смущенный и обеспокоенный необходимостью сложных забот о дочери, решил, по своему обыкновению, сделать все быстро и хорошо. Он принял в расчет внешние преимущества, требования света, оценил восьмидесятилетнюю давность дворянства, приобретенного Мартенами в наполеоновские времена, и наследственную славу рода, дававшего министров Июльскому правительству и либеральной Империи[17]. Ему и в голову не приходило, что в браке Тереза могла бы найти любовь.

Он тешил себя надеждой, что она найдет удовлетворение тщеславию, которое он ей приписывал, познает радости светской жизни, то заурядное, но захватывающее наслаждение роскошью, ту банальную гордость, ту материальную власть, которую он только и ценил; не особенно четко представляя себе, что составляет счастье порядочной женщины в этом мире, он был вполне уверен, что дочь его останется порядочной женщиной. Этого он никогда не подвергал сомнению, был искони в этом убежден.

Думая о нелепом и все же естественном доверии к ней отца, которое так не вязалось с его жизненным опытом и с его взглядами на женщин, она улыбнулась с грустной иронией. И она еще больше восхищалась своим отцом, слишком мудрым, чтобы мудрость превратить в бремя.

В конце концов он не так уж плохо выдал ее замуж, если судить о замужестве с точки зрения светской. Муж ее был не хуже всякого другого. Он стал даже очень сносным. Среди всего, о чем ей говорили догорающие угли при затененном свете лампы, среди всех ее воспоминаний воспоминание о супружеской жизни было самым бледным. Она еще улавливала отдельные мучительно отчетливые отголоски этой жизни, какие-то нелепые образы, впечатление чего-то смутного и скучного. Это время было недолгим и не оставило никакого следа. Теперь, когда прошло шесть лет, она уже, собственно, даже не помнила, как вернула себе свободу, — настолько быстро и легко далась ей победа над этим холодным, болезненным, эгоистичным и учтивым мужем, над этим человеком, высохшим, пожелтевшим среди занятий делами и политикой, трудолюбивым, честолюбивым, ничтожным. Женщин он любил только из тщеславия, а своей жены не любил никогда. Отчуждение было откровенным и полным. С тех пор, друг другу посторонние, они были благодарны друг другу за это взаимное освобождение, и она питала бы к нему дружеские чувства, если бы не видела, что он хитер, скрытен и слишком ловко выманивает ее подпись, когда нуждается в деньгах для своих предприятий, в которых сказывается больше кичливость, чем жадность. Если же отвлечься от этого, то человек, с которым она обедала, разговаривала каждый день, жила в одном доме, путешествовала, ничего не значил для нее, не играл для нее никакой роли.

Съездившись, подперев щеку рукой, она, точно любопытная вопрошательница сибиллы, вспоминала подле угасшего камина годы своего одиночества, и перед ней вновь возник образ маркиза де Ре, возник такой отчетливый и яркий, что она удивилась. Маркиз де Ре, которого ввел к ней ее отец, превозносивший его, предстал перед ней во всем величии и блеске тридцатилетних любовных побед и светских успехов. Его похождения были неотделимы от него. Он обольстил три поколения женщин, и в сердцах всех, кого любил, оставил неизгладимую память о себе. Его мужское обаяние, строгая изысканность и привычка нравиться были причиной того, что молодость его продолжалась за положенными ей пределами. Молодую графиню Мартен он отметил вниманием совсем особым. Восхищение этого знатока польстило ей. Она и сейчас с удовольствием вспоминала об этом. У него была пленительная манера разговаривать. Он ее занимал; она дала ему это понять, и тогда он с героическим легкомыслием поклялся себе достойно завершить свою счастливую жизнь победой над этой молодой женщиной, которую он первый оценил и которой явно нравился.

Чтобы завладеть ею, он пустил в ход самые тонкие уловки. Но она легко от него ускользнула.

Два года спустя она отдалась Роберу Ле Менилю, который желал ее страстно, со всем пылом молодости, со всей простотой своей души. Она говорила себе: «Я отдалась ему, потому что он меня любил». Это была правда. Но правда была и то, что глухой и могучий инстинкт проснулся в ней и что она покорилась силам, таившимся в глубине ее существа. Но сама она тут была ни при чем; она и ее сознание только поверили в подлинное чувство, согласились на него, пожелали его. Она уступила, как только увидела, что возбуждает любовь, близкую к страданию. Отдалась она скоро и просто. Он же счел, что это от легкомыслия. Но он ошибался. Она испытала гнет непоправимого и тот особый стыд, который вызывает в нас внезапная необходимость что-нибудь скрывать. Все, что при ней шептали насчет женщин, у которых есть любовники, звенело у нее в ушах. Но гордая и чуткая, руководясь своим безупречным вкусом, она постаралась скрыть цену дара, который принесла, и ничего не сказать такого, что могло бы связать ее друга помимо его чувств. Он и не подозревал об этой нравственной тревоге, продолжавшейся, впрочем, всего несколько дней и сменившейся совершенным спокойствием. Прошло три года, и теперь она считала свое поведение невинным и естественным. Никому не причинив зла, она не чувствовала и сожалений. Она была довольна. Эта связь была самое лучшее, что она знала в жизни. Она любила, была любима. Правда, она не узнала того опьянения, о котором мечтала. Но испытывает ли его кто-нибудь? Она была подругой хорошего и порядочного человека, которого весьма ценили женщины, который в обществе пользовался большим успехом, слыл презрительным и привередливым, а ей выказывал искреннее чувство. То удовольствие, которое она ему доставляла, и радость быть красивой ради него привязывали ее к другу. Он делал для нее жизнь если и не всегда пленительной, то все же весьма сносной, а порою и приятной.

Он открыл ей сущность ее характера, ее темперамент, ее истинное призвание — то, чего она не угадывала в своем одиночестве, несмотря на томившее ее смутное беспокойство и беспричинную печаль. Узнавая его, она узнавала себя. И для нее это было счастливым открытием. На их взаимную симпатию не влияли ни ум, ни душа. Она питала к нему спокойную и ясную привязанность, и это было прочное чувство. Вот и сейчас ее радовала мысль, что завтра она вновь увидит его в квартире на улице Спонтини, где они встречались в течение трех лет. Она порывисто потрянула головой, пожалала плечами более резко, чем можно было ожидать от этой очаровательной светской дамы, и, сидя у камина, теперь уже угасшего, сказала самой себе: «Да, мне нужна любовь!»

## II

Начинались уже сумерки, когда они вышли из квартирки на улице Спонтини. Робер Ле Мениль знаком подозвал извозчика и, беспокойным взглядом окинув кучера и лошадь, вместе с Терезой сел в экипаж. Прижавшись друг к другу, они ехали среди смутных теней, прорезываемых порой внезапным лучом света, кругом был призрачный город, а душами их владели впечатления нежные и ускользающие, подобные огням, мелькавшим сквозь запотелые стекла. Все, что было вне их, казалось им неясным и неуловимым, и в сердце они ощущали сладостную пустоту. Экипаж остановился у Нового моста, на набережной Августинов.

Они вышли. Сухой холодный воздух оживлял этот хмурый январский день. Тереза радостно вдыхала его сквозь вуалетку, а порывы ветра, дувшего с другой стороны реки, подымали над затвердевшей землей пыль едкую и белую, как соль. Терезе нравилось идти по незнакомым местам, чувствуя себя свободной. Она любила смотреть на этот каменный пейзаж, озаренный слабым и далеким светом, пронизывавшим воздух; идти быстрой и твердой

походкой вдоль набережной, где на фоне неба, рыжеватого от городских дымов, деревья развесили черный тюль своих веток; глядеть, склонившись над парапетом, на узкий рукав Сены, катящей свои зловещие волны; впивать грусть реки, текущей меж плоских берегов и не окаймленной ивами или буками. В высоком небе уже мерцали первые звезды.

— Ветер словно хочет их погасить, — сказала она. Он тоже заметил, что они часто мигают. Он, однако, не думал, чтобы это предвещало дождь, как считают крестьяне. Напротив, ему приходилось наблюдать, что в девяти случаях из десяти звезды мигают перед хорошей погодой.

Подходя к Малому мосту, они по правую руку увидели лавки старьевщиков, где торговля шла при свете коптящих ламп. Она поспешила туда, шаря взглядом в пыли и ржавчине. Страсть собирательницы заговорила в ней: она повернула за угол и даже рискнула зайти в барак с навесом, где под сырыми балками висели какие-то темные лохмотья. За грязными стеклами при огне горевшей свечи видны были кастрюли, фарфоровые вазы, кларнет и подвенечный убор.

Он не понимал, какое удовольствие она находит в этом.

— Вы наберетесь насекомых. Что тут может быть интересного для вас?

— Все. Я думаю о той бедной невесте, чей венок выставлен тут под стеклом. Свадебный обед происходил у ворот Майо. В числе гостей был республиканский гвардеец. Такой бывает почти на всякой свадьбе, которую по субботам видишь в Булонском лесу. Неужели вас не трогают, друг мой, эти бедные существа, смешные и жалкие, — ведь они в свое время тоже отойдут в величавый мир прошлого?

Среди надбитых и разрозненных чашек с узором из цветочков она обнаружила маленький ножик с ручкой из слоновой кости, изображающей фигуру женщины, плоскую и длинную, с прической а ля Ментенон. Тереза купила его за несколько су. Ее приводило в восторг, что у нее уже есть такая же вилка. Ле Мениль признался, что ничего не понимает в подобных безделушках. Но его тетка де Ланнуа — та великий знаток. В Каэне у антикваров только и речи, что о ней. Она в строго выдержанном стиле реставрировала и обставила свой замок. То был сельский дом Жана Ле Мениля, советника руанского парламента в 1779 году. Этот дом, существовавший и до него, упоминался под названием «дом бутылки» в некоем акте 1690 года. В одной из зал нижнего этажа в белых шкафах за решетчатыми дверцами еще и сейчас хранились книги, собранные Жаном Ле Менилем. Тетка де Ланнуа, рассказывал он, решила привести их в порядок. Но в числе их она нашла сочинения легкомысленные и украшенные столь нескромными гравюрами, что пришлось их сжечь.

— Так ваша тетка глупа? — сказала Тереза.

Уже давно ее сердили рассказы о г-же де Ланнуа.

У ее друга в провинции была мать, сестры, тетки, многочисленная родня, которой она не знала и которая раздражала ее. Он говорил о них с восхищением. Ее это возмущало. Сердило ее и то, что он подолгу гостит у этой родни, а возвращаясь, привозит с собой, как ей казалось, запах плесени, узкие взгляды, чувства, оскорбительные для нее. А он наивно удивлялся этой неприязни, страдал от нее.

Он замолчал. При виде кабачка, окна которого ярко пылали сквозь решетки, ему вспомнился поэт Шулетт, слывший пьяницей. Он чуть раздраженно спросил Терезу, встречается ли она с этим Шулеттом, который приезжает к ней в макфарлане, в красном кашне, намотанном до самых ушей.

Ей стало неприятно, что он разговаривает, как генерал Ларивьер. И она скрыла от него, что

не видела Шулетта с осени и что он пренебрегает ею с бесцеремонностью человека занятого, капризного, отнюдь не светского.

— Он умен, оригинален, у него богатое воображение, — сказала она. — Он мне нравится.

А на его упрек, что у нее странный вкус, она с живостью возразила:

— У меня не вкус, а вкусы. Думаю, вы порицаете их не все.

Он не порицал ее. Он только опасался, как бы она не повредила себе, принимая этого пятидесятилетнего представителя богемы, которому не место в почтенном доме.

Она воскликнула:

— Не место в почтенном доме Шулетту? Так вам неизвестно, что он каждый год проводит месяц в Вандее у маркизы де Рие... да, у маркизы де Рие, католички, роялистки, старой шуанки, как она сама себя называет[18]. Но раз уж вас интересует Шулетт, послушайте его последнюю историю. Вот как ее рассказывал мне Поль Ванс. И она мне делается более понятной на этой улице, где женщины ходят в широких кофтах, а на окнах стоят горшки с цветами.

Нынешней зимой, дождливым вечером, Шулетт в каком-то кабачке на улице, название которой я забыла, но которая своим жалким видом, наверно, похожа на эту, встретил одно несчастное создание. Эту женщину отвергли бы даже слуги в кабаке, но он полюбил ее за смирение. Ее зовут Мария. Да и самое это имя — не ее имя, она его прочла на дощечке, прибитой к двери меблированной комнаты под самой крышей, где она поселилась. Шулетта умилила эта беспредельная нищета, эта глубина падения. Он назвал ее своей сестрой и стал целовать ей руки. С тех нор он уже не покидает ее. Он водит ее, простоволосую, с косынкой на плечах, по разным кафе Латинского квартала, где богатые студенты читают журналы. Он говорит ей очень нежные речи. Он плачет, и она плачет. Они пьют, а когда выпьют, дерутся. Он любит ее. Он называет ее целомудреннейшей из женщин, своим крестом и своим спасением. Она ходила в башмаках на босу ногу; он ей подарил клубок грубой шерсти и спицы, чтоб она связала себе чулки, и сам огромными гвоздями подбивает ей башмаки. Он разучивает с ней стихи попроще. Он боится, что нарушит ее нравственную красоту, если вырвет из того позора, среди которого она живет в совершенной простоте и в восхитительной бедности.

Ле Мениль пожал плечами.

— Но он сумасшедший, этот Шулетт! Ну и милые истории рассказывает вам Поль Ванс. Я, разумеется, не аскет, но есть безнравственность, которая мне отвратительна.

Они шли куда глаза глядят. Она задумалась.

— Да, знаю, нравственность, долг... Но долг — кто скажет, что это такое? Уверю вас, что я почти никогда не знаю, в чем заключается долг. Тут то же самое, что бывало с ежом нашей мисс в Жуэнвиле: целые вечера мы искали его под стульями и креслами, а когда находили, уже пора было идти спать.

По его мнению, в словах Терезы было много верного, больше даже, чем ей кажется. Он и сам размышляет о том же, когда бывает один.

— В этом смысле я иногда жалею, что не остался в армии. Предвижу, что вы мне скажете: от военной службы тупеешь. Пусть так, но зато знаешь в точности, что тебе делать, а в жизни это много значит. Я нахожу, что жизнь моего дяди генерала Ла Бриша — прекрасная жизнь, весьма почетная и довольно приятная. Но теперь, когда вся страна вливается в армию, нет

больше ни офицеров, ни солдат. Это напоминает вокзал в воскресный день, когда кондукторы вталкивают в вагоны ошалевших пассажиров. Мой дядя Ла Бриш знал лично всех офицеров и всех солдат своей бригады. У него и сейчас в столовой висит их список. Время от времени он перечитывает его для развлечения. А теперь как прикажете офицеру знать своих солдат?

Она его больше не слушала. Она разглядывала продавщицу жареного картофеля, которая устроилась на углу улицы Галанд в застекленной будке; лицо ее, освещенное пламенем жаровни, выделялось в темноте. Женщина, опуская длинную ложку в шипящий жир, доставала из него золотистые серповидные ломтики картофеля и сыпала их в желтый бумажный кулек, где словно поблескивали соломинки, а рыжеволосая девушка, внимательно следившая за ней, протягивала к ней красную руку с монетой в два су.

Когда девушка унесла свой кулек, Тереза, позавидовав ей, заметила, что проголодалась и непременно хочет попробовать жареного картофеля.

Он сперва воспротивился:

— Ведь неизвестно, как это приготовлено.

Но в конце концов ему пришлось спросить у продавщицы на два су картофеля и проследить, чтобы она его посолила.

Пока Тереза, приподняв вуалетку, ела подрумяненные ломтики, он увлекал ее в безлюдные улицы, подальше от газовых фонарей. Потом они снова оказались на набережной и увидели черную громаду собора, поднимающуюся по ту сторону узкого рукава реки. Луна, повиснув над зубчатым гребнем крыш, серебрила ее скаты.

— Собор богородицы! — проговорила она. — Смотрите, он грузный, как слон, и хрупкий, как насекомое. Луна карабкается на его башни и смотрит на него с обезьяньим лукавством. Тут она не похожа на сельскую луну Жуэнвиля. В Жуэнвиле у меня есть своя дорожка, обыкновенная ровная дорожка, а в конце ее — луна. Она показывается не каждый вечер, но возвращается непременно, полная, красная, привычная. Это — наша соседка по имению, дама из окрестностей. Я в полном смысле слова иду к ней навстречу — из вежливости и из дружбы; а с этой парижской луной не хочется водить знакомство. Это — особа не из приличного общества. Чего она только не видела с тех пор, как бродит по крышам!

Он нежно улыбнулся.

— А! твоя дорожка... ты гуляла по ней одна и полюбила ее за то, что в конце ее — небо, не слишком высокое, не слишком далекое, — я как сейчас вижу эту дорожку.

В Жуэнвильском замке, куда его пригласил на охоту г-н де Монтескью, он впервые увидел Терезу, сразу же ее полюбил, стал желать ее. Там, однажды вечером, на опушке рощи, он ей сказал, что любит ее, а она безмолвно выслушала его, с затуманенным взглядом, страдальчески сжав губы.

Воспоминание об этой дорожке, где она гуляла одна осенними вечерами, умилило, взволновало его, воскресило волшебные часы первых желаний и боязливых надежд. Он нашел ее руку под мехом муфты и пожал тонкую кисть.

Девочка, продававшая фиалки в плетеной корзинке, выложенной еловыми ветками, поняла, что перед ней влюбленные, и подошла предложить цветы. Он купил букетик за два су и поднес Терезе.

Она шла к собору и думала: «Это огромный зверь, зверь из Апокалипсиса...»

На противоположном конце моста другая цветочница, морщинистая, с усами, серая от старости и пыли, увязалась за ними с корзинкой, полной мимоз и роз из Ниццы. Тереза, которая в эту минуту держала фиалки в руке и старалась засунуть их за корсаж, весело сказала старухе:

— Благодарю, у меня все есть.

— Видать, что молодая, — нагло крикнула ей, удаляясь, старуха.

Тереза почти сразу же поняла, и в углах губ и в глазах ее промелькнула улыбка. Теперь они шли в тени, вдоль паперти, мимо расставленных в нишах каменных фигур со скипетрами в руках и с коронами на челе.

— Войдем, — предложила она.

Ему этого не хотелось. Ему было как-то неловко, почти страшно вместе с нею появиться в церкви. Он стал уверять, что сейчас закрыто. Он так думал, ему хотелось, чтобы так было. Но она толкнула дверь и проскользнула внутрь, в огромный храм, где безжизненные стволы колонн уходили в темную высь. В глубине, как призраки, двигались священники, мелькали огни свечей; замолкали последние стоны органа. В наступившей тишине она вздрогнула и проговорила:

— Грусть, которую навевает церковь ночью, всегда меня волнует; чувствуешь величие небытия.

Он ответил:

— Все-таки мы должны во что-то верить. Было бы слишком грустно, если бы не было бога, если бы душа наша не была бессмертна.

Под покровом мрака, ниспадавшего со сводов, она несколько мгновений стояла неподвижно, потом сказала:

— Ах, бедный друг мой, мы не знаем, на что нам и эта жизнь, такая короткая, а вам нужна еще другая, которой нет конца.

В экипаже, отвозившем их домой, он весело сказал, что отлично провел день. Он поцеловал ее, довольный и ею и собой. Но ей не передалось это расположение духа. Чаще всего так с ними и случалось. Последние минуты, проведенные вместе, бывали для нее испорчены предчувствием того, что, расставаясь, он не скажет того слова, которое надо сказать. Обычно он покидал ее как-то сразу, словно для него все пережитое не могло иметь продолжения. При каждом таком расставании ей чудилось, что это разрыв. Она заранее мучилась этим и становилась раздражительна.

Под деревьями аллеи Королевы он взял ее руку и стал покрывать ее короткими частыми поцелуями.

— Ведь правда, Тереза, редко бывает, чтобы двое любили друг друга так, как любим мы?

— Редко ли, не знаю, но мне кажется, что вы меня любите.

— А вы?

— Я тоже вас люблю.

— И всегда будете меня любить?

— Как можно знать?

И, видя, что лицо ее друга омрачилось, она прибавила:

— Вам было бы спокойнее с женщиной, которая поклялась бы любить всю жизнь вас одного?

Тревога его не проходила, вид у него был несчастный. Она смилостивилась и совершенно успокоила его:

— Вы же знаете, друг мой, я не легкомысленна. Я не так расточительна, как княгиня Сенявина.

Простились они почти в самом конце аллеи Королевы. Он удержал экипаж, чтобы ехать на Королевскую улицу. Он должен был обедать в клубе, а оттуда собирался в театр. Времени у него было в обрез.

Тереза вернулась домой пешком. Уже завидев Трокадеро, искрившийся огнями, точно бриллиантовый убор, она вспомнила цветочницу на Малом мосту. Слова, брошенные среди ветра и мрака: «Видать, что молодая» — приходили ей на память, уже не насмешливые, не двусмысленные, а угрожающие и печальные. «Видать, что молодая». Да, она была молода, она была любима — и скучала.

### III

Посреди стола висела целая чаща цветов в широкой корзине золоченой бронзы, а по краям ее, под массивными ручками в виде рогов изобилия, окруженные звездами и пчелами, расправляли крылья орлы. По бокам крылатые фигуры Победы поддерживали пылающие ветви канделябров. Эта ваза в стиле ампир была в 1812 году преподнесена Наполеоном графу Мартену де л'Эн, деду нынешнего графа Мартен-Беллема. Мартен де л'Эн, депутат Законодательного корпуса в 1809 году, был на следующий год назначен членом финансовой комиссии, занятия в которой, кропотливые и хранимые в тайне, соответствовали его характеру, трудолюбивому и робкому. Хоть и будучи либералом в силу наследственных традиций и по собственным склонностям, он понравился императору своим усердием и безупречной ненавязчивой честностью. Два года на него дождем сыпались милости. В 1813 году он вошел в состав умеренного большинства, которое одобрило доклад Лене[19], содержащий запоздалые наставления пошатнувшейся Империи и осудившей ее мощь, так же как ее невзгоды. 1 января 1814 года он вместе со своими коллегами явился в Тюильри. Император оказал им ужасающий прием. Он пошел на них в атаку. Неистовый и мрачный, в страшном сознании своей теперешней силы и близкой гибели, он излил на них весь свой гнев и все презрение.

Он шагал взад и вперед между их смущенными рядами и вдруг схватил за плечи графа Мартена, случайно попавшегося на его пути, стал трясти его, потащил за собою, восклицая: «Разве трон — это четыре доски, покрытые бархатом? Нет. Трон — это человек, и человек этот — я. Вы пожелали забросать меня грязью. А время ли нападать на меня, когда двести тысяч казаков переходят наши границы? Ваш господин Лене — ничтожество. Грязное белье стирают дома». Император исходил яростью, то величественной, то пошлой, и, не переставая, теребил расшитый воротник депутата от Эна. «Народ знает меня. Вас же он не знает. Я избранник наций. А вы неизвестные представители каких-то там департаментов». Он предрек им участь жирондистов. Звон его шпор сопровождал раскаты его голоса. С тех пор граф Мартен уже всю жизнь дрожал и заикался и, все так же дрожа, притаясь в своем доме в Лане, после поражения императора призывал Бурбонов. Вотще обе Реставрации, вотще

Июльская монархия и Вторая империя усеивали крестами и лентами его грудь, по-прежнему не смеявшую вздохнуть свободно. Достигнув самых высоких должностей, удостоившись всяких почестей, которыми его осыпали три короля и один император, он вечно чувствовал на своем плече руку корсиканца. Умер он сенатором при Наполеоне III, оставив сына, страдавшего наследственной дрожью.

Этот сын вступил в брак с м-ль Беллем, дочерью председателя судебной палаты в Бурже, и тем самым — в союз с политической славой рода, который во времена конституционной монархии дал трех министров. Беллемы, служившие при Людовике XV в суде, помогли облагородить якобинское происхождение Мартенов. Вторым граф Мартен принимал участие во всех заседаниях палаты вплоть до самой своей смерти, последовавшей в 1881 году. Шарль Мартен-Беллем, его сын, без особого труда занял там его место. Женившись на м-ль Терезе Монтессю, чье приданое явилось поддержкой для его политической карьеры, он скромно выделялся среди тех четырех-пяти богатых и титулованных буржуа, что, став на сторону демократии и республики, встречали не слишком дурной прием у истых республиканцев, которым льстила аристократичность их имен, а умственное их ничтожество казалось успокоительным.

В столовой, где над дверьми угадывалась в сумраке пятнистая шерсть собак кисти Удри[20], перед бронзовой корзиной, усеянной золотыми пчелами и звездами, между двумя Победями, несущими огни канделябров, граф Мартен-Беллем исполнял роль хозяина с той несколько хмурой любезностью, с той печальной учтивостью, с которой еще недавно в Елисейском дворце перед лицом двора великой северной державы надо было представлять Францию, одинокую и меланхоличную. Время от времени он обращался с бесцветными словами — направо к г-же Гарен, жене бывшего министра юстиции, налево — к княгине Сенявиной, увешанной бриллиантами и скучавшей до боли. Напротив него, по другую сторону корзины, сидя между генералом Ларивьером и г-ном Шмолем, членом Академии надписей, графиня Мартен обмахивала веером свои изящные, нежные плечи. По бокам, за полукружиями, которыми завершался стол, сидели г-н Монтессю, рослый, голубоглазый, с прекрасным цветом лица, молодая родственница — г-жа Беллем де Сен-Ном, не знавшая, куда девать свои длинные худые руки, художник Дювике, Даниэль Саломон, Поль Ванс, депутат Гарен, г-н Беллем де Сен-Ном, какой-то сенатор и Дешартр, впервые обедавший в этом доме. Разговор, вначале дробный и вялый, оживился и перешел в смутный гул, над которым возвышался голос Гарена:

— Всякая ложная идея опасна. Считается, что мечтатели не приносят вреда; это заблуждение: они приносят большой вред. Утопии, самые безобидные на первый взгляд, оказывают самое пагубное действие. Они внушают отвращение к действительности.

— Но ведь и действительность, — сказал Поль Ванс, — тоже может быть нехороша.

Бывший министр юстиции начал уверять, что он сторонник любых усовершенствований. И, не напоминая о том, что в дни Империи он требовал упразднения постоянной армии, а в 1880 году отделения церкви от государства, заявил, что, верный своей программе, остается преданным слугою демократии. Его девиз, говорил он, — это порядок и прогресс. Ему и вправду казалось, что этот девиз изобретен им.

Монтессю с обычным своим грубоватым добродушием возразил:

— Полно, господин Гарен, будьте искренни. Сознаться, что сейчас уже ни одной реформы не проведешь и что, самое большее, удастся изменить цвет почтовых марок. Худо ли, хорошо ли, но все идет так, как должно идти. Да, — прибавил он, — все идет так, как должно идти. Однако все непрерывно изменяется. С тысяча восемьсот семидесятого года промышленность и финансы страны пережили четыре или пять революций, которых экономисты не предвидели и до сих пор еще не могут понять. В обществе, как и в природе,

превращения идут изнутри.

Относительно образа правления он держался простых и четких взглядов. Его, сильно привязанного к настоящему и мало заботящегося о будущем, социалисты нисколько не тревожили. Не беспокоясь о том, угаснут ли когда-нибудь солнце и капитал, он наслаждался тем и другим. По его мнению, надо было отдаться воле событий. Лишь глупцы борются с течением и лишь безумцы желают его опередить.

Но у графа Мартена, человека унылого от природы, были мрачные предчувствия. Он полунамеками предрекал близкие катастрофы.

Его опасения, перелетев через корзину с цветами, потрясли г-на Шмоля, и тот начал сокрушаться и пророчествовать. Он объяснил, что христианские народы сами по себе, без посторонней помощи, неспособны окончательно выйти из состояния варварства и, если бы не евреи и не арабы, Европа еще и сейчас, как во времена крестовых походов, погрязла бы в бездне невежества, нищеты, жестокости.

— Средневековье, — говорил он, — кончилось только в учебниках истории, которые дают школьникам, чтобы забить им головы. В действительности же варвары остаются варварами. Призвание Израиля — просвещать народы. Это Израиль в средние века принес Европе мудрость Азии. Социализм пугает вас. Это недуг христианский, так же как и монашество. А анархизм? Разве вы не узнаете в нем древнюю проказу альбигойцев[21] и вальденсов?[22] Евреи, которые просветили и цивилизовали Европу, одни только и могут спасти ее сейчас от евангельского недуга, снедающего ее. Но они изменили своему долгу. Они стали самыми ярыми христианами среди христиан. И бог наказывает их. Он позволяет, чтобы их изгоняли и грабили. Антисемитизм страшно развивается повсюду. В России моих единоверцев травят, как диких зверей. Во Франции гражданские и военные должности закрываются для евреев. Им больше нет доступа в аристократические клубы. Мой племянник, Исаак Кобленц, вынужден был отказаться от дипломатической карьеры, хотя блестяще сдал экзамен. Супруги некоторых моих коллег, когда моя жена приезжает к ним с визитом, нарочно кладут перед ней антисемитские газеты. И поверите ли, министр народного просвещения отказался представить меня к командорскому кресту, о котором я просил! Вот неблагодарность! Вот заблуждение! Антисемитизм — это смерть, слышите, смерть для европейской цивилизации.

Этот маленький человечек в своей непосредственности не считался ни с какими светскими условностями. Смешной и грозный, он смущал обедающих своей откровенностью. Г-жа Мартен, которую он забавлял, похвалила его:

— Вы по крайней мере защищаете ваших единоверцев; вы, господин Шмоль, не такой, как одна еврейская красавица, моя знакомая: прочитав в газете, что она принимает у себя цвет еврейского общества, она всюду стала вопить, что ее оскорбляют.

— Я уверен, что вы не знаете, сударыня, как прекрасна еврейская мораль, насколько она выше всякой другой морали. Знакома ли вам притча о трех кольцах?[23]

Но этот вопрос затерялся среди гула диалогов, в которых переплетались иностранная политика, выставки живописи, светские скандалы и толки об академических речах. Заговорили о новом романе, о предстоящей премьере. То была комедия. В эпизодической роли там был показан Наполеон.

Разговор теперь сосредоточился на Наполеоне, уже несколько раз выведенном на сцене, а за последнее время изображенном в нескольких весьма ходких книгах; это был модный персонаж, возбуждавший всеобщее внимание, уже больше не народный герой, не отечественный полубог в ботфортах, как в те дни, когда Норвен и Беранже, Шарле и Раффе создавали о нем легенду[24], а любопытная личность, занимательный, живой человек, чей образ нравился артистам, чьи жесты приводили в восторг зрительный зал.

Гарен, построивший свою политическую карьеру на ненависти к Империи, искренно считал, что этот возврат к Наполеону — просто нелепое увлечение. Он не видел в этом никакой опасности, совсем не боялся этого. Страх загорался в нем всегда внезапно и свирепо, а сейчас он был спокоен; он не говорил ни о том, чтобы запретить представления, ни о том, чтобы конфисковать книги, ни о том, чтобы арестовать авторов, ни о том, чтобы вообще что-либо пресечь. Невозмутимый и строгий, он видел в Наполеоне только тэновского кондотьера, который ударил Вольнея ногой в живот[25].

Каждый попытался определить истинную сущность Наполеона. Граф Мартен, перед лицом императорского подарка, перед лицом крылатых Побед, подобающим образом высказался о Наполеоне, устроителе и правителе, и оценил его весьма высоко, как председателя Государственного совета, где слово его вносило ясность в самые темные вопросы.

Гарен утверждал, что на этих пресловутых, заседаниях Наполеон под тем предлогом, будто просит понюшку табаку, брал у членов совета их золотые, украшенные миниатюрами, усеянные бриллиантами табакерки, которых они потом больше и не видели. Кончилось тем, что на заседания стали приходиться с табакерками из бересты. Этот анекдот он слышал от самого Мунье-сына[26].

Монтессюи ценил в Наполеоне любовь к порядку.

— Ему нравилось, когда дело делали хорошо. Сейчас к этому потеряли вкус.

Художник Дювике, который и мыслил как художник, находился в затруднении. В маске Наполеона, привезенной с острова Св. Елены, он не видел знакомых черт прекрасного и властного лица, сохраненного благодаря медалям и бюстам. В разнице легко было убедиться теперь, когда бронзовые копии маски, извлеченные, наконец, с чердаков, висели у всех старьевщиков среди орлов и сфинксов из золоченого дерева. И, по его мнению, раз уж подлинное лицо Наполеона оказывается не наполеоновским, то и подлинная душа Наполеона может быть не наполеоновской. Пожалуй, это душа какого-нибудь доброго буржуа: кое-кто уже высказывается в этом смысле, и он склоняется к такому взгляду. Впрочем, Дювике, мнивший себя портретистом своего века, знал, что знаменитые люди не бывают похожи на сложившиеся о них представления.

Даниэль Саломон заметил, что маска, о которой говорил Дювике, — маска, снятая с безжизненного лица императора и привезенная в Европу доктором Антомарки[27], — впервые была отлита в бронзе и распространена по подписке в 1833 году, при Луи-Филиппе, и что тогда же она возбудила и удивление и недоверие. Этого итальянца, настоящего аптекаря из комедии, болтливой и жадной, подозревали в том, что он сыграл злую шутку. Ученики доктора Галля[28], система которого была тогда в чести, считали маску сомнительной. Они не находили в ней шишек гениальности, а лоб, исследованный согласно теории их учителя, не представлял по своему строению ничего замечательного.

— Вот именно, — сказала княгиня Сенявина, — Наполеон замечателен только тем, что ударил Вольнея ногой в живот и что он крал табакерки, украшенные бриллиантами. Господин Гарен сейчас открыл нам эту истину.

— И к тому же, — сказала г-жа Мартен, — еще не вполне установлено, ударил ли он его.

— Чего только со временем не узнаешь! — весело продолжала княгиня. — Наполеон вообще ничего не сделал: он даже не ударил Вольнея ногой в живот, и у него была голова кретина.

Генерал Ларивьер почувствовал, что пора выступать и ему. Он бросил такую фразу:

— Наполеоновский поход тысяча восемьсот тринадцатого года представляется очень спорным.

На уме у генерала было угодить Гарену, и ничего другого на ум не приходило, все же, после некоторого усилия, ему удалось высказать и более общее суждение:

— Наполеон совершал ошибки: при его положении ему не следовало их совершать.

И он умолк, сильно покраснев.

— А вы, господин Ванс, что вы думаете о Наполеоне?

— Сударыня, я не особенно люблю рубак и головорезов, а завоеватели представляются мне просто-напросто опасными безумцами. И все же образ императора занимает меня, как он занимает и публику. Я нахожу в нем своеобразие и жизненную правду. Нет поэмы, нет романа приключений, которые сравнились бы с «Мемориалом»[29], хотя он и написан довольно нелепо. О Наполеоне же, если хотите знать, я думаю, что, созданный для славы, он явился в блистательной простоте эпического героя. Герой должен быть человечен, а Наполеон и был человечен.

— О-о! — раздались голоса.

Но Поль Ванс продолжал:

— Он был резок и легкомыслен и тем самым глубоко человечен, то есть подобен всякому человеку. Он с необычайной силой желал того, что ценит, чего желает большинство людей. Он сам питал иллюзии, которые внушил народам. В этом была его сила и слабость, его красота. Он верил в славу. О жизни и о вселенной он думал приблизительно то же, что думал о ней какой-нибудь его гренадер. Он навсегда сохранил ту ребяческую серьезность, что тешится саблями и барабанами, и ту особую наивность, без которой не бывает настоящего военного. Он искренно уважал силу. Прежде всего он был человек, плоть от плоти человечества. Не бывало у него мысли, которая не становилась бы поступком, а все его поступки были велики и заурядны. Такое грубое величие и создает героев. И Наполеон — совершенный герой. Его мозг всегда был под стать его руке, этой маленькой и красивой руке, переворошившей весь мир. Он ни одной минуты не беспокоился о том, чего не мог бы достичь.

— Так по-вашему, — сказал Гарен, — это не интеллектуальный гений? Я с вами согласен.

— Он, разумеется, — продолжал Поль Ванс, — обладал тем гением, который нужен, чтобы блистать на гражданской и военной арене мира. Но у него не было гения философского. Этот вид гения — «совсем другая пара манжет», как говорит Бюффон[30]. Мы располагаем собранием его сочинений и речей. В стиле их есть и движение и образность. Но среди этой груды мыслей не встречается ничего философски примечательного, не видно никакого влечения к непостижимому, никакой тревоги о тайне, окутывающей нашу судьбу. Когда на острове Святой Елены он рассуждает о боге и о душе, то кажется, будто перед нами славный четырнадцатилетний школьник. Душа его, брошенная в мир, пришлась по мерке миру и охватила его целиком. Ни одна частица его души не затерялась в бесконечности. Поэт, он знал только поэзию действия. Свою могучую мечту о жизни он ограничил земным. В своем страшном и трогательном ребячестве он полагал, что человек может быть великим, и эта детская вера не покидала его даже наперекор годам и бедствиям. Его молодость, или, точнее, его божественная юность, продолжалась всю жизнь, ибо дни этой жизни так и не сложились вместе, чтобы образовать сознательную зрелость. Вот изумительное свойство людей действия. Они всецело во власти той минуты, которую переживают, и гений их сосредоточивается на чем-нибудь одном. Они сами обновляются непрерывно, и в их жизни ничто не длится. Часы их бытия не связаны цепью важных отвлеченных раздумий. Они не продолжают жить, они сменяют самих себя в ряде поступков. Зато у них и нет внутренней жизни. Этот недостаток особенно чувствуется в Наполеоне, который никогда не жил в себе самом. Отсюда — та легкость характера, которая помогла ему вынести огромное бремя

бедствий и собственных ошибок. Его душа, вечно новая, возрождалась каждое утро. Он более чем кто бы то ни было обладал способностью развлекаться. В первый же раз, как он увидел восход солнца над траурным утесом Святой Елены, он соскочил с постели, насвистывая мотив какого-то романса. То было спокойствие сердца, возвышающееся над судьбой, главное же — то была легкость духа, всегда готового возродиться. Он жил во вне.

Гарен, которому не нравилась такая изощренность мысли и речи, поспешил подвести итог.

— Словом, — сказал он, — в этом человеке были черты чудовища.

— Чудовищ не существует, — возразил Поль Ванс. — А люди, которые слывут чудовищами, вызывают ужас. Наполеона же любил целый народ. Его сила и заключалась в том, что он всюду на своем пути возбуждал любовь. Для солдат было радостью умереть за него.

Графине Мартен хотелось, чтобы Дешартр тоже высказал свое суждение. Но он даже с некоторым испугом уклонился от этого.

— Знакома ли вам, — спросил Шмоль, — притча о трех кольцах, плод божественного вдохновения одного португальского еврея?

Гарен, хотя и делал Полю Вансу комплименты по поводу его блестящего парадокса, сожалел, что остроумие его проявляется в ущерб морали и справедливости.

— Есть правило, — сказал он, — что мужчин надо судить по их поступкам.

— А женщин? — живо спросила княгиня Сенявина. — Вы их тоже судите по поступкам? А почему вы знаете, что они делают?

Звуки голосов сливались со светлым звоном серебра. В комнате было жарко и душно. Лепестки отяжелевших роз сыпались на скатерть. В зарождавшихся мыслях было теперь больше остроты.

Генерал Ларивьер предался мечтам.

— Когда я выйду в отставку, — сказал он своей соседке, — я уеду жить в Тур. Я там буду разводить цветы.

И он похвастался, что он хороший садовод. Его именем называли какой-то сорт роз. И это ему льстило.

Шмоль еще раз спросил, знакома ли кому-нибудь притча о трех кольцах.

Между тем княгиня дразнила депутата:

— Так вам неизвестно, господин Гарен, что одни и те же поступки совершаются по самым разным причинам?

Монтессюи был согласен с ней.

— Совершенно верно! Как вы и сказали, княгиня, поступки ничего не доказывают. Эта мысль поражает нас в связи с одним эпизодом из жизни Дон-Жуана, неизвестным ни Мольеру, ни Моцарту, но сохранившимся в английской легенде, которую я узнал от моего лондонского друга Джемса Лоуэлла. Там говорится, что великий соблазнитель лишь с тремя женщинами даром потерял время. Первая из них была простая горожанка — она любила своего мужа; вторая была монахиня — она не согласилась нарушить обет. Третья долго вела распутную жизнь, уже подурнела и просто была служанкой в притоне. После всего, что она делала, после всего, что она видела, любовь для нее уже не значила ничего. Эти три женщины

повели себя совершенно одинаково в силу весьма различных причин. Поступок сам по себе ничего не доказывает. Лишь вся совокупность поступков, их вес, их сочетание определяют ценность человеческого существа.

— У некоторых наших поступков, — сказала г-жа Мартен, — тот же вид, то же лицо, что и у нас; они наши дети. Иные вовсе на нас не похожи.

Она встала и взяла генерала под руку. Княгиня, проходя в гостиную под руку с Гареном, сказала:

— Тереза права... Иные вовсе на нас не похожи. Как негрятя, прижитые во время сна.

Поблекшие нимфы на гобеленах напрасно улыбались гостям, не замечавшим их.

Госпожа Мартен со своей молодой родственницей, г-жой Беллем де Сен-Ном, разливала кофе. Она сделала комплимент Полю Вансу по поводу того, что он сказал во время обеда.

— Вы судили о Наполеоне с независимостью мысли, какую редко приходится встречать в светских разговорах. Я замечала, что очень красивые дети, когда надуются, напоминают Наполеона в вечер Ватерлоо. Вы открыли мне глубокие причины этого сходства.

Потом, обратившись к Дешартру, спросила: — А вы любите Наполеона?

— Сударыня, я не люблю революцию. А Наполеон — это революция в ботфортах.

— Отчего же вы, господин Дешартр, не сказали этого за столом? Впрочем, понимаю: вы только в укромных уголках согласны быть остроумным.

Граф Мартен-Беллем проводил мужчин в курительную, Поль Ванс один остался с дамами. Княгиня Сенявина спросила его, кончил ли он свой роман и каков его сюжет. Это было произведение, в котором он стремился достичь правдивости, основанной на целой логической цепи вероятностей, приводящих в совокупности своей к чему-либо бесспорному.

— Только таким путем, — сказал он, — роман может приобрести нравственную силу, которая вовсе не свойственна истории, грубо попирающей мораль.

Она спросила, для женщин ли эта книга. Он ответил, что нет.

— Вы, господин Ванс, не правы, что не пишете для женщин. Ведь это именно то, что может сделать для них человек незаурядный.

А на вопрос, чем вызвана у нее эта мысль, она ответила:

— Тем, что все умные женщины, как я вижу, выбирают дураков.

— С которыми им скучно?

— Разумеется. Но мужчины, стоящие выше общего уровня, наскучили бы им еще больше. У них для этого еще больше возможностей... Однако расскажите мне сюжет вашего романа.

— Вы этого хотите?

— Я ничего не хочу.

— Ну, так вот: это очерк народных нравов, история молодого рабочего, трезвого и целомудренного, красивого, как девушка, с нетронутой и замкнутой душой. Он резчик и работает хорошо. Вечера он проводит дома подле матери, которую очень любит. Он учится. Он читает. Мысли застревают в его простом, незащищенном уме, как пули в стене.

Потребностей у него нет. Нет у него ни страстей, ни пороков, которые привязывают к жизни. Он одинок и чист. Одаренный высокими добродетелями, он начинает ими гордиться. Живет он среди жалких скотов. Он видит страдания. Он самоотвержен, но не человеколюбив; у него то холодное милосердие, которое называют альтруизмом. Человечности в нем нет, потому что нет чувственности.

— Вот как! Чтобы быть человеческим, надо быть чувственным?

— Разумеется, княгиня. Жалость живет в недрах нашего тела, как жажда ласк — на поверхности кожи. Он же недостаточно умен, чтобы испытывать сомнения. Он верит в то, что читал. А читал он, что для создания всеобщего счастья стоит лишь разрушить общество. Его терзает жажда мученичества. Однажды утром, поцеловав мать, он уходит: он подстерегает депутата своего округа, социалиста, бросается на него и с возгласом: «Да здравствует анархия!» — вонзает ему долото в живот. Его арестовывают, измеряют, фотографируют, допрашивают, судят, приговаривают к смерти и гильотинируют. Вот вам мой роман.

— Он будет не слишком веселый, — сказала княгиня. — Но это не ваша вина: анархисты ваши так же робки и умеренны, как все прочие французы. Русские, когда принимаются за это дело, проявляют больше смелости и фантазии.

Графиня Мартен подошла к Полю Вансу и спросила, не знает ли он того кроткого господина, который еще не проронил ни слова, а только оглядывается по сторонам с видом заблудившейся собаки. Его пригласил ее муж. Она не знает его имени, вообще ничего не знает о нем.

Поль Ванс мог только сказать, что это сенатор. Он однажды случайно видел его в Люксембургском дворце[31], в галерее, где помещается библиотека.

— Мне хотелось взглянуть на купол, расписанный Делакруа, — на античных героев и мудрецов среди голубоватых миртовых рощ. Вид у этого господина был и тогда несчастный и жалкий; он грелся. От него пахло сырым сукном. Он беседовал со старыми коллегами и, потирая руки, говорил: «Доказательством того, что в нашей республике — наилучший образ правления, для меня служит тот факт, что в тысяча восемьсот семьдесят первом году она за неделю смогла расстрелять шестьдесят тысяч восставших и не утратила популярности. После подобной репрессии любой другой режим стал бы невозможным».

— Так он презлой человек, — заметила г-жа Мартен. — А я-то жалела его, потому что на вид он такой застенчивый и неловкий!

Госпожа Гарен, уронив голову на грудь, безмятежно дремала. Ее хозяйственную душу тешило сонное видение: огород на высоком берегу Луары, где ее приветствовали члены хорового общества.

Жозеф Шмоль и генерал Ларивьер вышли из курительной, и глаза у них еще искрились после тех скабрезностей, которыми они только что поделились. Генерал уселся между княгиней Сенявиной и г-жой Мартен.

— Сегодня утром в Булонском лесу мне повстречалась баронесса Варбург верхом на великолепной лошади. Она мне сказала: «Генерал, как это вы делаете, что у вас всегда прекрасные лошади?» Я ей ответил: «Сударыня, чтобы иметь прекрасных лошадей, надо быть или очень богатым, или очень хитрым».

Он был так доволен этим ответом, что дважды его повторил, подмигивая.

Поль Ванс подошел к графине Мартен:

— Я узнал, как зовут сенатора: его фамилия Луайе, он вице-президент одной политической группы и автор книги, написанной в целях пропаганды под заглавием: «Преступление 2 декабря»[32].

Генерал между тем продолжал:

— Погода была отчаянная. Я стал под навес. Там уже стоял Ле Мениль. Я был в скверном расположении духа. Он же про себя издевался надо мною; я это видел. Он воображает, что если уж я генерал, так должен любить ветер, град и мокрый снег. Какая нелепость! Он мне сказал, что дурная погода ему не мешает и что на будущей неделе он уедет с друзьями охотиться на лисиц.

Наступило молчание; генерал добавил:

— Желаю ему удовольствия, но не завидую. Охота на лисиц не так уж приятна.

— Но она приносит пользу, — сказал Монтессюи. Генерал пожал плечами.

— Лисица опасна для курятников только весной, когда кормит детенышей.

— Лисица, — возразил Монтессюи, — предпочитает курам кроликов. Она — ловкий браконьер и меньше вредит фермерам, чем охотникам. Я в этом кое-что понимаю.

Тереза в рассеянности не слушала, что говорит ей княгиня. Она думала: «Он даже не предупредил меня, что уезжает».

— О чем вы задумались, дорогая?

— Ни о чем интересном.

#### IV

В маленькой комнате, темной и безмолвной, было душно от множества занавесей, портьер, подушек, медвежьих шкур и восточных ковров; на кретоновой обивке стен, среди мишеней для стрельбы и поблекших котильонных значков, накопившихся за три зимы, при ярких отсветах камина блестели лезвия шпаг. На шифоньерке розового дерева, увенчивая ее, стоял, серебряный кубок — приз, полученный от какого-то спортивного общества. На столике с расписной фарфоровой доской возвышался хрустальный бокал, обвитый плющом из золоченой бронзы, а в нем — букет белой сирени; всюду в теплом сумраке дрожали отблески огня. Тереза и Робер, привычные к этой темноте, без труда двигались среди знакомых им вещей. Он закурил папиросу, она же, став спиной к огню, приводила в порядок волосы перед высоким зеркалом, в котором почти не видела себя. Но ей не хотелось зажигать ни лампы, ни свечей. Шпильки она доставала из вазочки богемского хрусталя, уже три года стоявшей на столе, у нее под рукой. Он смотрел, как быстро погружаются в рыжевато-золотистый поток волос ее ярко освещенные пальцы, а лицо ее, ставшее в тени более резким и смуглым, принимает таинственное, почти тревожащее выражение. Она молчала.

Он спросил:

— Милая, ты больше не сердись?

Ему не терпелось получить ответ, заставить ее произнести хоть слово, и она ему ответила:

— Что же мне вам сказать, друг мой? Я могу только повторить то, что сказала, когда пришла. Я нахожу странным, что о ваших намерениях мне пришлось узнать от генерала Ларивьера.

Он видел, что она еще сердится на него, что она держится с ним сухо и неестественно, без той непринужденности, которая обычно делала ее такой очаровательной. Но он притворился, будто считает все это капризом, который скоро пройдет.

— Дорогая моя, я уже объяснял вам. Я вам говорил и еще повторяю, что встретил Ларивьера, когда только что получил письмо от Комона, напоминавшего мне о моем обещании приехать истреблять лисиц в его лесах. Я тотчас же ответил ему. Я рассчитывал сообщить вам об этом сегодня. Жалею, что генерал Ларивьер меня опередил, но ведь это неважно.

Подняв и сомкнув руки над головой, она спокойно взглянула на него, но он не понял этого взгляда.

— Так вы уезжаете?

— На будущей неделе, во вторник или в среду. Пробуду дней десять самое большее.

Она надевала меховую шапочку с прикрепленной к ней веткой омелы.

— И это никак нельзя отложить?

— О нет! Через месяц лисья шкура никуда не будет годиться. И кроме того, Комон пригласил приятелей, славных людей, которых огорчило бы мое отсутствие.

Прикалывая шапочку длинной булавкой, она хмурила брови:

— И такая интересная эта охота?

— Да, очень интересная: лисица пускается на всякие уловки, с которыми надо уметь бороться. Эти животные в самом деле замечательно умны. Я наблюдал ночью, как лисицы охотятся на кроликов. Они устроили настоящую облаву с загонщиками. Уверяю вас, что выгнать лисицу из ее норы вовсе нелегко. И на охоте бывает очень весело. У Комона превосходные вина. Для меня-то это не имеет значения, но другие очень это ценят. Можете себе представить, один из его арендаторов пришел и сообщил ему, что научился у колдуна останавливать лисицу с помощью заклинаний! Но я воспользуюсь не этим оружием и берусь привезти вам полдюжины прекрасных шкур.

— А что прикажете мне с ними делать?

— Из них делают очень красивые ковры.

— А-а... И вы будете охотиться целую неделю?

— Не совсем. Так как я буду очень близко от Семанвиля, то заеду дня на два к моей тетке де Ланнуа. Она меня ждет. В прошлом году в это же время там собралось очень приятное общество. У нее гостили обе ее дочери и три племянницы с мужьями; все эти пять женщин — красивые, веселые, безупречные. Я, наверно, встречу их там в начале будущего месяца — они все съедутся к именинам тетки, — и два дня проведу в Семанвиле.

— Да оставайтесь там, друг мой, сколько хотите. Я буду в отчаянии, если вы из-за меня сократите такое приятное времяпрепровождение.

— Но как же вы, Тереза?

— Я, друг мой, как-нибудь устроюсь.

Огонь угасал. Тень между ними сгущалась. Она сказала задумчиво и как бы чего-то ожидая:

— Правда, это всегда не очень осторожно — оставлять женщину одну.

Он подошел к ней, стараясь уловить в темноте ее взгляд. Он взял ее за руку:

— Вы любите меня?

— О! уверяю вас, что никого другого не люблю... Но...

— Что вы хотите сказать?

— Ничего... Я думаю... думаю о том, что все лето мы бываем врозь, что зимою вы половину времени проводите с вашей родней и с друзьями, и раз уж так мало приходится видеться, то видеться не стоит вообще.

Он зажег свечи. Его лицо выступило из мрака, серьезное и открытое. Он смотрел на нее с доверчивостью, проистекавшей не столько от самомнения — свойства всех влюбленных, сколько от чувства собственного достоинства и от стремления к постоянству, жившего в нем. Он верил в нее, повинувшись предрассудку, порожденному хорошим воспитанием и несложным умом.

— Тереза, я вас люблю, и вы меня любите, я это знаю. Почему вам хочется меня терзать? В вас порой — такая сухость, такая жестокость. Это мучительно.

Она резко тряхнула головкой.

— Что поделаешь? Я жестокая и своевольная. Это уж в крови. Я в отца. Вы знаете Жуэнвиль; вы видели замок, потолки, расписанные Лебреном, гобелены, ткавшиеся в Менси для Фуке [33], вы видели сады, разбитые по планам Ленотра[34], парк, охотничьи угодья, вы говорите, что во всей Франции нет лучших, — но вы не видели рабочего кабинета моего отца: там простой белый стол и шкаф красного дерева. Оттуда все и пошло. За этим столом, перед этим шкафом мой отец сорок лет считал и вычислял — сперва в комнатке на площади Бастилии, потом в квартире на улице Мобеж, где я родилась. Мы тогда еще не были так богаты. Я помню маленькую гостиную, обитую красным узорчатым шелком, — отец завел ее себе после женитьбы, а мама так ее любила. Я — дочь выскочки, или, может быть, завоевателя — это одно и то же. Мы — люди алчные. Мой отец хотел добиться богатства, обладать тем, что покупается, то есть всем. А я... я хочу завоевывать и хочу сохранять... что?.. сама не знаю... счастье, которое у меня есть... или которого у меня нет. Я жадна по-своему на мечты, на иллюзии. О! я знаю, они не стоят всех тревог, испытанных ради них, но одни только эти тревоги чего-нибудь да стоят, потому что мои тревоги — это я, это моя жизнь. Я жадна, когда хочу наслаждаться тем, что люблю, тем, что, мне кажется, я любила. Я не желаю терять. Я — как папа: требую то, что мне должны. И к тому же...

Она понизила голос:

— И к тому же я не лишена темперамента. Вот что, дорогой мой. Я вам надоедаю. Что прикажете делать? Не надо было любить меня.

Эта резкость речи, для него уже привычная, портила ему удовольствие. Но он не беспокоился. Чувствительный ко всему, что она делала, он не был чувствителен к тому, что она говорила, и не придавал значения словам — словам женщины. Сам будучи молчалив, он никак не мог понять, что слова — тоже поступки.

Хотя он ее любил, или, вернее, как раз потому, что он любил ее страстно и доверчиво, он считал своим долгом сопротивляться прихотям, которые казались ему нелепыми. Ему удавалось играть роль властелина, когда он не сердил Терезу, а он в своей наивности всегда

разыгрывал эту роль.

— Вы же знаете, Тереза, что у меня лишь одно желание — быть приятным вам во всем. Так не капризничайте со мной.

— А почему бы мне с вами не капризничать? Если я позволила овладеть мною... или отдалась, то сделала это, конечно, не по расчету и не из чувства долга. Я это сделала... каприза ради.

Он взглянул на нее, удивленный и опечаленный.

— Вас сердит это слово, друг мой? Положим, что я это сделала из любви. И правда, это было от всего сердца и потому что я чувствовала: вы меня любите. Но любовь должна быть в радость, и если я не нахожу в ней удовлетворения того, что вы называете моими капризами и в чем все мои желания, вся моя жизнь, самая моя любовь, то мне это и не нужно, я предпочту быть одна. Вы меня удивляете. Мои капризы! Разве есть в жизни что-нибудь другое? А ваша охота на лисиц — это разве не каприз?

Он очень чистосердечно ответил:

— Если бы я не обещал, клянусь вам, Тереза, я бы с огромной радостью пожертвовал для вас этим маленьким удовольствием.

Она почувствовала, что он говорит правду. Она знала, как точно он выполняет свои обязательства, хотя бы и самые незначительные. Вечно связанный своим словом, он и в светские отношения вносил кропотливую добросовестность. Она увидела, что если будет настаивать, то сможет уговорить его не ехать. Но было уже слишком поздно: ей больше ничего не хотелось добиваться. Теперь она искала лишь острого наслаждения утраты. Она притворилась, будто принимает всерьез этот довод, казавшийся ей довольно глупым:

— Ах, вы обещали!

И она коварно уступила.

Сначала он удивился, но тут же обрадовался, что сумел ее убедить. Он был благодарен ей за то, что она не упрямится. Он обнял ее за талию, стал целовать в затылок и в глаза — поцелуями легкими и частыми, как бы в награду. Он выказал готовность посвятить ей все дни, пока он в Париже.

— Мы сможем, дорогая, увидеться еще раза три или четыре до моего отъезда, даже больше, если вы захотите. Я буду ждать вас здесь столько раз, сколько вы пожелаете. Хотите завтра?

Она доставила себе удовольствие сказать, что не может прийти ни завтра, ни послезавтра и ни в один из следующих дней. Она очень мягко объяснила, что именно ей мешает. Препятствия сперва казались незначительными: необходимость отдать визит, примерить платье, посетить благотворительный базар, выставку, посмотреть гобелены, может быть даже купить их. При ближайшем рассмотрении трудности возрастали, накапливались: визит нельзя было отложить; ехать надо было не на один, а на целых три благотворительных базара; выставки закрывались; гобелены должны были увезти в Америку. Словом, ей было невозможно повидаться с ним еще раз до его отъезда.

Считаться с такими доводами — это было вполне в его духе, и он не заметил, что выставляя их — вовсе не в характере Терезы. Запутавшись в этой легкой сети светских обязательств, он не оказал сопротивления, замолчал и почувствовал себя несчастным.

Подняв левую руку, Тереза откинула портьеру, а правой рукою коснулась ключа, и тут, среди широких сапфирных и рубиновых складок восточной ткани, обернувшись к своему другу,

которого она покидала, проговорила тоном чуть насмешливым и почти трагическим:

— Прощайте, Робер! Веселитесь хорошенько. Мои визиты, мои покупки, ваши поездки — это все пустяки. Правда, из этих пустяков складывается судьба. Прощайте!

Она ушла. Ему хотелось бы проводить ее, но он из щепетильности не решался показываться с ней на улице, если она прямо не настаивала на этом.

На улице Тереза вдруг почувствовала, что она одна, одна в целом мире, и нет у ней ни радости, ни горя. Она как обычно пошла домой пешком. Настал уже вечер, воздух был морозный, ясный и спокойный. Но широкие улицы, по которым она шла в сумраке, усеянном огнями, окутывали ее тем городским теплом, которое так дорого именно горожанам и которое они ощущают даже зимой. Она шла между рядами лачуг, хижин и жалких домишек, остатков от сельских времен Отейля, между которыми то тут, то там вклинивались высокие дома, скучно выставлявшие напоказ зубчатые выступы стен. Маленькие лавчонки, однообразные окна ничего не говорили ей. Все же она чувствовала себя в таинственно дружелюбной власти окружающего, и ей казалось, что камни, что двери домов, что все эти огни, там наверху, за стеклами окон, благосклонны к ней. Она была одна и хотела быть одна.

Путь, который ей надо было пройти между двумя квартирами, почти одинаково привычными для нее, этот путь, который она проходила столько раз, представлялся ей отныне уже неповторимым. Почему? Что принес с собою этот день? Самое большее — легкую размолвку, даже не ссору. И все же он оставил после себя слабый, странный, упорный привкус, нечто незнакомое и непреходящее. Что же случилось? Ничего. И это ничто уничтожало все. У нее была смутная уверенность, что она больше никогда не вернется в эту комнату, которая еще недавно заключала самое сокровенное, самое дорогое в ее жизни. Ведь у нее была подлинная привязанность. Тереза серьезно относилась к ней, отчетливо сознавая, как необходима ей эта радость. Созданная для любви, но очень рассудительная, всецело отдавая себя, Тереза не теряла истинного благоразумия и стремления к безопасности, которые в ней были так сильны. Она не выбирала: тут выбора не бывает. Не дала она также настигнуть себя случайно, врасплох. Она сделала то, чего хотела — насколько в подобных делах возможно делать то, что хочешь. Ей ни о чем не приходилось жалеть. Он явился для нее тем, чем и должен был быть: следовало отдать справедливость этому человеку, который пользовался большим успехом в свете и, если бы пожелал, мог бы обладать любой женщиной. И тем не менее она чувствовала, что настал конец, настал сам собою. С холодной меланхолией она думала: «Вот три года моей жизни. Он — порядочный человек, любит меня, и я его любила — ведь я же любила его. Иначе и не могло быть — ведь я отдалась ему. А я не какая-нибудь развратница». Но она уже не в силах была воскресить чувства тех дней, тот порыв души и плоти, в котором отдалась ему. Ей вспоминались мелкие и совершенно незначительные подробности: цветы на обоях и картины, висевшие в комнате, в какой-то гостинице. Ей приходили на память те чуточку смешные и почти трогательные слова, которые он ей говорил. Но ей казалось, что все это случилось с какой-то другой совсем посторонней женщиной, которую она не особенно любила и не могла понять.

И то, что было сейчас, ласки, еще горевшие на ее теле, все это уже ушло вдаль. Постель, сирень в хрустальном бокале, вазочка из богемского хрустала, где лежали ее шпильки, — все это она как будто видела мимоходом сквозь стекло чужого окна. Она не чувствовала ни горечи, ни даже грусти. Прощать ей — увы! — было нечего. Отлучка на неделю — ведь не измена, тут нет вины перед ней, это было ничто, и это было все. Это был конец. Она знала это. Она хотела порвать с ним, хотела, как падающий камень хочет упасть. Она подчинялась всем затаенным силам своего существа и самой природы. Она думала: «У меня нет причин любить его меньше. Но разве я уже не люблю его? Да и любила ли я его когда-нибудь?» Она не знала, но ей и неважно было знать.

В течение трех лет она приходила к нему на свидание по три-четыре раза в неделю. Были

месяцы, когда они встречались каждый день. И все это ничего не значило? Но ведь и сама жизнь не многого стоит. А то, что вкладываешь в нее, какая это малость!

Как бы то ни было, ей не на что жаловаться. Но лучше кончать. Все ее раздумья приводили к этому. То было не решение — ведь решения можно менять. То было нечто более серьезное — особое состояние плоти и мысли.

Когда она дошла до площади, где посредине был бассейн, а с краю возвышалась церковь в сельском вкусе с открытой колокольней, ей вспомнился букет фиалок, ценою в два су, который он подарил ей однажды вечером на Малом мосту у Собора богородицы. В тот день они любили друг друга, быть может более бездумно, с большей свободой, чем обычно. Сердце ее смягчилось при этом воспоминании. Она стала перебирать прошлое в своей памяти, но ничего не находила. Вспоминался только букетик, жалкие останки цветов.

Она шла в раздумье, и прохожие, введенные в заблуждение простотой ее одежды, уже увязывались за ней. Один из них предложил ей пообедать в отдельном кабинете и поехать в театр. Это втайне позабавило ее и развлекло. Она нисколько не была потрясена; нет, тут не было никакого надрыва. Она подумала: «Как же поступают другие женщины? А я-то еще радовалась, что не гублю свою жизнь. Многого она стоит, эта жизнь!» Дойдя до Музея религий с его фонарем в новогреческом стиле, она увидела, что улица разрыта из-за каких-то подземных работ. Над глубоким рвом, между кучами черной земли, грудями булыжника и каменных плит, была перекинута узкая шаткая доска. Она уже ступила на этот мостик, как вдруг увидела по другую ее сторону мужчину, — он остановился, ожидая, когда она пройдет. Мужчина узнал ее и поклонился. Это был Дешартр. Когда она поравнялась с ним, ей показалось, что он рад этой встрече; она улыбкой поблагодарила его. Он попросил у нее разрешения проводить ее. И они вдвоем вышли к тому месту, где улица становится шире: их обдало холодом. Дома здесь расступаются, ступеньки высятся и уже не так заслоняют небо.

Он сказал, что издали узнал ее по ритму линий и движений, свойственных только ей.

— Красота в движениях, — прибавил он, — это музыка для глаз.

Она ответила, что очень любит ходить пешком: это доставляет ей удовольствие и полезно для здоровья.

Ему тоже нравились долгие прогулки пешком по многолюдным городам или среди живописной местности. Его манит таинственная прелесть больших дорог. Он любит путешествия: они, хоть и стали теперь доступными и легкими, все же сохранили для него свое могучее очарование. Ему знакомы и пронизанные золотом дни и прозрачные ночи, он видел Грецию, Египет и Босфор. Но он все вновь и вновь обращается к Италии, родине своей души.

— Я еду туда на будущей неделе, — сказал он. — Я опять хочу увидеть Равенну, дремлющую среди черных сосен на голом берегу. Бывали вы в Равенне, графиня? Это — зачарованная усыпальница, где витают блистательные призраки. Там царит волшебство смерти. При виде мозаик святого Виталия и двух святых Аполлинариев[35], с их варварскими ангелами и императрицами в ореолах, начинаешь чувствовать всю чудовищную прелесть Востока. Гробница Галлы Платидии[36], лишенная теперь своих серебряных украшений, просто страшна под сводами сверкающего и все же мрачного склепа. Когда смотришь в щель саркофага, кажется, что видишь там дочь Феодосия: вот она сидит на золотом кресле прямо и строго, в одежде, усеянной драгоценными камнями, с шитьем, изображающим сцены из Ветхого Завета; видишь ее суровое и темное лицо, которое благодаря бальзамировке сохранилось в своей жестокой красоте, и руки, будто из черного дерева, неподвижно лежащие на коленях. Тринадцать столетий сохраняла она это могильное величие, пока однажды ребенок не просунул свечу в отверстие гробницы и не сжег тело вместе с одеянием.

Госпожа Мартен-Беллем спросила, что делала в жизни эта покойница, столь упорная в своей гордыне.

— Дважды была рабыней, — ответил Дешартр, — и дважды вновь становилась императрицей.

— Наверно, она была красивая, — сказала г-жа Мартен. — Вы слишком хорошо изобразили, как она покоится в склепе; мне даже стало страшно. А вы не поедете в Венецию, господин Дешартр? Или вы устали от гондол, от каналов, окаймленных дворцами, от голубей площади святого Марка? А я, признаюсь, до сих пор люблю Венецию, хоть и была уже там три раза.

Он был согласен с нею. Он тоже любил Венецию. Всякий раз, приезжая туда, он из скульптора превращался в живописца и занимался этюдами. Там ему хотелось перенести на полотно самый воздух.

— Всюду в других местах, — сказал он, — даже во Флоренции, небо так далеко, оно где-то в самой вышине, в самой глубине. А в Венеции оно везде; оно ласкает воду и землю, любовно окутывает свинцовые купола и мраморные фасады, бросает в радужное пространство свои жемчуга и хрустали. Красота Венеции — это ее небо и ее женщины. Как прелестны венецианки. И какая гордая красота! Под покровом черных шалей угадывается округлость их стройных и гибких тел. Если бы даже от всех этих женщин осталась одна какая-нибудь косточка, и то по ней можно было бы судить, как чудесно они были сложены. По воскресеньям в церкви они образуют веселые и подвижные группы, — это целое море женских фигур, несколько сухощавых иной раз, изящных головок, цветущих улыбок, жгучих взглядов. И все они с гибкостью молодых животных склоняются, когда выходит с дароносицей священник, а он всем своим видом напоминает Вителлия[37], подбородок его утопает в ризе, а впереди идут двое маленьких служек.

Дешартр шел неровным шагом, подчиняясь течению своих мыслей, то быстрых, то медленных. Тереза двигалась спокойной поступью и даже обгоняла его. Глядя на нее сбоку, он отмечал ту гибкость и твердость в ее походке, которая так нравилась ему. Он видел, как она время от времени слегка встряхивает головой, как от этого покачивается на ее шапочке веточка омелы.

Он невольно отдавался очарованию этой почти дружеской встречи с почти незнакомой женщиной.

Они дошли до того места, где посреди широкой улицы в четыре ряда насажены платаны. Они шли вдоль каменного парапета, над которым поднимается живая изгородь, к счастью скрывающая словно занавесой уродство казарменных строений, расположенных внизу на набережной. А дальше, по молочно-белой дымке, какая в погожие дни висит над водой, угадывалась река. Небо было ясное. Огни города сливались со звездами. На юге блестели три золотых гвоздика — перевязь Ориона.

— В прошлом году в Венеции каждое утро, выходя из дома, я видел на пороге двери, возвышавшейся на три ступеньки над каналом, удивительную девушку с маленькой головкой, круглой и крепкой шеей, гибким станом. Она стояла там, в лучах солнца, среди всякой ветоши, чистая, как амфора, пьянящая, как цветок. Она улыбалась. Какие губы! Великолепнейшая драгоценность в ярчайшем блеске! Я вовремя заметил, что улыбается она мяснику, стоявшему за моей спиной с корзиной на голове.

На углу переулка, спускающегося к набережной, между двумя рядами палисадников, г-жа Мартен замедлила шаг.

— Да, — сказала она, — в Венеции женщины красивые.

— Они там, сударыня, почти все красивые. Я имею в виду девушек из простонародья, табачниц, молоденьких работниц со стеклянных заводов. Остальные — такие же, как везде.

— Остальные — вы хотите сказать: светские женщины? И этих женщин вы не любите?

— Светских женщин? О! есть среди них очаровательные. А вот любить их — дело не простое.

— Вы думаете?

Она протянула ему руку и быстро свернула за угол.

V

В тот вечер она обедала вдвоем с мужем. Стол не был раздвинут, на нем не стояло ни корзины с золотыми орлами, ни крылатых Побед. Канделябры не освещали над дверями собак кисти Удри. Он рассуждал о событиях дня, а она была погружена в мрачное раздумье. Ей казалось, будто, заблудившись, она идет в тумане, совсем одна. В душе было тихое и почти приятное чувство боли. Ей смутно, словно сквозь мглу, представлялась комнатка на улице Спонтини, перенесенная черными ангелами на одну из вершин Гималаев. А он исчезал в этом крушении мира и был такой обыкновенный, даже успел надеть перчатки. Она пощупала себе пульс, чтобы проверить, не лихорадит ли ее. Но вдруг ее пробудил резкий звон серебра на столике для посуды. Она услышала слова:

— Дорогая, сегодня Гаво произнес в палате превосходную речь по поводу пенсионных касс. Поразительно, до чего здраво он теперь стал мыслить и как он метко бьет. Он сделал большие успехи.

Она не могла удержаться от улыбки:

— Но, друг мой, ведь Гаво — жалкий малый, он всегда только о том и думает, как бы ему вырваться из толпы всех этих бедняков и протиснуться вперед. Гаво действует преимущественно локтями. Неужели в политических кругах его принимают всерьез? Поверьте, что ни одной женщине он никогда не внушал иллюзий, даже собственной жене. А между тем немного требуется, чтобы внушать такие иллюзии, уверяю вас. И она внезапно прибавила:

— Знаете, мисс Белл пригласила меня провести месяц у нее во Фьезоле. Я приняла приглашение, я поеду.

Скорее недовольный, чем удивленный, он спросил, с кем она поедет.

Она сразу же нашлась:

— С госпожой Марме.

Возразить было нечего. Г-жа Марме вполне могла сыграть роль почтенной компаньонки, она как будто специально была предназначена для Италии, где муж ее, Марме-этруск, производил раскопки античных некрополей. Он только спросил:

— Вы с ней уже говорили об этом? Когда же вы думаете ехать?

— На будущей неделе.

Он имел благоразумие ничего не возразить, ибо считал, что если станет сейчас противоречить, то ее мимолетный каприз укрепитя; и он, опасаясь, как бы нелепая затея не воплотилась в жизнь, вскользь заметил:

— Разумеется, путешествия — приятное развлечение. Я думаю, мы могли бы этой весной посетить Кавказ, Туркестан, Закаспийские области. Места любопытные и мало известные. Генерал Анненков[38] предоставил бы в наше распоряжение вагоны, даже целые поезда на железной дороге, которую он построил. Он мой друг, вы ему очень нравитесь. Он даст нам конвой из казаков. Это будет довольно внушительно.

Он упорно старался подействовать на ее тщеславие, так как не представлял себе, что ей могут быть чужды светские склонности и что ею, в отличие от него, не движет честолюбие. Она небрежным тоном ответила, что это, пожалуй, было бы неплохое путешествие. Тогда он стал расписывать красоты Кавказских гор, древние города, базары, одежды, оружие. Он прибавил:

— Мы могли бы взять с собой и кое-кого из знакомых, княгиню Сенявину, генерала Ларивьера, может быть Ванса или Ле Мениля.

Сухо засмеявшись, Тереза ответила, что они еще успеют выбрать спутников.

Он стал внимателен, предупредителен:

— Вы ничего не едите. Так можно испортить себе желудок.

Не веря еще в этот неожиданный отъезд, он все же забеспокоился. Они предоставили друг другу полную свободу, но он не любил одиночества. Он чувствовал себя хорошо лишь тогда, когда жена была с ним вместе, и в доме все шло заведенным порядком. К тому же он решил дать во время парламентской сессии два-три больших политических обеда. Он видел, что партия его растет. Было самое время утвердиться, показаться во всем блеске. Он многозначительно сказал:

— Могут представиться такие обстоятельства, что нам понадобится содействие всех наших друзей. Вы следили за ходом событий, Тереза?

— Нет, друг мой.

— Очень жаль. Вы рассудительны, у вас широкий взгляд. Если бы вы следили за ходом политических событий, вы заметили бы, что страну влечет к умеренному образу мыслей. Страна устала от крайностей. Она отбрасывает людей, скомпрометированных радикальной политикой и гонениями на религию. Не сегодня-завтра надо будет составить правительство в духе Казимира-Перье[39], и тогда...

Он остановился: она слишком уж безразлично, слишком невнимательно слушала его.

Печальная и разочарованная, она размышляла. Ей казалось, что красивая женщина, там, в теплом сумраке укромного уголка, погружавшая босые ноги в бурый медвежий мех, женщина, которую возлюбленный целовал в затылок, пока она причесывалась перед зеркалом, была вовсе не она, Тереза, не какая-нибудь знакомая ей дама или женщина, с которой она хотела бы познакомиться, а особа, дела которой ее ничуть не касались. Плохо заколотая шпилька, одна из тех, что лежали в вазочке богемского хрусталя, скользнула ей за воротник. Она вздрогнула.

— Все-таки придется, — сказал граф Мартен-Беллем, — дать три или четыре обеда нашим политическим единомышленникам. Пусть прежние радикалы встретятся у нас с людьми нашего круга. Хорошо было бы также пригласить несколько хорошеньких женщин. Например,

госпожу Берар де ла Малль: вот уже два года, как про нее ничего не рассказывают. Как вы думаете?

— Но, друг мой, ведь я на будущей неделе уезжаю...

Он был совершенно подавлен этим.

Безмолвные и хмурые, они прошли в маленькую гостиную, где ждал уже Поль Ванс. Он часто запросто приходил по вечерам.

Тереза протянула ему руку:

— Очень рада видеть вас. Я хочу с вами проститься, правда ненадолго. В Париже холодно и мрачно. Такая погода утомляет меня и наводит тоску. Я собираюсь месяца полтора провести во Флоренции, у мисс Белл.

Господин Мартен-Беллем возвел глаза к небу. Ванс спросил, разве она прежде не бывала в Италии.

— Три раза, но я ничего не видела. А теперь я хочу видеть, хочу броситься в жизнь, окунуться в нее... Живя во Флоренции, я буду совершать прогулки по Умбрии, по Тоскане. А под конец поеду в Венецию.

— Прекрасно сделаете. Венеция — воскресный отдых после великих будней Италии, этой божественной созидательницы.

— Ваш друг Дешартр очень мило рассказывал мне про Венецию, про воздух Венеции, который сыплет жемчуга.

— Да, в Венеции небо играет красками. Во Флоренции оно более одухотворенное. Один старинный писатель сказал: «Небо Флоренции, легкое и нежное, питает прекрасные мысли человека». В Тоскане я провел очаровательные дни. Я был бы рад пережить их вновь.

— Приезжайте ко мне туда.

Он вздохнул:

— Газеты, журналы, наша поденщина...

Господин Мартен-Беллем сказал, что перед такими доводами надо смириться, а читать статьи и книги господина Поля Ванса — слишком большое счастье, чтобы желать отвлечь его от таких трудов.

— Ну, мои книги!.. В книге никогда не скажешь того, что хотелось бы сказать. Выразить себя — невозможно! Ну, конечно, я не хуже другого умею пользоваться пером. Но говорить, писать — до чего все это жалко! Как подумаешь — что за убожество все эти маленькие значки, из которых составляются слоги, слова, предложения. Во что превращается мысль, прекрасная мысль, под сетью этих гадких иероглифов, и пошлых и странных? Чем становится для читателя страница, написанная мной? Цепью ошибок, противоречий и бессмыслиц. Читать, слушать — то же, что переводить. Бывают, пожалуй, прекрасные переводы. Но точных не бывает. Пусть восхищаются моими книгами — что мне до того, если читатели восхищаются тем, что сами вложили в них? Каждый читатель подменяет наше зрение своим. Мы даем только пищу его фантазии. И это ужасно — давать повод к таким упражнениям. Гнусная профессия.

— Вы шутите, — сказал г-н Мартен.

— Не думаю, — сказала Тереза. — Он просто сознает, что души непроницаемы друг для друга, и мучится этим. Он чувствует себя одиноким, когда думает, одиноким, когда пишет. Что бы мы ни делали, мы всегда одиноки. Вот что он имеет в виду. И он прав. Объясниться всегда можно, но понять друг друга — никогда.

— Есть язык жестов, — сказал Поль Ванс.

— Не думаете ли вы, господин Ванс, что это также своего рода иероглифы? Скажите, а что слышно о господине Шулетте? Я его совсем не вижу.

Ванс ответил, что Шулетт сейчас очень занят преобразованием мирской конгрегации святого Франциска.

— Эта мысль, сударыня, возникла у него чудесным образом, когда он собрался посетить Марию на той улице, где она живет, — за городской больницей, — на улице вечно сырой, с покосившимися домами. Вы ведь знаете, что Мария — это мученица и святая, искупающая грехи народа. Он дернул рукоятку звонка, засаленную посетителями в течение двух столетий. То ли мученица находилась в винном погребе, где она свой человек, то ли была занята у себя в комнате, но она ему не отворила. Шулетт звонил долго, и так рьяно, что рукоятка вместе с веревкой осталась у него в руках. Умея воспринимать символы и проникать в сокровенный смысл вещей, он сразу понял, что веревка оборвалась не без согласия божественных сил. Он стал об этом размышлять. Веревка была покрыта черной липкой грязью. Он препоясался этой веревкой, и тут его осенило, что он призван вернуть конгрегации святого Франциска ее первоначальную чистоту[40]. Шулетт отрекся от женской красоты, от утех поэзии, от блеска славы и начал изучать жизнь и учение блаженного Франциска. Все же он продал своему издателю книгу, озаглавленную «Коварные ласки» и, по его словам, заключающую в себе описание всех видов любви. Он гордится, что показал себя в ней греховным не без изящества. Но, отнюдь не препятствуя его мистическим начинаниям, эта книга даже способствует им в том смысле, что впоследствии, когда новый его труд послужит поправкой к ней, она станет весьма почтенным и даже поучительным сочинением; к тому же золото, — он предпочитает говорить «злато», — которое он получил за нее и которого ему бы не дали за вещь более целомудренную, послужит ему для паломничества в Ассизи.

Госпожу Мартен рассказ позабавил, и она спросила, что в этой истории соответствует действительности. Ванс ответил, что лучше в это не вникать.

Он наполовину признался, что как биограф идеализировал поэта и что похождения, о которых он рассказывает, не следует принимать в буквальном и узком смысле.

Во всяком случае, он утверждал, что Шулетт издает свои «Коварные ласки» и хочет посетить келью и могилу святого Франциска.

— Но если так, — воскликнула г-жа Мартен, — я повезу его в Италию. Господин Ванс, отыщите его и приведите ко мне. Я еду на будущей неделе.

Господин Мартен извинился, что вынужден их покинуть. Ему необходимо закончить доклад; он должен быть представлен завтра.

Госпожа Мартен сказала, что нет человека, который занимал бы ее более, чем Шулетт. Поль Ванс тоже считал его очень своеобразным существом.

— Он мало чем отличается от тех святых, необыкновенные жития которых нам приходилось читать. Он так же искренен, как они, одарен удивительной тонкостью чувств и неистовой силой души. Если от многих его поступков нас коробит, то это потому, что он слабее святых, что у него меньше выдержки, или, может быть, просто потому, что мы видим его вблизи. А к тому же есть ведь и грешные святые, как есть грешные ангелы: Шулетт — грешный святой,

вот в чем дело. Но его стихи — подлинно духовные стихи, и они много прекраснее всего, что создали в этом роде придворные епископы и театральные поэты семнадцатого века[41].

Она перебила его:

— Пока я не забыла, хочу вам похвалить вашего друга Дешартра. Это обаятельный ум.

И она прибавила:

— Может быть, он только слишком замкнут в себе. Ванс напомнил: он ведь говорил ей, что Дешартр ее заинтересует.

— Я его знаю как самого себя, мы друзья с детства.

— Вы были знакомы с его семьей?

— Да. Он — единственный сын Филиппа Дешартра.

— Архитектора?..

— Да, архитектора, который при Наполеоне Третьем реставрировал столько замков и церквей в Турени и в Орлеанской провинции. Это был человек со знаниями и вкусом. Он любил уединение и был очень мягким от природы, но имел неосторожность напасть на Виоле ле Дюка[42], в те времена всемогущего. Он упрекал Виоле ле Дюка в том, что он считает нужным восстанавливать здания по их первоначальному плану, в том виде, какими они были или должны были быть при их возникновении. А Филипп Дешартр требовал, напротив, чтобы считались со всем тем, что столетиями мало-помалу прибавлялось к какой-нибудь церкви, какому-нибудь аббатству или замку. Уничтожить все наслоения и вернуть зданию его исходное единство казалось ему ученым варварством, столь же опасным, как невежество. Он говорил, он беспрестанно повторял: «Преступление — стирать те последовательные отпечатки, которые оставляла на камне рука наших предков и их душа. Новые камни, обтесанные на старинный лад, — лжесвидетели». Он требовал, чтобы задача архитектора-археолога ограничивалась заботами о сохранности и прочности стен. Он был прав. С ним не согласились. Он окончательно повредил себе тем, что умер молодым, в момент торжества своего соперника. Но все же вдове и сыну он оставил приличное состояние. Жака Дешартра воспитывала его мать, обожавшая его. Кажется, такой страстной материнской нежности еще не бывало. Жак прелестный малый, но он — балованное дитя.

— А по виду он такой равнодушный ко всему, такой покладистый, так от всего далек!

— Не доверяйтесь этому. У него воображение тревожное и тревожащее.

— Любит он женщин?

— Почему вы меня об этом спрашиваете?

— О, не для того, чтобы его женить.

— Да, любит. Я сказал, что он эгоист. А только эгоисты по-настоящему и любят женщин. После смерти матери у него долго была связь с известной актрисой — Жанной Танкред.

Госпожа Мартен немного помнила Жанну Танкред, не очень красивую, но прекрасно сложенную, исполнявшую с несколько вялой грацией роли светских героинь.

— Да, это та самая, — продолжал Поль Ванс. — Они поселились почти окончательно вместе в маленьком домике в Отейле, в квартале Жасминов. Я часто бывал у них. Он вечно был погружен в мечты, забывал закончить начатую работу, которая сохла под полотном, уходил в

себя, занятый только своими мыслями, совершенно не в силах слушать кого бы то ни было; она же, с лицом, потускневшим от грима, с нежными глазами, умная и живая и только поэтому хорошенькая, зубрила свои роли. Она мне жаловалась, что он рассеян, угрюм, что у него тяжелый характер. Она его очень любила и изменяла ему только для того, чтобы получать новые роли. А когда изменяла, то делала это не раздумывая, и потом больше не вспоминала об этом. Женщина разумная. Но в надежде, что Жозеф Шпрингер устроит ее во Французскую Комедию, она стала показываться с ним; это бросилось в глаза. Дешартр рассердился и порвал с нею. Теперь она считает более практичным жить со своими директорами, а Жак находит более приятным путешествовать.

— Жалеет он о ней?

— Как знать, что творится в душе человека беспокойного и изменчивого, эгоистичного и страстного, который жаждет отдаться, но быстро спохватывается и великодушно любит лишь самого себя во всем том прекрасном, что встречает на земле?

Она внезапно переменяла тему разговора:

— А как ваш роман, господин Ванс?

— Пишу последнюю главу, сударыня. Мой бедненький резчик уже гильотинирован. Он умер с равнодушием девственницы, которая не знала желаний, никогда не чувствовала на своих губах горячего вкуса жизни. Газеты и публика подобающим образом одобрили этот акт правосудия. Но в некоей мансарде другой рабочий, трезвый, унылый рабочий-химик, дает клятву — новым убийством искупить его смерть.

Он встал и откланялся.

Она его окликнула:

— Господин Ванс, не забудьте, что я просила вас совершенно всерьез: приведите ко мне Шулетта.

Проходя к себе в спальню, она увидела мужа, поджидавшего ее на площадке лестницы. Он был в золотисто-коричневом плюшевом халате, а его бледное и худое лицо обрамлялось головным убором, наподобие тех, что носили дожи. Вид у него был торжественный. За его спиной в отворенную дверь кабинета была видна при свете лампы груда синих папок с делами и документами, раскрытые фолианты годового бюджета. Она не успела пройти к себе, он знаком дал понять, что хочет говорить с ней.

— Дорогая моя, я вас не пойму. Вы так неосмотрительны, что можете очень сильно себе повредить. Вы покидаете свой дом без всякой причины, даже без какого-либо предлога. И собираетесь разъезжать по Европе, да еще с кем? с каким-то пьяницей, воплощением богемы, с этим Шулеттом.

Она ответила, что поедет с госпожой Марме и что тут нет ничего предосудительного.

— Но вы всем сообщаете о вашем отъезде, а даже не знаете, сможет ли госпожа Марме сопровождать вас.

— О! Милая госпожа Марме быстро соберется. К Парижу ее привязывает только ее песик. Но она оставит его вам, вы о нем будете заботиться.

— А ваш отец осведомлен о ваших планах?

К авторитету Монтессуи он взывал тогда, когда собственный оказывался недостаточным. Он знал, что его жена очень боится рассердить отца или вызвать у него дурное мнение о себе.

Он проявил настойчивость:

— Ваш отец — человек благоразумный и тактичный. Я рад, что его советы несколько раз совпадали с теми, которые я позволял себе вам подавать. Он так же, как и я, считает, что такой женщине, как вы, неприлично бывать в доме госпожи Мейан. Общество там слишком смешанное, хозяйка дома потворствует интригам. В одном отношении, должен вам сказать, вы очень неправы: вы недостаточно считаетесь с мнением света. Я крайне удивлюсь, если ваш отец не найдет странным, что вы улетае так... легкомысленно. А ваше отсутствие, дорогая моя, тем более будет замечено, что в ходе последней законодательной сессии — позвольте мне вам это напомнить — обстоятельства выдвинули меня. Мои заслуги здесь, разумеется, ни при чем. Но если бы за обедом вы соблаговолили выслушать меня, я разъяснил бы вам, что группа политических деятелей, к которым я принадлежу, в двух шагах от власти. И не в такой момент вам отказываться от обязанностей хозяйки дома. Вы сами это понимаете.

Она ответила:

— Мне надоело вас слушать.

И, повернувшись к нему спиной, она ушла и заперлась у себя в спальне.

В тот вечер, лежа в постели, она, как всегда перед сном, раскрыла книгу. То был роман. Она рассеянно перелистывала его, как вдруг увидела такие строки:

«Любовь подобна благочестию: она приходит поздно. В двадцать лет нельзя быть ни влюбленной, ни благочестивой, если только нет особого к тому предрасположения, особой природной святости. Даже те, что предназначены к любви, долго борются с этой благодатью, более страшной, чем молния, упавшая на пути в Дамаск[43]. Любви-страсти женщина чаще всего отдается лишь в том возрасте, когда одиночество уже не пугает. Ибо страсть — это поистине бесплодная пустыня, жгучая Фиваида. Страсть — это мирской аскетизм, столь же суровый, как аскетизм религиозный.

Вот почему женщины, способные на великую любовь, столь же редки, как и великие подвижницы. Тем, кто хорошо знает жизнь и свет, известно, что женщины неохотно покрывают свою нежную грудь власяницей подлинной любви. Им известно, что нет ничего более необычного, чем долгое самопожертвование. А подумайте, сколько жертв должна принести светская дама, когда она любит. Свободу, спокойствие, чудесные прихоти свободной души, кокетство, развлечения, удовольствия — все это она теряет.

Дозволен флирт. Его можно примирить со всеми требованиями светской жизни. Но не любовь. Это — самая несветская, самая нелюдимая, самая дикая, самая варварская страсть. Поэтому-то свет судит ее строже, чем обыкновенные интрижки или легкость нравов. В известном смысле он и прав. Влюбленная парижанка изменяет своей природе и уклоняется от своей обязанности — принадлежать всем, подобно произведению искусства. Она и есть произведение искусства, самое чудесное из всех, вызванных когда-либо к жизни деятельностью человека. Она — восхитительное творение, плод всех видов мастерства, всех ремесел и свободных художеств, она — общее творение и общее достояние. Ее долг — быть на виду».

Тереза закрыла книгу и подумала, что все это бредни романистов, не знающих жизни. Ей-то было известно, что в действительности нет ни вершин страсти, ни власяницы любви, ни прекрасного и страшного призвания, которому тщетно противится избранница; ей было известно, что любовь — лишь мимолетное опьянение, после которого чувствуешь легкую грусть... А что, если она не знает всего, если бывает любовь, которая дарит блаженство?.. Она погасила лампу. Из самой глубины прошлого к ней возвращались сны ранней юности.

Лил дождь. Сквозь забрызганные стекла кареты г-жа Мартен-Беллем видела множество зонтиков, которые двигались, точно черные черепахи, под потоками, низвергавшимися с небес. Она думала. Мысли ее были серы и неясны, как облик улиц и площадей, застилаемых дождем.

Она уже не знала, почему ей пришло в голову провести месяц у мисс Белл. По правде, она и раньше этого не знала. Так родник, скрытый у истоков побегами подорожника, незаметно превращается в глубокий и быстрый ручей. Она помнила, как во вторник вечером, за обедом, вдруг сказала, что хочет уехать, но не улавливала, когда же зародилось это намерение. То не было желание поступить с Робером Ле Менилем так, как поступил с нею он сам. Правда, ей очень нравилась мысль — гулять в Кашинах, пока он будет охотиться на лисиц. В этом она видела отрадную симметрию. Робер всегда бывал так рад увидеться с ней вновь после разлуки, а теперь, вернувшись, не увидит ее. Она считала, что уместно доставить ему эту заслуженную неприятность. Но сначала она об этом не думала; да и потом не думала тоже, и, право же, уезжала она не ради удовольствия огорчить его и не ради шаловливой мести. Она таила мысль не столь игривую, мысль более глухую и жестокою. А главное — ей не хотелось слишком скоро увидеть его. Хотя связь их продолжалась, он стал для нее чужим. Он представлялся ей человеком не хуже других, даже лучше, чем большинство других, мужчиной с превосходной внешностью, прекрасными манерами, достойным характером, и он не был ей неприятен, но он не занимал ее. Он вдруг ушел из ее жизни. Ей тягостно было вспоминать, как тесно они были связаны. Мысль о том, чтобы ему принадлежать, оскорбляла ее, представлялась ей чем-то неприличным. Перспектива встретиться с ним в квартирке на улице Спонтини была так мучительна, что Тереза сразу же отказалась от нее. Она предпочитала думать, что их встрече помешает какое-то непредвиденное и неизбежное событие — светопреставление, например. Г-н Лагранж, член Академии наук, рассказывал ей накануне у г-жи де Морлен о комете, которая, появившись из мировых бездн, когда-нибудь, пожалуй, столкнется с землей, окутает ее своим пылающим хвостом, сожжет своим дыханием, отравит животных и растения неведомыми ядами и погубит все человечество, вызвав у людей истерический смех или погрузив их в мрачное оцепенение. Ей нужно было, чтобы в следующем месяце случилось это или нечто в таком роде. И вполне понятно, что ей хотелось уехать. Но почему к ее желанию умчаться вдаль примешивалась смутная радость и почему она уже заранее была во власти того, что ей предстояло увидеть, — этого она не могла себе объяснить. Карета остановилась на углу узенькой улицы Ла-Шез.

Здесь, в верхнем этаже высокого дома, в тесной и очень чистенькой квартирке с пятью окнами, которые все выходили на балкон и по утрам были залиты солнцем, жила после смерти мужа г-жа Марме.

Графиня Мартен приехала к ней в ее приемный день. В скромной и блистающей чистотой гостиной она увидела г-на Лагранжа, который дремал в кресле против хозяйки, кроткой и спокойной в венце седых волос.

Этот старый светский ученый хранил ей верность. На другой день после погребения Марме он принес несчастной вдове ядовитую речь Шмоля и, вместо того чтобы ее утешить, так огорчил, что она чуть не задохлась от гнева и боли. Она без чувств упала к нему на руки. Г-жа Марме находила, что он многого не понимает. Он был ее лучший друг. Они часто обедали вместе в богатых домах.

Госпожа Мартен, прямая и стройная, в собольем жакете, из-под воротника которого падали

на грудь волны кружев, очаровательным блеском своих серых глаз разбудила старика, чувствительного к женской прелести. Накануне, у г-жи де Морлен, он ей рассказал, как произойдет светопреставление. Теперь он спросил ее, не было ли ей ночью страшно, не виделись ли ей картины Земли, пожираемой пламенем или умирающей от мороза и белой, как Луна. Он обращался к ней изысканно учтиво, а она рассматривала книжный шкаф красного дерева, занимавший всю стену против окон. Книг там уже не было, но на нижней полке лежал скелет в доспехах. Странно было у этой добродушной старой дамы видеть этрусского воина в позеленевшем бронзовом шлеме, привязанном к черепу, и в броне, ржавые остатки которой прикрывали его расшатанную грудь. Угрюмый, сложенный из отдельных частей, он спал среди коробок от конфет, золоченых фарфоровых ваз, гипсовых мадонн и деревянных резных безделушек — сувениров из Люцерна и Риги-Кульма. Г-жа Марме, стесненная в средствах, продала книги своего мужа; из всех раритетов, собранных археологом, она сохранила только этого этруска. Но не потому, чтобы друзья не старались помочь ей сбыть его. Старые коллеги Марме нашли, куда его пристроить. Поль Ванс добился у дирекции музеев, чтобы его купили для Лувра. Но вдова не пожелала с ним расставаться. Ей казалось, что вместе с этим воином в позеленевшем бронзовом шлеме, украшенном легкой золотой гирляндой, она утратит имя, с достоинством носимое ею, и перестанет быть вдовой Луи Марме, члена Академии надписей.

— Успокойтесь, сударыня; так скоро комета не столкнется с землей. Подобные встречи мало вероятны.

Госпожа Мартен ответила, что не имеет ничего против такого мгновенного уничтожения Земли и человечества.

Старик Лагранж искренне возмущился. Ему было крайне важно, чтобы катаклизм произошел попозднее.

Она взглянула на него. На его голом черепе произрастало только несколько волосков, выкрашенных в черный цвет. Над глазами, все еще улыбающимися, лохмотьями болтались веки; желтая кожа на щеках отвисла длинными складками, а под одеждой угадывалось высохшее тело.

Она подумала: «Он любит жизнь!»

Госпожа Марме тоже не желала, чтобы мир так скоро погиб.

— Господин Лагранж, — сказала г-жа Мартен, — не правда ли, вы ведь живете в славном домике, окна которого, обвитые глициниями, выходят на Ботанический сад? Мне кажется, что это большая радость — жить в таком саду; он мне напоминает Ноев ковчег, каким я в детстве видела его на картинках, или земной рай из старинных библий.

Но академик не был в восторге. Дом мал, плохо устроен, наводнен крысами.

Она согласилась, что нигде нам не бывает вполне хорошо и что всюду водятся крысы, реальные или символические, — легионы маленьких существ, терзающих нас. Но Ботанический сад она любит, ей всегда хотелось и никогда не удавалось выбраться туда. Что же до музея, то она даже ни разу не осматривала его, а ей было бы интересно его посетить.

Улыбающийся, довольный, он предложил ей свои услуги. Он там как дома. Он покажет ей болиды. Там есть великолепные экземпляры.

Она понятия не имела, что такое болид. Но вспомнила, что ей рассказывали, будто в музее есть оленьи кости, обработанные первобытными людьми, и куски слоновой кости с изображениями животных давно исчезнувших пород. Она спросила, правда ли это. Лагранж больше не улыбался. Он с угрюмым равнодушием ответил, что эти предметы — в ведении

одного из его коллег.

— Ах, вот как, — сказала г-жа Мартен, — это не в вашей витрине?[44]

Она убеждалась, что ученые нелюбопытны и что нескромно спрашивать их о вещах, не имеющих в их витрине. Правда, свою научную карьеру Лагранж построил на камнях, упавших с неба. Вот почему он с уважением относился к кометам. Но он отличался благоразумием, и уже лет двадцать у него было одно только занятие — обедать в гостях.

После его ухода графиня Мартен заговорила о том, что ее привело к г-же Марме.

— Я на будущей неделе еду во Фьезоле, к мисс Белл, и вы едете со мной.

Добрая г-жа Марме с безмятежным челом над беспокойными глазками минуту помолчала, нерешительно отказалась, заставила себя упрашивать и согласилась.

## VII

Курьерский поезд на Марсель был подан к платформе, где в тусклом свете дня, падавшем со стеклянного свода, бегали носильщики и катились тележки. Перед открытыми дверцами вагонов взад и вперед проходили пассажиры в длинных пальто. В самом конце платформы, под закопченным и запыленным навесом, виднелся, точно в бинокль, кружочек неба, величиной с ладонь, — он казался символом бесконечности путешествий. Графиня Мартен и добрейшая г-жа Марме уже сидели в купе, под сеткой, нагруженной чемоданами, а рядом на подушках брошены были газеты. Шулетт все не шел, и г-жа Мартен больше не ждала его. А между тем он обещал явиться на вокзал. Он уладил все дела, чтобы уехать, и получил от издателя гонорар за свои «Коварные ласки». Поль Ванс привел его как-то раз вечером в особняк на набережной Бильи. Он оказался мил, учтив, полон остроумной веселости и простодушной радости. С тех пор она предвкушала некоторое удовольствие от путешествия с этим талантливым человеком, к тому же столь своеобразным, оригинально-уродливым, забавно-безумным, — с этим старым, брошенным на произвол судьбы ребенком, полным простосердечных пороков и невинности. Двери вагонов уже закрывались: она не ждала его больше. Да и не следовало ей рассчитывать на это существо, изменчивое и беспокойное. Но в тот момент, когда паровоз уже хрипло задышал, г-жа Марме, глядевшая в окно, спокойно заметила:

— Вот, кажется, и господин Шулетт.

В шляпе, съехавшей на шишковатый затылок, с неподстриженной бородой, он шел по платформе, прихрамывая на одну ногу и волоча старый ковровый саквояж. Он был почти страшен и, несмотря на свои пятьдесят лет, казался молодым, таким ясным взглядом смотрели его блестящие голубые глаза, столько простодушной дерзости выражало еще и сейчас его желтое, худое лицо, так чувствовалась в этом старом, изношенном человеке бессмертная юность поэта и художника. Увидев его, Тереза пожалела, что выбрала себе такого странного спутника. Он шел, бросая в каждое окно быстрый взгляд, который мало-помалу становился злым и недоверчивым. Но когда, дойдя до купе, где находились обе дамы, он узнал г-жу Мартен, он улыбнулся так мило и поздоровался с ней таким ласковым голосом, что в нем уже ничего не оставалось от угрюмого бродяги, только что блуждавшего по платформе, — ничего, кроме весьма старого коврового саквояжа, который он тащил за полуоторванную ручку.

Он крайне заботливо поместил его в сетке среди аккуратных чемоданов в серых чехлах,

рядом с которыми этот саквояж выделялся ярким и отвратительным пятном. И тут стало заметно, что по его кроваво-красному фону разбросаны желтые цветы.

Поэт, очень довольный, сделал г-же Мартен комплимент по поводу пелерины ее светло-коричневого пальто.

— Простите меня, — прибавил он, — я запоздал. Сегодня утром я отправился в церковь святого Северина — это мой приход — к ранней обедне в приделе богородицы, где очаровательно нелепые колонны, похожие на дудки, тянутся к небу, точь-в-точь как мы, бедные грешники.

— Так, значит, — сказала г-жа Мартен, — вы нынче благочестивы?

И она спросила, везет ли он с собой веревку ордена, который собирается основать.

Он принял серьезный и опечаленный вид.

— Я сильно опасаюсь, сударыня, что Поль Ванс развлекал вас своими нелепыми выдумками на этот счет. Мне говорили, что он сеет в гостиных слухи, будто моя веревка — это веревка от звонка, и притом еще какого звонка! Я в отчаянии, если кто-нибудь хоть на миг мог поверить столь жалким вымыслам. Моя веревка, сударыня, — это веревка символическая. Она представляет собою простую нить, к которой дают прикоснуться нищему, а затем носят под одеждой в знак того, что бедность священна и что она спасет мир. Благо только в ней, а я с тех пор, как получил гонорар за мои «Коварные ласки», кажусь себе несправедливым и черствым. Да будет вам известно, что я положил в саквояж несколько таких мистических веревок.

И, показывая пальцем на отвратительный ковровый мешок цвета ржавой крови, он добавил:

— Я положил в него также святые дары, которые получил от одного недостойного священника, сочинения господина де Местра[45], рубашки и различные другие предметы.

Госпожа Мартен в легком замешательстве подняла глаза. Зато добрейшая г-жа Марме хранила обычную невозмутимость.

Пока поезд мчался мимо безобразных предместий, мимо этой черной бахромы, уныло окаймляющей город, Шулетт вынул из кармана старый бумажник и начал рыться в нем. В бродяге просыпался писака. Шулетт был архивный червь, хоть и пытался это скрывать. Он удостоверился, что не потерял ни клочков бумаги, на которые он в кафе заносил мотивы стихотворений, ни дюжины тех лестных запачканных, засаленных, рвущихся по складкам писем, которые он постоянно носил при себе, готовый прочесть их каким-нибудь случайным собеседниками ночью, при свете газового фонаря. Убедившись в том, что ничего не пропало, он вынул из бумажника сложенное пополам письмо, лежавшее в незапечатанном конверте. Долго, с какой-то таинственной развязностью размахивал он им, потом протянул графине Мартен. То было рекомендательное письмо, которое маркиза де Рие дала ему к некоей принцессе из французского королевского рода, весьма близкой родственнице графа де Шамбора[46], которая, овдовев и состарившись, уединенно жила в предместье Флоренции. Насладившись эффектом, который, как ему казалось, он произвел, Шулетт сообщил, что, может быть, посетит эту принцессу и что это добрая и благочестивая особа.

— Настоящая аристократка, — прибавил он, — и не стремится с помощью платьев и шляп выставить напоказ свое величие. Рубашки она носит по шесть недель, а иногда и дольше. Людям из ее свиты случалось видеть на ней белые чулки, весьма грязные и свисавшие ей на пятки. В ней оживают добродетели великих испанских королей. О! эти грязные чулки — вот истинное величие!

Он взял письмо и снова вложил его в бумажник. Затем, вооружившись ножом с роговой рукояткой, стал вырезать какую-то голову, пока что едва намеченную на набалдашнике его трости. Тем временем он сам расточал себе похвалы:

— Я сведущ во всех искусствах нищих и бродяг. Я умею гвоздем открывать замки и вырезать по дереву скверным ножом.

Голова начинала вырисовываться. То было худое плачущее женское лицо.

Шулетт хотел выразить в нем человеческое горе, не простое и трогательное, каким оно могло представляться людям былых времен, жившим в мире, где сочетались грубость и доброта, а горе безобразное, покрытое слоем румян, достигшее той высшей степени уродства, до которой его довели мещане-вольнодумцы и патриоты-военные — порождение французской революции. Он считал, что существующий строй — это лицемерие и дикость. Militarизм внушал ему отвращение.

— Казарма — гнусное изобретение нового времени. Возникла она лишь в семнадцатом веке. До тех пор была только милая кордегардия, где старые рубаки играли в карты и рассказывали друг другу небылицы. Предвестником Конвента и Бонапарта был Людовик Четырнадцатый. Но зло достигло крайнего предела после введения этой чудовищной всеобщей воинской повинности. Вменить людям в обязанность убивать — позор для императоров и для республик, преступление из преступлений. Во времена, называемые варварскими, города и государи поручали защиту наемникам, которые вели войну благоразумно и осторожно: убитых в большом сражении бывало порой всего пять-шесть человек. А когда рыцари отправлялись на войну, то их по крайней мере к этому никто не принуждал; они шли на смерть ради собственного удовольствия. По-видимому, они только на это и были годны. Во дни Людовика Святого никому не пришло бы в голову послать на войну человека ученого и разумного. И пахаря также не отрывали от земли, не брали в армию. Теперь же бедного крестьянина заставляют быть солдатом. Его разлучают с домом, над крышей которого в золотистой вечерней тишине вьется дым, разлучают с тучными лугами, где пасутся его волы, с родными нивами и лесами; во дворе мерзкой казармы его учат по всем правилам убивать людей; ему угрожают, его оскорбляют, его сажают в тюрьму; ему говорят, что это делает ему честь, а если он не хочет такой чести, его расстреливают. Он повинуется, потому что покорен страху, и среди всех домашних животных он самое кроткое, самое приветливое, самое послушное существо. Мы, французы, — военные и мы — граждане. Быть гражданином — вот тоже повод гордиться! Это значит, что бедные поддерживают и охраняют богатых во всем их могуществе и праздности. Ради них они должны трудиться перед величественным лицом закона, который и богатым и бедным равно запрещает ночевать под мостами, просить милостыню на улицах и красть хлеб. Это одно из благодеяний революции. Так как революцию делали безумцы и глупцы, обратившие ее на пользу покупателей национальных имуществ, и так как она в сущности привела лишь к обогащению крестьян, из тех, что похитрей, да ростовщиков из буржуа, то под именем равенства она утвердила власть богатства. Она отдала Францию в руки дельцов, и вот уже сто лет, как они пожирают ее. Они в ней хозяева и господа. Показное правительство, состоящее из каких-то бедняг, людей хилых и унылых, ничтожеств и убожеств, находится на жалованье у финансистов. Вот уже сто лет, как в этой отравленной стране всякий, кто любит бедных, слывет изменником обществу. И вас считают опасным человеком, когда вы говорите, что на свете есть несчастные. Созданы даже законы против негодования и жалости. То, что я здесь говорю, нельзя было бы напечатать.

Шулетт все более оживлялся, размахивая ножом, а между тем при зябком солнечном свете проносились мимо коричневые поля, лиловые купы деревьев, оголенных стужей, и сплошные вереницы тополей вдоль серебрищихся рек.

Он с умилением посмотрел на голову, которую вырезал на палке.

— Вот ты, — сказал он, — ты, бедное человечество, тощее и плачущее, отупевшее от позора и нищеты, такое, каким тебя сделали твои господа — солдат и богач.

У добрейшей г-жи Марме был племянник — артиллерийский капитан, очаровательный молодой человек, очень любящий свое дело, и ее возмущала резкость, с которой Шулетт нападал на армию. Г-жа Мартен видела в этих речах лишь забавную прихоть. Мысли Шулетта не пугали ее: она ничего не боялась. Но они казались ей немного нелепыми, и она не думала, чтобы прошлое было лучше настоящего.

— Мне, господин Шулетт, кажется, что люди во все времена были такие же, как сейчас, — эгоистичные, грубые, скупые и безжалостные. Мне кажется, что законы и права всегда были суровы и жестоки к несчастным.

Между Ларошем и Дижоном они позавтракали в вагон-ресторане и оставили там Шулетта наедине с его трубкой, рюмкой бенедиктина и раздраженной душой.

Когда они вернулись в купе, г-жа Марме с кроткой нежностью заговорила о своем покойном муже. Он женился на ней по любви; он сочинял для нее чудесные стихи, — она хранила их и никому не показывала. Он был очень живой и очень веселый. Этому не верилось потом, когда он уже был утомлен работой, изнурен болезнью. Занимался он до последней минуты. Страдая расширением сердца, он не мог лежать и проводил ночи в кресле у столика с книгами. За два часа до кончины он еще пытался читать. Он был ласков и добр. Среди страданий он сохранил всю свою мягкость.

Госпожа Мартен, которой ничего другого не приходило в голову, сказала:

— Вы были счастливы долгие годы, вы храните воспоминание о них; это тоже счастье.

Но добрейшая г-жа Марме вздохнула, ее спокойное чело омрачила тень.

— Да, — сказала она, — Луи был лучший из людей и лучший из мужей. Все же я бывала с ним очень несчастна. У него был только один недостаток, но я от него жестоко страдала. Он был ревнив. Он, такой добрый, такой нежный, такой великодушный, под влиянием этой ужасной страсти становился несправедливым, тираничным, грубым. Могу вас уверить, что мое поведение не давало повода к подозрениям. Я не была кокетлива. Но я была молоденькая, свежая; меня считали почти хорошенькой. Этого было достаточно. Он не позволял мне выходить одной, запрещал принимать гостей в его отсутствие. Когда мы вместе бывали где-нибудь на балу, я заранее дрожала при мысли о той сцене, которую он мне сделает в карете.

И добрейшая г-жа Марме прибавила со вздохом:

— Правда, я любила танцы. Но пришлось отказаться от них. Он слишком мучился.

Графиня Мартен не скрыла своего удивления. Марме всегда представлялся ей робким и сосредоточенным в себе стариком, производившим несколько смешное впечатление рядом со своей полной, беленькой, всегда такой кроткой женой и скелетом этрусского воина в шлеме из бронзы и золота. Но почтенная вдова призналась ей, что Луи в пятьдесят пять лет, когда ей было пятьдесят три, оставался таким же ревнивым, как и в первый день.

И Тереза подумала, что Робер никогда не терзал ее ревностью. Было ли это с его стороны доказательством такта и хорошего тона, признаком доверия, или он недостаточно сильно любил ее, чтобы мучить? Она этого не знала, да и не пыталась бы это узнать. Пришлось бы рыться в тайниках его души, а ей туда вовсе не хотелось заглядывать.

Она невольно прошептала:

— Мы хотим, чтобы нас любили, а когда нас любят, то нас или мучат, или надоедают нам.

Вечер заполнили мечтательные раздумья и чтение. Шулетт не возвращался. Ночь постепенно засыпала своим серым пеплом шелковичные деревья Дофине. Г-жа Марме заснула мирным сном, покаясь на самой себе, как на груди подушек. Тереза смотрела на нее и думала: «Право же, она счастлива, ведь она любит свои воспоминания».

Грусть, навеваемая ночью, проникла ей в сердце. А когда над оливковыми рощами взошла луна, Тереза, глядя, как скользят мимо мягкие линии долин и холмов и как текут синие тени, созерцая пейзаж, где все говорило о покое и забвении и ничто не напоминало о ней самой, пожалела о Сене, о Триумфальной арке и расходящихся по радиусам бульварах, об аллеях Булонского леса, где деревья и камни по крайней мере знают ее.

Вдруг в купе со зловещей стремительностью ворвался Шулетт, вооруженный узловатой палкой, с головой, укутанной в какие-то красные шарфы и куски грубого меха. Он чуть не напугал ее. Этого он и хотел. Его резкие повадки и дикое одеяние всегда бывали рассчитаны. Вечно стремясь к ребячески странным эффектам, он любил казаться страшным. Легко поддаваясь испугу, он рад был внушать другим те страхи, которые испытывал сам. За минуту до того, в одиночестве покуривая трубку в коридоре и глядя, как над дельтой Роны в облаках несется луна, он почувствовал беспричинный страх, тот детский страх, что потрясал его душу, восприимчивую и изменчивую. Он пришел к графине Мартен искать успокоения.

— Арль, — проговорил он. — Знаете вы Арль? Вот где чистой красота! В монастыре святого Трофима я видел, как голуби садятся на плечи статуй, как маленькие серые ящерицы греются на солнце на гробницах Алискана[47]. Могилы расположены теперь по обе стороны дорожки, ведущей к церкви. Надгробия имеют форму ванн и ночью служат ложем для бедняков. Однажды вечером, гуляя там с Полем Ареном[48], я увидел старуху, которая устилала сухими травами могилу какой-то девушки былых времен, умершей в день свадьбы. Мы пожелали ей спокойной ночи. Она ответила: «Да услышит вас господь. Но уж так угодно злой судьбе — в этом надгробии щель, северный ветер так в нее и задувает. Если бы трещина приходилась с другой стороны, я спала бы, как королева».

Тереза ничего не ответила. Она дремала. И Шулетт вздрогнул от ночного холода, — он боялся смерти.

## VIII

Мисс Белл, которая сама правила своей английской тележкой, отвезла графиню Мартен-Беллем и г-жу Марме с флорентинского вокзала дорогой, вьющейся по склонам холмов, к себе во Фьезоле, откуда дом ее, розовый и увенчанный карнизом, глядел на несравненный город. Горничная ехала следом с вещами. Шулетт стараниями мисс Белл был водворен у вдовы пономаря в тени собора Фьезоле, и его ждали только к обеду. Поэтесса, некрасивая и милая, с короткими волосами, в жилете, в мужской рубашке, скрывавшей ее мальчишескую грудь, очень грациозная, с чуть заметными очертаниями бедер, принимала французских друзей в своем доме, отражавшем пылкую изысканность ее вкуса. По стенам гостиной, заключенные в прекрасные золотые триптихи, среди ангелов, патриархов и святых, мирно царили сиенские девы, бледные, с длинными руками. На цоколе стояла Магдалина, закутанная в свои волосы, пугающе худая и старая, словно какая-нибудь нищая с дороги в Пистойю, сожженная солнцем и снежными бурями, со страшной и трогательной правдивостью вылепленная из глины неким неведомым предшественником Донателло[49]. И повсюду гербы мисс Белл — колокола и колокольчики. Самые большие возвышались бронзовыми глыбами в углах комнаты; другие же, касаясь друг друга, цепью тянулись по низу

стен. Те, что поменьше, выстраивались на карнизах. Были они и на печи, и на сундуках, и на ларях. Стекланные шкафы полны были колоколов — серебряных и золоченых. Большие бронзовые колокола, отмеченные флорентинской лилией, колокольчики времен Возрождения, изображавшие даму в пышных фижмах, колокольчики, что звенели на похоронах, украшенные слезами и мертвыми костями, колокольчики ажурные, покрытые символическими изображениями животных и листьев, звонившие в церквах во времена св. Людовика, настольные колокольчики XVII века со статуэткой вместо ручки, плоские и звонкие колокольчики, какие подвешивают на шею коровам в долинах Рютли, колокола индийские, издающие томный звон под ударом оленьего рога, колокола китайские в форме цилиндра, — все они стекались сюда из всех краев и из всех эпох по таинственному зову маленькой мисс Белл.

— Вы смотрите на мои говорящие гербы? — сказала она г-же Мартен, — Мне кажется, что всем этим мисс Белл[50] здесь живет хорошо, и я не слишком буду удивлена, если когда-нибудь они вдруг запоют все вместе. Но восхищаться ими всеми одинаково не следует. Самые чистые и самые горячие похвалы надо сохранить вот для этого колокола.

И, ударив пальцем по темному, гладкому колоколу, который издал тонкий звук, она продолжала:

— Он — праведный селянин пятого столетия. Он — духовное дитя святого Паулина ди Нола, первого, кто заставил небо петь над нашей головой. Он вылит из редкого металла, который называют медью Кампаны. Скоро я вам покажу рядом с ним очаровательного флорентинца, принца среди колоколов. Его должны привезти. Но я вам, darling, надоедаю этими пустяками. И надоедаю добрейшей госпоже Марме. Это нехорошо.

Она проводила гостей в отведенные для них комнаты.

Час спустя г-жа Мартен, отдохнувшая, свежая, в фуляровом пеньюаре с кружевами, спустилась на террасу, где ждала ее мисс Белл. Влажный воздух, согретый слабым еще, но уже щедрым солнцем, дышал тревожной негой весны. Тереза, облокотись на перила, погружала взгляд в волны света. У ног ее кипарисы, точно черные веретена, подымали свои острия, а оливковые деревья курчавились на склонах. Флоренция в глубине долины раскинула свои соборы, свои башни и множество красных крыш, за которыми едва угадывалась линия реки Арно. Вдали синели холмы.

Тереза старалась отыскать сады Боболи, где гуляла в первое свое путешествие по Италии, Кашины, которые ей не нравились, палаццо Питти, Санта-Мария-дель-Фьоре. Но чудесная необъятность неба увлекла ее. Она стала следить, как меняется форма плывущих в небе облаков.

После долгого молчания Вивиан Белл протянула руку к горизонту:

— Darling, я не могу, я не умею этого выразить. Но смотрите, darling, смотрите еще. То, что вы видите, — это единственное в мире. Больше нигде нет в природе такой хрупкости, такого изящества и такой тонкости. Бог, создавший холмы Флоренции, был художник. О, он был ювелир, резчик, скульптор, литейщик и живописец; он был флорентинец. Он только это и создал, darling! Все остальное — работа не столь совершенная, создание не столь искусных рук. Неужели этот лиловатый холм Сан-Миньято с такими четкими и чистыми очертаниями мог быть создан творцом Мон-Блана? Это немыслимо. Этот пейзаж, darling, прекрасен, как античная медаль и как драгоценная картина. Он — совершенное и гармоничное произведение искусства. И еще есть нечто такое, чего я тоже не умею выразить, не могу понять, но нечто несомненное. Здесь я себя чувствую, как и вы будете чувствовать себя, darling, наполовину живой, наполовину мертвой; это очень благородное, очень печальное и сладостное состояние. Смотрите, смотрите еще: вы поймете меланхолию этих холмов,

окружающих Флоренцию, и вы увидите, как над землю мертвых встает чарующая грусть.

Солнце склонялось к закату. Вершины гасли одна за другой, а в небе пылали облака.

Госпожа Марме чихнула.

Мисс Белл велела принести шали и предупредила француженок, что вечера здесь свежие и коварные.

И вдруг спросила:

— Darling, вы знакомы с Жаком Дешартром? Ну, так вот он пишет мне, что будет во Флоренции на следующей неделе. Я рада, что господин Дешартр встретится с вами в нашем городе. Он вместе с нами будет посещать храмы и музеи и будет прекрасным чичероне. Он понимает красивые вещи, потому что любит их. И у него чудесный талант скульптора. В Англии его статуями и медалями восхищаются еще больше, чем во Франции. О! я так рада, что Жак Дешартр встретится с вами во Флоренции!

## IX

На другой день, когда, выйдя из монастыря Санта-Мария-Новелла, они переходили площадь, где, по образцу римских цирков, были поставлены две мраморные тумбы, г-жа Марме сказала графине Мартен:

— Вот, кажется, господин Шулетт.

Сидя в мастерской сапожника, Шулетт с трубкой в руке делал какие-то ритмические жесты и как будто читал стихи. Башмачник-флорентинец, не переставая орудовать шилом, слушал его с доброй улыбкой. Это был маленький лысый человечек, воплощавший один из типов, частых во фламандской живописи. На столе, среди деревянных колодок, гвоздей, кусков кожи и сгустков вара, подымалась зеленая круглая головка базилика. Воробей, у которого не хватало одной лапки, и вместо нее был вставлен кусок спички, весело прыгал по голове и по плечам старика.

Госпожа Мартен, которую развеселило это зрелище, с порога позвала Шулетта, произносившего тихим певучим голосом какие-то слова, и спросила, почему он не пошел с нею в Испанскую часовню.

Он встал и ответил:

— Сударыня, вы заняты вещами суетными, а я познаю жизнь и правду.

Он пожал руку башмачнику и пошел вместе с дамами.

— По пути в Санта-Мария-Новелла, — сказал Шулетт, — я увидел этого старца; согнувшись над работой и сжимая колодку коленями, словно тисками, он шил грубые сапоги. Я почувствовал, что он добр и простодушен. Я спросил его по-итальянски: «Отец мой, хотите выпить со мной стакан кьянти?» Он согласился. Он пошел за вином и за стаканами, а я сторожил его жилище.

И Шулетт рукой указал на печку, где стояли два стакана и бутылка.

— Когда он вернулся, мы с ним выпили; я говорил ему непонятные и добрые слова и пленил

его нежностью их звучания. Я еще вернусь в его лавочку; я буду учиться у него шить сапоги и жить без желаний. Тогда у меня не будет печалей. Ибо только желания и праздность — виновники нашей грусти.

Графиня Мартен улыбнулась:

— Господин Шулетт, у меня нет никаких желаний, а мне все-таки невесело. Может быть, я тоже должна шить сапоги?

Шулетт с важностью ответил:

— Еще не настало время.

Дойдя до садов Оричеллари, г-жа Марме опустилась на скамью. В Санта-Мария-Новелла она успела осмотреть спокойные фрески Гирландайо[51], хоры, мадонну Чимабуэ[52], роспись на стенах монастыря. Она всему этому уделила большое внимание в память своего мужа, который, как говорили, очень любил итальянское искусство. Она была утомлена. Шулетт сел рядом с нею и спросил:

— Сударыня, не можете ли вы мне сказать, — правда, что папа заказывает свои облачения у Ворта?[53]

Госпоже Марме это казалось маловероятным. Однако Шулетт слышал об этом в кафе. Г-жу Мартен удивило, что Шулетт, католик и социалист, так непочтительно отзывается о папе, дружественном республике. Но он не любил Льва XIII[54].

— Мудрость государей близорука, — сказал он. — Спасение принесет Церкви итальянская республика, как думает и хочет Лев Тринадцатый, но произойдет это не так, как предполагает наш благочестивый Макиавелли[55]. Революция лишит папу его незаконного достояния и всех его владений. И это будет благо. Папа, разоренный, нищий, станет могуществен. Он всколыхнет мир. Мы вновь увидим Петра, Лина, Клета, Анаклета и Климента[56], смиренных, невежественных святых первых дней христианства, которые изменили лицо земли. Если завтра свершится невозможное и на престол Петра воссядет настоящий пастырь, настоящий христианин, я приду к нему и скажу: «Не уподобляйтесь тому старцу, что заживо похоронил себя в золотой могиле, бросьте ваших камерариев, вашу почетную стражу и ваших кардиналов, оставьте ваш двор и знаки власти. Возьмите меня за руку, и пойдёмте вымалывать хлеб у народов. В лохмотьях, нищий, больной, умирающий, идите по дорогам, являя собой образ Христа. Говорите: «Я прошу хлеба в осуждение богатым!» Входите в города и божественно-бесхитростно возглашайте у каждой двери: «Будьте смиренны, будьте кротки, будьте бедны!» В мрачных городах, в притонах и казармах возвещайте мир и милосердие. Вас будут презирать, в вас будут бросать камень. Полицейские потащут вас в тюрьму. Для слабых, как и для могучих, для бедных, как и для богатых, вы станете посмешищем, будете вызывать презрение и жалость. Ваши священники низложат вас и натравят на вас антипапу. Все скажут, что вы безумны. И это должно оказаться правдой, вы должны стать безумцем: безумцы спасли мир. Люди наденут на вас терновый венец, дадут вам скипетр из тростника, будут плевать вам в лицо, и лишь по этому все узнают, что вы — Христос и истинный царь, и лишь такими путями вы сможете установить социализм христианский, который есть царствие божие на земле».

Проговорив это, Шулетт закурил длинную, крючковатую итальянскую сигару с соломинкой посредине. Он выпустил несколько клубов смрадного дыма, потом спокойно продолжал:

— И это было бы практично. Мне во всем можно отказать, кроме весьма трезвого взгляда на положение вещей. Ах, госпожа Марме, вы никогда не оцените, до чего правильна мысль, что в нашем мире все великие дела всегда совершали безумцы. Неужели вы думаете, госпожа Мартен, что Франциск Ассизский, будь он благоразумен, излил бы на землю для

отдохновения народов живую воду милосердия и все ароматы любви?

— Не знаю, — ответила г-жа Мартен. — Но люди благоразумные казались мне всегда очень скучными. Вам-то я могу в этом признаться, господин Шулетт.

Во Фьезоле они возвращались трамваем, который в этом месте взбирается на холм. Пошел дождь. Г-жа Марме заснула, а Шулетт стал сокрушаться. Все беды сразу обрушились на него: от сырости у него возникла боль в колене, и он не мог согнуть ногу; его саквояж, затерявшийся накануне при переезде из города во Фьезоле, все не находился, и то было непоправимое несчастье; в одном из парижских журналов появилось его стихотворение, искаженное непомерным количеством пропусков и чудовищных опечаток.

Он обвинял людей и обстоятельства в том, что они ему враждебны и пагубны для него. Он вел себя ребячливо, нелепо, отвратительно. Г-жа Мартен, огорченная и Шулеттом и дождем, думала, что подъему никогда не будет конца. Когда она возвратилась в обитель колоколов, мисс Белл в гостиной, выводя золотыми чернилами альдинские буквы[57], переписывала на листе пергамента сочиненные ночью стихи. Когда ее приятельница вошла в комнату, она подняла свою маленькую некрасивую головку, озаренную жгучим светом чудесных глаз.

— Darling, позвольте представить вам князя Альбертинелли.

Князь, прислонившись к печи, стоял, как юный бог, во всей своей красе, которую густая черная борода делала более мужественной. Он поклонился.

— При виде вас, графиня, мы полюбили бы Францию, если бы этого чувства не было еще в наших сердцах.

Графиня и Шулетт попросили мисс Белл прочесть им стихи, которые та переписывала. Она извинилась, что ей, иностранке, придется своими неуверенными ритмами тревожить слух французского поэта, которого она после Франсуа Вийона[58] чтит превыше всего; потом милым свистящим, словно птичьим, голоском прочла:

И тогда у подножья скалы, где журчащий родник

Серебристой наядою к Арно бежит напрямик

И алмазной волною, смеясь, обдает камыши,

Двое чистых детей обручились в зеленой глуши.

И в сердца их влилось несказанное счастье любви,

Как родник, приносящий к подножию волны свои.

Звали девушку Джеммой. Но юноши имя для нас

По случайности злой неизвестным оставил рассказ.

В козых зарослях, в чащах запутанных целые дни

Без конца сочетали и руки и губы они,

А когда опускались лиловые тени на мох,

Наступающий вечер всегда заставлял их врасплох.

И, уста разлучив, несговорчивость ночи кляня,

Возвращались в свой город они с окончанием дня.  
Средь бездушпой толпы, не скрываясь, под сотнями глаз  
В безысходности счастья случалось им плакать не раз,  
И все чаще и чаще являлось сознание к ним,  
Что для них этот мир равнодушьем своим нестерпим.  
Средь зеленых лугов, где, сожженные страстью дотла,  
Словно ветви, сплетали они в исступленье тела,  
Рос диковинный куст: как омытые кровью клинки,  
Меж колючей листвы разбросал он свои лепестки.  
Пастухи ему дали названье «Молчанья цветок».  
Знала Джемма, что дивную силу таит его сок,  
Что в одной его капле великий покой заключен,  
Бесконечная тишь, вековечный, божественный сон.  
И однажды, смеясь под раскидистой тенью куста,  
Лепесток она другу беспечно вложила в уста,  
А когда, улыбаясь, уснул он, без мук, без тревог,  
Надкусил сама горьковатый на вкус стебелек  
И, бледна, бездыханна, к любимому пала на грудь...  
Ввечеру голубки прилетели над ними всплакнуть, —  
Но ни птицы, ни ветер, ни дождь, ни речная волна  
Потревожить уже не могли их любовного сна.[59]

— Очень красиво, — сказал Шулетт, — и это Италия, чуть подернутая туманами Фулы.

— Да, — заметила графиня Мартен, — красиво. Но почему, дорогая моя Вивиан, вашим прекрасным невинным детям захотелось умереть?

— Ах, darling, да потому, что они были так счастливы, как только возможно, и уже больше ничего не желали. Это было безнадежно, darling, безнадежно. Как вы этого не понимаете?

— А вы думаете, что мы живем только потому, что еще надеемся?

— О да, мы живем, darling, в ожидании того, что Завтра, неведомое Завтра, царь волшебной страны, принесет в своем черном или синем плаще, усеянном цветами, звездами, слезами.  
Oh! bright king To-Morrow![60]

Все уже переоделись к обеду. Мисс Белл в гостиной рисовала чудовищ в манере Леонардо. Она создавала их, желая узнать, что они скажут ей потом, вполне уверенная, что они заговорят и в причудливых ритмах выразят изысканные мысли. Она же будет слушать их. Так она чаще всего находила путь к своим стихам.

Князь Альбертинелли напевал у рояля сицилиану: «О Лола!» Его мягкие пальцы чуть касались клавиш.

Шулетт, еще более грубый, чем обычно, требовал ниток и иголок, собираясь штопать свою одежду. Он сокрушался, что потерял скромный маленький несессер, который целых тринадцать лет носил в кармане и который был дорог ему прелестью воспоминаний и мудростью советов, полученных от него. Он думал, что потерял его в одной из полных суетного блеска зал палаццо Питти; эту потерю он ставил в вину дому Медичи[61] и всем итальянским художникам.

На мисс Белл он бросал недобрые взгляды:

— А вот я сочиняю стихи, когда зашиваю свои лохмотья. Мне приятно самому трудиться... Я распеваю свои песни, подметая комнату, — вот почему эти песни нашли доступ к людским сердцам, подобно старинным песням пахарей и ремесленников: те песни еще прекраснее моих, но не превосходят их простотою. Моя гордость в том, что я не желаю никаких слуг, кроме самого себя. Вдова пономаря предлагала мне чинить мое тряпье. Я ей не позволил. Это дурно — заставлять других рабски исполнять такие дела, которыми мы по доброй воле можем заниматься и сами.

Князь беспечно наигрывал беспечный мотив. Тереза, уже целую неделю бегавшая по церквям и музеям в обществе г-жи Марме, размышляла о том, какую скуку нагоняет на нее спутница, то и дело обнаруживая в изображениях старых мастеров черты сходства с кем-нибудь из своих знакомых. Утром, в палаццо Рикарди, на одних только фресках Беноццо Гоццоли[62] г-жа Марме узнала г-на Гарена, г-на Лагранжа, г-на Шмоля, княгиню Сенявину в костюме пажа и г-на Ренана верхом. Ее самое пугало, что всюду она видит г-на Ренана. Мысли ее с легкостью, раздражавшей ее приятельницу, все возвращались к тесному кружку академиков и светских людей. Она говорила нежным голосом о публичных заседаниях Академии, о лекциях в Сорбонне, о вечерах, на которых блистали светские философы-спиритуалисты. Что касается дам, то все они, по ее мнению, были очаровательны и безупречны. Она обедала у них у всех. И Тереза думала: «Уж слишком она осмотрительна, добрейшая госпожа Марме. Надоела она мне». И она раздумывала о том, как будет оставлять г-жу Марме во Фьезоле и одна осматривать церкви. Пользуясь выражением, усвоенным от Ле Мениля, она мысленно сказала себе: «Посею-ка я госпожу Марме».

В гостиную вошел стройный старик. По его нафабренным усам и седой бородке можно было бы принять его за старого военного. Но за очками чувствовалась умная мягкость взгляда, присущая глазам, состарившимся от занятий наукой и от житейских наслаждений. То был флорентинец, друг мисс Белл и князя, профессор Арриги, некогда обожаемый женщинами, а теперь — знаменитый в Эмилии и Тоскане благодаря своим трудам о земледелии.

Он сразу понравился графине Мартен; она, хоть и не была высокого мнения о сельской жизни в Италии, не преминула расспросить профессора о его методах и о результатах, которых он добивается.

Он действовал с осмотрительной энергией.

— Земля, — сказал он, — подобна женщинам: она хочет, чтобы с нею были не робки и не грубы.

«Ave, Maria», прозвучавшее со всех колоколен, превратило небо в необъятный орган.

— Darling, — сказала мисс Белл, — замечаете ли вы, что во Флоренции самый воздух звонок и весь серебрится по вечерам от звуков колоколов?

— Странно, — сказал Шулетт. — Поглядеть на нас — можно подумать, что мы кого-то ждем.

Вивиан Белл ответила ему, что действительно еще ждут г-на Дешартра. Он немного опаздывает, и она боится, что он не поспел к поезду.

Шулетт подошел к г-же Марме и весьма торжественно проговорил:

— Госпожа Марме, можете ли вы посмотреть на дверь, обыкновенную крашеную деревянную дверь, вроде вашей (я делаю предположение, что она такая), или моей, или вот этой, или любой другой, и не испытывать страха и ужаса при мысли о посетителе, который каждую минуту может войти? Дверь нашего жилища, госпожа Марме, открывается в бесконечность. Случалось ли вам думать об этом? Знаем ли мы вообще истинное имя того или той, кто в человеческом образе, с знакомым нам лицом, в обычной одежде, входит к нам?

Сам он, когда сидел, запершись у себя в комнате, не в силах был взглянуть на дверь — от страха волосы подымались у него на голове.

Но г-жа Марме без всякого испуга смотрела, как отворяются двери в ее гостиную. Она знала имена всех тех, что приходил к ней: все это были очаровательные люди.

Шулетт с грустью поглядел на нее и покачал головой:

— Госпожа Марме, госпожа Марме, у тех, кого вы называете их земными именами, есть имена иные, которых вы не знаете, и это их истинные имена.

Госпожа Мартен спросила Шулетта, считает ли он, что несчастье может проникнуть в дом только через дверь.

— Оно изобретательное и ловкое. Оно входит в окно, проникает сквозь стены. Оно не всегда показывается, но всегда тут. Бедные двери нисколько не виноваты, что появляется этот злой гость.

Шулетт строго заметил г-же Мартен, что нельзя называть злым гостем несчастье.

— Несчастье — наш величайший учитель и лучший наш друг. Это оно учит нас смыслу жизни. Когда вам, милостивые государыни, придется изведать страдание, вы узнаете то, что надо узнать, вы поверите в то, во что надо верить, вы станете тем, чем надо быть. И вам дана будет радость, которую удовольствия гонят прочь. Радость застенчива, и среди празднеств ей не по себе.

Князь Альбертинелли сказал, что мисс Белл и ее французским приятельницам не требуется быть несчастными, чтобы быть совершенными, и что учение о совершенствовании путем страданий — это варварская жестокость, ненавистная прекрасному небу Италии. Потом, среди вяло тянувшегося разговора, он снова стал осторожно подбирать на рояле фразы грациозной и банальной сицилианы, опасаясь, как бы не сбиться на арию из «Трубадура»[63] того же ритма.

Вивиан Белл шепотом вопрошала чудовищ, созданных ею, и жаловалась на нелепость и насмешливость их ответов.

— Сейчас, — говорила она, — мне бы хотелось послушать персонажей с гобеленов, которые роняли бы слова такие же смутные, старинные и драгоценные, как сами они...

А красавец князь, увлеченный теперь волнами мелодии, пел. Его голос ширился, распускался, как павлиний хвост, чванился и замирал в томных возгласах «ах! ах! ах!».

Добрейшая г-жа Марме, поглядев на стеклянную дверь, сказала:

— Вот, кажется, господин Дешартр.

Мисс Белл встретила его своим птичьим щебетанием:

— Господин Дешартр, нам не терпелось вас увидеть. Господин Шулетт дурно отзывался о дверях... да, о дверях, какие есть в каждом доме, а также говорил, что несчастье весьма любезный старый джентльмен. Вы пропустили все эти прекрасные вещи. Вы долго заставили себя ждать, господин Дешартр. Почему?

Он извинился: он только успел заехать в гостиницу и чуть-чуть привести себя в порядок. Он даже не навестил еще своего верного доброго друга, бронзового святого Марка, такого трогательного в своей нише у стены Ор-Сан-Микеле. Поэтессе он сказал несколько комплиментов и еле скрыл свою радость, здороваясь с графиней Мартен.

— Перед тем как уехать из Парижа, я собрался к вам с визитом на набережную Бильи и там узнал, что вы решили встречать весну во Фьезоле у мисс Белл. Тогда у меня явилась надежда увидеть вас в этих местах, которые мне дороги больше, чем когда бы то ни было.

Она спросила, не заезжал ли он сперва в Венецию, не смотрел ли он опять в Равенне на окруженных ореолом императриц, на блистательные призраки.

Нет, он нигде не задерживался.

Она ничего не сказала.

Ее взгляд был неподвижно устремлен в тот угол, где висел колокол св. Паулина.

Он спросил ее:

— Вы смотрите на колокол из Нолы?

Вивиан Белл оставила свои бумаги и карандаши.

— Вы скоро увидите чудо, которое поразит вас еще больше, господин Дешартр. Мне достался во владение колокол всех маленьких колоколов. Я нашла его в Римини, в разрушенной давилльне, которая служит теперь складом; я там хотела раздобыть куски старого дерева; пропитавшись маслом, оно делается с годами таким твердым, таким темным и блестящим. Я купила этот колокол и велела упаковать его при себе. Я его жду, я умираю от нетерпения. Вот вы увидите. На нем изображен распятый Христос между богородицею и апостолом Иоанном, стоит дата — тысяча четырехсотый год — и герб рода Малатеста. Господин Дешартр, вы слушаете недостаточно внимательно. В тысяча четырехсотом году Лоренцо Гиберти[64], спасаясь от войны и от чумы, скрылся в Римини у Паоло Малатеста. Ему, наверно, и принадлежит изображение на моем колоколе. И вот на будущей неделе вы увидите работу Гиберти.

Слуга доложил, что кушать подано.

Она извинилась, что угостит их обедом чисто итальянским. Повар ее, житель Фьезоле, — поэт.

За столом, перед плоскими бутылками, оплетенными кукурузной соломой, они говорили о блаженном XV веке, который был им так дорог. Князь Альбертинелли восхвалял художников того времени за их всесторонность, за ту страстную любовь, с которой они относились к своему искусству, и за гений, пламеневший в них. Он говорил приподнятым и вкрадчивым тоном.

Дешартр тоже восхищался ими. Но восхищался по-иному.

— Чтобы воздать достойную похвалу этим людям, которые, начиная с Джотто и кончая Мазаччо[65], трудились с таким рвением, надо быть скромным и точным в оценке. Прежде всего надо было бы показать их в мастерской, в лавке, где они жили как простые ремесленники. Видя их там за работой, мы оценили бы простоту их и дарование. Они были невежественны и кротки. Они мало читали и мало что видели. Холмы, окружающие Флоренцию, замыкали горизонт их взгляда и души. Они знали лишь свой город, Священное писание и несколько обломков античных статуй, которые с любовью изучали и лелеяли.

— Правильно сказано, — заметил профессор Арриги. — Они заботились только о том, чтобы применять самые лучшие приемы. Все их помыслы были заняты тем, как приготовить масло, как лучше растереть краски. Тот, кому пришло в голову наклеить полотно на доску, чтобы живопись не трескалась вместе с деревом, прослыл человеком необыкновенным. У каждого мастера были свои рецепты и свои формулы, и он тщательно их скрывал.

— Блаженные времена, — продолжал Дешартр, — когда люди не имели даже представления о той оригинальности, которую мы так жадно ищем теперь. Ученик старался делать то же, что мастер. Он только и стремился быть похожим на него и лишь невольно проявлял свое отличие от других. Они трудились не для славы, а для того, чтобы жить.

— И они были правы, — сказал Шулетт. — Нет ничего лучше, как трудиться для того, чтобы жить.

— Их не тревожило желание прославиться в потомстве, — продолжал Дешартр. — Не зная прошлого, они не представляли себе и будущего, и их мечты не выходили за грань их жизни. У них было твердое намерение — делать как можно лучше. Полные простоты, они не особенно ошибались и видели ту правду, которую от нас скрывает наш ум.

Меж тем Шулетт начал рассказывать г-же Марме о том, как он сегодня был с визитом у принцессы из французского королевского рода, к которой у него имелось рекомендательное письмо от маркизы де Риё. Ему приятно было дать им почувствовать, что он, бродяга, человек богемы, был принят этой принцессой, к которой не были бы допущены ни мисс Белл, ни графиня Мартен; встречей с ней на какой-то церемонии гордился сам князь Альбертинелли.

— Она в точности исполняет все обряды, — заметил князь.

— В ней поражают благородство и простота, — сказал Шулетт. У себя в доме, окруженная кавалерами и дамами своей свиты, она требует соблюдения строжайшего этикета, чтобы самое ее величие было покаянием, и каждое утро моет пол в церкви. Это сельская церковь, куда заходят куры, пока священник с пономарем играют в брисколу.

Наклонившись над столом, Шулетт с салфеткой в руках изобразил скорчившуюся полумойку. Потом, подняв голову, он торжественно проговорил:

— После надлежащего ожидания в нескольких гостиных меня допустили приложиться к ее

руке.

И замолчал.

Госпожа Мартен, уже терявшая терпение, спросила:

— Что же в конце концов она сказала вам, эта принцесса, поражающая своим благородством и простотой?

— Она спросила меня: «Осматривали ли вы Флоренцию? Меня уверяют, что недавно там открылись прекрасные магазины, и по вечерам они освещаются». И еще она мне сказала: «Здесь у нас превосходный аптекарь. Даже австрийские ничуть не лучше. Полтора месяца назад он положил мне на ногу пластырь, который держится и до сих пор». Вот слова, которых меня удостоила Мария-Терезия. О величественная простота! о христианская добродетель! о дочь святого Людовика! о чудесные отзвуки голоса пресвятой Елизаветы Венгерской![66]

Госпожа Мартен улыбнулась. Она подумала, что Шулетт издевается. Но он был возмущен таким предположением. И мисс Белл тоже находила, что ее подруга не права. По мнению мисс Белл, французы во всем склонны видеть насмешку.

Потом опять заговорили об искусстве, которое в этом краю вдыхаешь вместе с воздухом.

— Что до меня, — сказала графиня Мартен, — то я недостаточно искушена, чтобы восхищаться Джотто и его школой. А в искусстве пятнадцатого века, которое называют христианским, меня поражает чувственность. Благочестие и чистоту я видела только в произведениях Фра Анжелико[67], тоже, правда, очень красивых. Все же остальное, все эти мадонны и ангелы исполнены сладострастия, томной неги, а порой и наивной извращенности. Что в них духовного, в волхвах, прекрасных, как женщины, в святом Себастиане[68], блистающем молодостью, в этом страждущем христианском Вакхе?

Дешартр ответил ей, что думает то же самое и что они, наверное, правы, поскольку Саванарола[69] разделял это мнение, ни в одном произведении искусства не находил благочестия и хотел сжечь их все.

— Во Флоренции, — сказал он, — в пору этого великолепного полумусульманского Манфреда [70] уже встречались люди, будто бы принадлежавшие к секте Эпикура и искавшие доказательств против бытия бога. Красавец Гвидо Кавальканти[71] презирал невежд, верящих в бессмертие души. Ему приписывалось изречение: «Смерть человека во всем подобна смерти животного». Позднее, когда античная красота восстала из могил, христианское небо показалось унылым. Художники, работавшие в церквах и в монастырях, не были ни набожны, ни целомудренны. Перуджино[72] был атеист и не скрывал этого.

— Да, — сказала мисс Белл, — но говорят, что у него был крепкий лоб и что божественные истины не могли проникнуть сквозь его толстый череп. Он был черств и скуп и всецело погружен в материальные заботы. Он думал лишь о покупке домов.

Профессор Арриги взял под свою защиту Пьетро Вануччи из Перуджи.

— То был, — сказал он, — честный человек. И настоятель иезуитского монастыря во Флоренции напрасно не доверял ему. Этот монах занимался приготовлением ультрамариновой краски из толченой и переженной ляпис-лазури. Ультрамарин ценился в то время на вес золота, а настоятель, владевший, наверно, особыми секретами, считал свой ультрамарин драгоценнее рубинов и сапфиров. Он пригласил Пьетро Вануччи расписать оба храма в своем монастыре и ждал чудес не столько от искусства художника, сколько от красоты этого ультрамарина, когда он разольется по сводам. Все время, пока живописец трудился в храмах над изображением жизни Иисуса Христа, настоятель находился рядом с

ним и подавал ему драгоценный порошок в мешочке, который ни на минуту не выпускал из рук. Пьетро черпал из него на глазах у святого отца и, прежде чем притрагиваться к штукатурке кистью, обмакивал ее, полную краски, в чашечку с водой. Таким образом он изводил большое количество порошка. И добрый настоятель, видя, как истощается и пустеет его мешочек, вздыхал: «Боже, сколько ультрамарина пожирает известь!» Когда фрески были закончены, Перуджино получил от монаха условленную плату и вручил ему пакетик с синим порошком: «Это ваше, отец мой. Ультрамарин, который я брал кистью, опускался на дно чашечки, и я каждый день его собирал. Я возвращаю вам его. Учитесь доверять честным людям».

— Нет ничего необыкновенного в том, что Перуджино был скуп и честен, — сказала Тереза. — Далеко не всегда люди корыстные бывают самыми недобросовестными. Есть много честных скупцов.

— Разумеется, darling, — сказала мисс Белл. — Скупые ни у кого не желают быть в долгу, а расточителей долги не смущают. Они не думают о деньгах, которые у них есть, и еще меньше о тех, которые они должны. Я не говорила, что Пьетро Вануччи из Перуджи был человек нечестный. Я сказала, что у него был крепкий лоб и что он покупал дома, много домов. Я очень рада узнать, что он вернул настоятелю ультрамарин.

— Раз ваш Пьетро был богат, — сказал Шулетт, — он должен был отдать ультрамарин. Богатые нравственно обязаны быть честными, а бедные не обязаны.

В эту минуту к нему подошел дворецкий с серебряной чашей, уже наклоня над ней кувшин, наполненный душистой водой. То был чеканный сосуд, а у чаши было двойное дно, и по обыкновению, которому в подражание древним следовала мисс Белл, ими после трапезы обносили гостей.

Но Шулетт и кончиков пальцев не протянул под предлогом, что не желает повторять жест Пилата, на самом же деле потому, что не любил мыть руки.

И он с суровым видом встал из-за стола следом за мисс Белл, которая вышла из столовой под руку с профессором Арриги.

В гостиной, разливая кофе, она сказала:

— Господин Шулетт, почему вы обрекаете нас на унылое, дикарское равенство? Почему? Плохо пела бы флейта Дафниса[73], если б сделана была из семи одинаковых палочек тростника. Вы хотите разрушить прекрасную гармонию между господином и слугами, между аристократом и ремесленниками. О господин Шулетт, вы же варвар. Вы чувствуете жалость к убогим и не знаете жалости к божественной Красоте, которую изгоняете из этого мира. Вы отвергаете ее, господин Шулетт, вы гоните ее прочь, нагую и плачущую. Будьте уверены — она не останется на земле, когда бедные людишки все станут слабыми, хилыми, невежественными. Разрушать те прихотливые сочетания, какие составляют в обществе люди различных положений, смиренные и власть имущие, — это значит быть врагом и бедных и богатых, это значит быть врагом рода человеческого.

— Враги рода человеческого! — возразил Шулетт, кладя сахар в кофе, — так жестокий римлянин[74] называл христиан, проповедовавших ему любовь.

Дешартр тем временем, сидя подле г-жи Мартен, расспрашивал ее о ее вкусах в области искусства и взглядах на красоту, поддерживал их, направлял, поощрял ее восторги, порою с нежной порывистостью старался внушить ей свое мнение, желая, чтоб она увидела все, что он видел, полюбила все, что он любит.

Ему хотелось также, чтобы она уже самой ранней весной начала прогулки по садам

Флоренции. Он уже сейчас мысленно любовался ею на одной из этих красивых террас, видел, как лучи света играют на ее затылке, в ее волосах, как тень от лавровых деревьев падает ей на глаза, смягчая их блеск. Земля и небо Флоренции, казалось ему, только для того и существуют, чтобы служить украшением этой молодой женщине.

Он хвалил ее за простоту, с которой она одевается и которая гармонирует с ее фигурой и ее грацией, за очаровательную легкость линий, пленявшую при каждом ее движении. Он говорил, что любит такие туалеты, обдуманые, смелые, носящие отпечаток души самой женщины, полные свежести и изящества, — ведь их видишь так редко, но их не забываешь.

Она, хоть и привыкла к лести, никогда не слышала похвал, которые доставили бы ей такое удовольствие. Она знала, что одевается очень хорошо, со вкусом смелым и уверенным. Но за исключением отца ни один мужчина не делал ей на этот счет комплиментов, избличающих ценителя. Она думала, что мужчины способны лишь ощутить эффект, производимый нарядом, но не понимают его искусно изобретенных деталей. Иные среди них, понимавшие толк в платьях, вызвали в ней отвращение своим женоподобным обликом и двусмысленностью вкусов. Она примирилась с тем, что изящество в туалете умеют ценить только женщины, но они проявляют при этом мелочность, недоброжелательность и зависть. Восхищение Дешартра, художника и мужчины, поразило ее и понравилось ей. Она с удовольствием приняла его похвалы, которые отнюдь не показались ей слишком фамильярными или даже нескромными.

— Так, значит, вы обращаете внимание на туалеты, господин Дешартр?

Нет, он не обращает на них внимания. Так редко приходится видеть женщин, умеющих одеваться, даже в наше время, когда женщины одеваются лучше, чем когда бы то ни было! Ему не доставляет удовольствия смотреть на ходячую безвкусицу. Но когда перед ним проходит женщина, владеющая даром ритма и гармонией линий, он благословляет ее.

Он продолжал голосом несколько более громким:

— Когда я думаю о женщине, которая каждый день заботится о своем наряде, я думаю и о том, какой поучительный урок она дает художникам. Она одевается и причесывается ради каких-то нескольких часов, и труд этот не напрасен. Подобно ей, мы должны украшать жизнь, не размышляя о будущем. Заниматься живописью, ваянием, литературой для потомства — глупость и тщеславие.

— Господин Дешартр, — спросил князь Альбертинелли, — что бы вы сказали о лиловом пеньюаре с серебряными цветами для мисс Белл?

— Я так мало думаю о будущей земной жизни, — заметил Шулетт, — что самые лучшие свои стихи написал на листках папиросной бумаги. Они быстро развеялись, дав моим стихам лишь некое метафизическое бытие.

Но он только притворялся таким беспечным. В действительности он не потерял ни одной написанной строчки. Дешартр был искреннее. Он не стремился к посмертной славе. Мисс Белл стала порицать его за это.

— Господин Дешартр, чтобы дать жизни величие и полноту, надо вдохнуть в нее и прошлое и будущее. Произведения искусства и поэзии мы должны создавать в память мертвых и с мыслью о тех, кто еще родится. Так мы приобщимся к тому, что было, что есть и что будет. Вы не хотите быть бессмертным, господин Дешартр. Берегитесь, как бы бог не услышал вас.

Он ответил:

— С меня достаточно пожить еще немного.

И он отклонялся, обещая прийти завтра пораньше, чтобы сопровождать г-жу Мартен в капеллу Бранкаччи.

Час спустя в комнате, отражавшей эстетические пристрастия хозяйки, — стены там были обтянуты штофом, на котором лимонные деревья с огромными золотыми плодами, словно в феерии, сливались в целый лес, — Тереза, положив голову на подушку и закинув за голову прекрасную обнаженную руку, размышляла при свете лампы; перед нею смутно витали образы её новой жизни: Вивиан Белл со своими колоколами; легкие, как тени, образы на картинах прерафаэлитов — одинокие, равнодушные дамы и кавалеры, участники благочестивых сцен, грустным взглядом встречавшие тех, кто входил в гостиную, а от этого более милые и более дружественные в своей безмятежной дремоте; вечером, на вилле во Фьезоле — князь Альбертинелли, профессор Арриги, Шулетт, оживленный разговор, причудливая игра мыслей, и Дешартр с молодыми глазами и немного усталым лицом, которому смуглый цвет кожи и острая борода придавали что-то африканское.

Она подумала, что у него обаятельная фантазия и такая богатая душа, какая никогда ей не встречалась, и что она более не в силах противиться его очарованию. Она сразу признала за ним умение нравиться. Теперь же она видела, что у него есть и желание к тому. Эта мысль была для нее наслаждением: она закрыла глаза, словно затем, чтобы удержать ее. И вздрогнула.

Где-то в таинственной глубине своего существа она почувствовала вдруг глухой удар, мучительный толчок. Внезапно ей представился ее друг, идущий по лесам с ружьем под мышкой. Он твердым и размеренным шагом удалялся в глубину просеки. Она не могла увидеть его лица, и это мучило ее. Она больше не сердилась на него, не была им недовольна. Она была теперь недовольна собой. А Робер шел прямо вперед, не поворачивая головы, дальше, все дальше, пока не стал маленькой черной точкой в оголенном лесу. Она обвиняла себя в том, что была резкой, капризной, жестокой, что рассталась с ним не простившись, даже не написав ему. Ведь это ее друг, ее единственный друг. Другого у нее никогда не было. Она подумала: «Я не хотела бы, чтобы он был несчастен из-за меня».

Мало-помалу она успокоилась. Он несомненно любит ее, но он не особенно чуток и, к счастью, не склонен изобретать поводы для беспокойства и терзаний. Она решила: «Он охотится. Он доволен. Он повидает свою тетку де Ланнуа, которой так восхищается...» Тревога ее улеглась, и Тереза вновь отдалась чарам Флоренции. В палаццо Уффици, куда она ходила одна, ее, казалось, сразу же поразил маленький Геракл кисти Антонио Поллайоло [75]. На самом же деле она заинтересовалась им только в тот день, когда случайно в разговоре с нею Дешартр высоко оценил силу рисунка, красоту пейзажа и прелесть полутени в этой картине, уже предвещающей искусство да Винчи. И теперь, плохо припоминая маленького Геракла, она со жгучим нетерпением захотела снова взглянуть на него. Она погасила лампу и уснула.

Под утро ей приснилось, что в пустынной церкви она встретила Робера Ле Мениля, закутанного в меховую шубу, какой она никогда не видела на нем. Он ожидал ее, но целая толпа священников и молящихся вдруг разделила их. Она не знала, что с ним случилось, не могла увидеть его лица, и это пугало ее. Проснувшись, она услышала за окном, которое оставила открытым, грустный и монотонный крик и в молочных лучах рассвета увидела летящую ласточку. И тут без всякого повода, без всякой причины она заплакала.

XI

Было еще рано, когда она, не без удовольствия, с тонким и скрытым тщанием принялась

одеваться. Туалетная, с ее глиняной посудой, покрытой грубой глазурью, с большими медными кувшинами и шашками изразцового пола — плод художественной фантазии Вивиан Белл, — походила на кухню, но кухню сказочную. Все здесь было как раз настолько просто и необыкновенно, чтобы графиня Мартен с приятным удивлением могла почувствовать себя принцессой из «Ослиной Шкуры»[76]. Пока горничная причесывала ее, она слышала голоса Дешартра и Шулетта, разговаривавших под окнами. Она заново уложила волосы, причесанные Полиной, и смело открыла прекрасную линию затылка. В последний раз взглянув на себя в зеркало, она спустилась в сад.

В саду, засаженном, наподобие мирного кладбища, тисовыми деревьями, Дешартр декламировал, глядя на панораму Флоренции, стихи Данте: «В тот час, когда наш дух, все боле чуждый плоти...»

Подле него на балюстраде террасы сидел Шулетт и, свесив ноги, уткнувшись носом в бороду, вырезал на своем посохе, посохе бродяги — голову Ницеты.

А Дешартр повторял созвучия терцин: «В тот час, когда себя освободив от дум и сбросив тленные покровы, наш разум как бы веще-прозорлив...»

Тереза в платье цвета соломы, прикрываясь зонтиком, пошла к ним вдоль живой изгороди из подстриженного самшита. Прозрачное зимнее солнце окутывало ее бледно-золотым сиянием.

Дешартр приветствовал ее, и в его голосе послышалась радость.

Она сказала:

— Вы читаете стихи, которых я не знаю. Я знаю только Метастазиио[77]. Мой учитель итальянского языка очень любил Метастазиио, но любил только его одного. Что это за час, когда наш разум веще-прозорлив?

— Это час рассвета, графиня. Но это может быть и заря веры и любви.

Шулетт сомневался, что поэт имел в виду утренние сны; при пробуждении они оставляют резкое, порою мучительное чувство и при этом вовсе не чужды плоти. Но Дешартр процитировал эти строки, очарованный золотом зари, которую он нынче утром увидел над бледно-желтыми холмами. Его давно уже занимали образы, возникающие во сне, и он думал, что образы эти относятся не к тому, что более всего волнует нас, а напротив — к мыслям, отвергнутым в течение дня.

И тут Тереза вспомнила свой утренний сон — охотника, исчезающего в глубине просеки.

— Да, — говорил Дешартр, — то, что мы видим ночью, — это печальные останки того, чем мы пренебрегли накануне. Сны — это нередко месть со стороны чего-нибудь, что мы презираем, или упрек покинутых нами существ. Вот откуда неожиданность снов, а иногда их печаль.

Она задумалась на миг и сказала:

— Может быть, это и так.

Потом весело спросила Шулетта, закончил ли он портрет Ницеты на набалдашнике своей палки. Эта Ницета успела превратиться в изображение Милосердия, и Шулетт уже видел в нем мадонну. Он даже сочинил четверостишие, чтобы спиралью подписать его внизу, четверостишие нравственное и дидактическое. Он не желал теперь писать иначе, как в духе заповедей божьих, переложенных французскими стихами. Четверостишие принадлежало к этому простому и превосходному жанру. Он согласился его прочитать:

У подножья креста с тяжелой ношей земною

Преклоняюсь в слезах; плачь и веруй со мною!

Ведь под этим крестом, под святой его сенью

Бытие твое, смерть твоя и воскресенье![78]

Так же, как в день своего приезда, Тереза облокотилась на балюстраду террасы и стала искать вдаль, в море света, вершины Валломброзо, почти столь же прозрачные, как самое небо. Жак Дешартр смотрел на нее. Ему казалось, что он видит ее впервые — такое тонкое совершенство открывалось ему в чертах этого лица, на котором жизнь и деятельность души оставили свой след, не нарушив его юной и свежей прелести. Солнечный свет, любимый ею, был к ней благосклонен. Она была поистине хороша, овеянная тем легким воздухом Флоренции, что ласкает прекрасные формы и питает благородные мысли. Нежный румянец окрашивал ее мягко очерченные щеки. Голубовато-серые глаза смеялись, а когда она говорила, зубы ее блестели яркой белизной. Он охватил взглядом ее изящную грудь, полные бедра, смелый изгиб стана.левой рукой она держала зонтик, а правой играла букетиком фиалок. Дешартр испытывал особое пристрастие к красивым рукам, любил их до безумия. Руки представлялись ему столь же выразительными, как и лицо, имели в его глазах свой характер, свою душу. Руки Терезы восхищали его. Он видел в них сочетание чувственного с духовным. В их наготe ему чудилось сладострастие. Его приводили в восторг эти точеные пальцы, розовые ногти, слегка полные нежные ладони, пересеченные изящными, как арабески, линиями и переходящие у основания пальцев в округлые холмики. Очарованный, он не сводил с них глаз, пока она не сложила их на рукоятке своего зонтика. Тогда, чуть отступив назад, он еще раз взглянул на нее. Красивые, чистые очертания груди и плеч, пышные бедра, тонкие щиколотки, все нравилось ему в ней, — в этом прекрасном живом подобии амфоры.

— Господин Дешартр, то черное пятно — это ведь сады Боболи, не правда ли? Я видела их три года назад. Там не было цветов. И все же мне полюбились эти сады с высокими печальными деревьями.

Он был почти поражен тем, что она говорит, мыслит. Звонкость ее голоса изумила его, как будто он никогда раньше его не слышал.

Он ответил наугад и с трудом улыбнулся, чтобы скрыть свое грубое и вполне определенное желание. Он стал неловок и неуклюж. Она словно и не заметила этого. Она казалась довольной. Его низкий голос, заволакиваясь и замирая, ласкал ее помимо ее воли. Она, так же как и он, говорила ничего не значащие слова:

— Какой прекрасный вид! Какой теплый день!

## XII

Утром, еще покаясь на подушке с вышитым гербом в виде колокола, Тереза думала о вчерашних прогулках, о нежных мадоннах, об ангелах, окружающих их, об этих бесчисленных детях, всегда прекрасных, всегда счастливых, — созданиях живописца или скульптора, — простосердечно поющих по всему городу хвалу благодати и красоте. В знаменитой капелле

Бранкаччи, перед бледными и блистательными, как божественная заря, фресками Дешартр рассказывал ей о Мазаччо языком столь ярким и живым, что ей показалось, точно она видит его, этого юного мастера из мастеров, с полуоткрытым ртом, с мрачным взглядом синих глаз, рассеянного, смертельно томного, зачарованного. И она полюбила эти чудеса, порожденные рассветом более прекрасным, чем самый день. Дешартр был для нее душою этих великолепных форм, мыслью этих благородных произведений. Лишь через него, лишь в нем понимала теперь она искусство и жизнь. Зрелище мира занимало ее лишь в той мере, в какой оно занимало его.

Как возникла в ней эта симпатия? Она в точности не помнила. Сперва, когда Поль Ванс захотел представить ей Дешартра, у нее вовсе не было желания с ним познакомиться, вовсе не было предчувствия, что он ей понравится. Она припоминала изысканные бронзовые и восковые фигуры его работы, обращавшие на себя внимание на выставке Марсова поля или у Дюран-Рюэля[79]. Но она не представляла себе, чтобы сам он мог быть приятнее или привлекательнее, чем все эти художники и дилетанты, в чьем обществе она развлекалась, когда они запросто обедали у нее. Она увидела его, и он ей понравился; у нее явилось спокойное желание привлечь его, чаще встречаться с ним. В тот вечер, во время ужина, она заметила, что испытывает к нему хорошее чувство, льстившее ей самой. Но вскоре он стал немного раздражать ее; ее сердило, что он слишком замыкается в себе, в своем внутреннем мире, слишком мало занимается ею. Ей хотелось смутить его покой. Досадуя на него, да к тому же еще будучи взволнована, чувствуя себя одинокой, она встретила его вечером перед решеткой Музея религий, а он заговорил с ней о Равенне и об императрице, восседающей на золотом кресле в своем склепе. Он предстал перед ней серьезный и обаятельный, голос его показался ей полным теплоты, взгляд в ночном сумраке был ласков, но сам он оставался слишком чуждым, слишком далеким и незнакомым. От этого ей становилось не по себе, и тогда, идя вдоль кустов самшита, окаймляющих террасу, она не знала, хочется ли ей видеть его каждый день, или не видеть больше никогда.

С тех пор как она встретила его во Флоренции, для нее не стало другой отрады, как только чувствовать его близость, слушать его. Он сделал для нее жизнь приветливой, разнообразной, яркой и новой, совершенно новой. Он открыл ей нежную радость и блаженную печаль мысли, он пробудил дремавшие в ней страсти. Теперь она твердо решила, что удержит его. Но как? Она предвидела затруднения; ее трезвый ум, ее темперамент рисовали их со всей полнотой. На краткий миг она пыталась обмануть себя: она подумала, что, будучи мечтателем, восторжен, рассеян, поглощен искусством, он, может быть, и не испытывает страстного влечения к женщинам и окажется постоянным, не проявляя требовательности. Однако тотчас же, встряхнув на подушке своей прекрасной головой, утопавшей в темных потоках волос, она отвергла эту успокоительную мысль. Дешартр, если он не мог влюбиться, терял для нее все свое очарование. Она больше не решалась думать о будущем. Она жила настоящим — счастливая, тревожная, на все закрыв глаза.

Так она мечтала в полутьме, пронизанной стрелами солнечных лучей, когда Полина, вместе с утренним чаем, подала письма. На конверте с вензелем клуба, что на Королевской улице, она узнала стремительный и простой почерк Ле Мениля. Она рассчитывала получить это письмо и все же была удивлена, что случилось событие, которое должно было случиться, как это бывало в детстве, когда непогрешимые часы возвещали начало урока музыки.

В своем письме Робер делал ей справедливые упреки. Почему она уехала, ничего не сказав, даже не оставив записки на прощанье? Вернувшись в Париж, он каждое утро ждал письма, которое так и не пришло. В прошлом году он был счастливее; тогда два или три раза в неделю он, просыпаясь, находил письма, такие милые и написанные так хорошо, что он жалел о невозможности их напечатать. Обеспокоенный, он поспешил к ней в дом.

«Я был ошеломлен, узнав о вашем отъезде. Меня принял ваш муж. Он сказал мне, что, послушавшись его советов, вы уехали к мисс Белл во Флоренцию — провести там конец

зимы. С некоторых пор он стал находить, что вы побледнели, похудели. Он решил, что перемена климата будет вам полезна. Вы не хотели уезжать; но так как вам все сильнее нездоровилось, ему в конце концов удалось вас убедить.

Я лично не замечал, чтобы вы похудели. Мне, напротив, казалось, что ваше здоровье не оставляет желать ничего лучшего. И к тому же Флоренция — неважный зимний курорт. Я ничего не понимаю в вашем отъезде, я очень встревожен им. Прошу вас, скорее успокойте меня.

Или вы думаете, что мне приятно узнавать о вас новости от вашего мужа и выслушивать его признания? Он огорчен вашим отсутствием и в отчаянии, что общественные обязанности удерживают его сейчас в Париже. Я слышал в клубе, что у него есть шансы стать министром. Это меня удивляет, так как не принято назначать министров из числа светских людей».

Далее следовали рассказы об охоте. Он привез для нее три лисьих шкуры, из которых одна — превосходная; это шкура славного зверя, который, обернувшись, укусил его в руку, когда он за хвост вытащил его из норы. «В сущности, — писал он, — зверь имел на это право».

В Париже у него были неприятности. Его троюродный брат должен был баллотироваться в клуб. Робер опасался, что его «прокатят». Кандидатура была уже выставлена. При таких условиях он не решался посоветовать снять ее; это значило бы взять на себя слишком большую ответственность. С другой стороны, провал был бы в самом деле неприятен. Письмо заканчивалось просьбой — дать о себе знать и вернуться скорей.

Прочитав, она медленно разорвала письмо, бросила его в огонь и с холодной грустью, в раздумье, лишенном всякой прелести, стала смотреть, как оно горит.

Конечно, он был прав. Он говорил то, что должен был сказать; он жаловался так, как должен был жаловаться. Что ему ответить? Продолжать ссору, дуться по-прежнему? Какой теперь в этом смысл? Причина их ссоры стала для нее теперь так безразлична, что ей надо было подумать, чтобы вспомнить ее. О нет, ей больше не хотелось мучить его. Напротив, она полна была такой снисходительности! Видя, что он доверчиво, с упрямым спокойствием любит ее, она огорчалась и пугалась. Он-то не изменился. Он был тот же, что и прежде. Не та была она. Теперь их разделяло что-то неуловимое и могучее, как те свойства воздуха, которые исцеляют или убивают. Когда горничная пришла одевать ее, она еще и не принималась за ответ.

Она озабоченно думала: «Он доверяет мне. Он спокоен». Это сердило ее более всего. Ее раздражали простодушные люди, которые не сомневаются ни в себе, ни в других.

Отправившись в гостиную, где хранилась коллекция колоколов, она застала там Вивиан Белл, и та ей сказала:

— Хотите знать, darling, чем я занимаюсь, поджидая вас? Безделками, которые важнее всего в мире. Стихами. О darling, поэзия — это, наверно, единственное выражение нашей души.

Тереза обняла мисс Белл и, склонив голову на плечо подруги, спросила:

— Можно взглянуть?

— О, взгляните, darling. Это стихи, писанные по образцу ваших народных песен.

И Тереза прочитала:

Уронила белый камень

В воды озера она,

И в ответ пошла кругами  
В синем озере волна.  
Горько девушка вздохнула,  
Стыдно стало ей того,  
Как легко она стряхнула  
Тяжесть сердца своего.[80]

— Это символы, Вивиан? Объясните мне их.

— О darling, к чему объяснять, к чему? Поэтический образ должен иметь несколько смыслов. Тот, который вы откроете в нем, для вас и будет истинным смыслом. Но здесь, *my love*[81], смысл вполне ясен: не следует легкомысленно бросать то, чему мы дали место в своем сердце.

Лошади были поданы. Поехали, как и было условлено, осматривать галерею Альбертинелли на Виа дель Моро. Князь ожидал их, а Дешартр должен был присоединиться к ним во дворце. Дорогой, пока экипаж катил по шоссе, мощенному широкими плитами, мисс Белл в певучих словах расточала лукавое и изысканное веселье. Они проезжали мимо розовых и белых домиков, мимо садов, спускавшихся уступами, украшенных статуями и фонтанами, и мисс Белл показала подруге виллу, спрятавшуюся за синеватыми соснами, куда кавалеры и дамы «Декамерона» бежали от чумы, опустошавшей Флоренцию, и где они развлекались, рассказывая любовные истории, забавные или трагические. Потом она открыла Терезе, какая ей накануне пришла благая мысль.

— Вы, darling, отправились с господином Дешартром в Кармину и оставили во Фьезоле госпожу Марме, милую старую даму, сдержанную и учтивую старую даму. Она знает много анекдотов о разных известных людях, живущих в Париже. И когда она рассказывает их, то поступает так же, как мой повар Пампалони, когда подает глазунью: он не солит ее, а ставит солонку рядом. Язык у госпожи Марме совсем не злой. Соль тут же рядом, в ее глазах. Это и есть блюдо Пампалони, *my love*: каждый солит его по своему вкусу. О! мне очень нравится госпожа Марме. Вчера, после вашего отъезда, я застала ее в гостиной — она сидела там в уголку и грустила в одиночестве. Она думала о своем муже, и то были траурные думы. Я сказала ей: «Хотите, я тоже стану думать о вашем муже? Мне приятно будет думать о нем вместе с вами. Мне говорили, что он был ученый человек и член Королевского общества в Париже. Расскажите мне о нем, госпожа Марме». Она ответила мне, что он посвятил себя этрускам и отдал им всю свою жизнь. О darling, мне сразу же стала дорога память этого господина Марме, который жил ради этрусков. И тогда-то мне пришла в голову благая мысль. Я сказала госпоже Марме: «У нас во Фьезоле в палаццо Преторио есть маленький скромный этрусский музей. Давайте осмотрим его. Хотите?» Она сказала, что именно это ей больше всего хотелось бы видеть во всей Италии. Мы с ней отправились в палаццо Преторио; мы видели там львицу и множество странных бронзовых человечков — то очень толстых, то очень худых. Этрусски были не на шутку веселый народ. Карикатуры они отливали из бронзы. Но на этих карапузов, которые изнемогают под бременем своих животов или с удивлением выставляют напоказ свои нагие кости, госпожа Марме глядела с горестным восторгом. Она созерцала их так, как если бы это были... есть прекрасное французское выражение, которое я не могу припомнить... как если бы это были памятники и трофеи господина Марме.

Госпожа Мартен улыбнулась. Но она была неспокойна. Небо казалось ей хмурым, улицы — некрасивыми, прохожие — грубыми.

— О darling, князь будет очень рад увидеть вас в своем дворце.

— Не думаю.

— Почему, darling, почему?

— Потому, что я вовсе ему не нравлюсь.

Вивиан Белл стала утверждать, что князь, напротив, большой поклонник графини Мартен.

Лошади остановились перед дворцом Альбертинелли. В мрачной стене фасада, выложенной из грубо отесанного камня, были укреплены бронзовые кольца, куда в былые времена, в ночи празднеств вставлялись смоляные факелы. Во Флоренции этими кольцами отмечены дома самых знатных семейств. Дворец таким образом являл сурово горделивое зрелище. Внутри же все имело вид пустынный, нежилой, унылый. Князь поспешил им навстречу и через ряд комнат, где почти не было мебели, провел их в галерею. Он извинился, что будет показывать им полотна, наверно не очень ласкающие глаз. Галерею положил начало кардинал Джулио Альбертинелли в эпоху, когда господствовала ныне уже исчезнувшая мода на Гвидо и Карраччи[82]. Его предку доставляло удовольствие собирать произведения болонской школы. Но г-же Мартен он покажет несколько картин, одобренных мисс Белл, в том числе — одну вещь Мантеньи[83].

Графиня Мартен с первого же взгляда поняла, что перед ней коллекция подделок, фальшивых шедевров, выставленных для продажи, полотен, сработанных на вкус финансистов, вроде тех картин, что столько раз предлагали купить ее отцу, который их отвергал благодаря своему практическому чутью, заменявшему у него чутье художественное.

Лакей подал визитную карточку.

Князь вслух прочел имя Жака Дешартра. В эту минуту он стоял спиной к дамам. Лицо его приняло то жесткое выражение недовольства, которым отличаются мраморные изваяния римских императоров. Дешартр стоял уже на площадке парадной лестницы.

Князь с томной улыбкой пошел ему навстречу.

— Я сама вчера пригласила господина Дешартра приехать в палаццо Альбертинелли, — сказала ему мисс Белл. — Я знала, что доставлю вам удовольствие. Ему хотелось видеть вашу галерею.

И правда, Дешартру хотелось встретиться там с г-жой Мартен. Теперь они вчетвером бродили мимо полотен Гвидо и Альбани[84].

Мисс Белл что-то мило щебетала князю по поводу всех этих старцев и дев, голубые плащи которых разведал некий неподвижный ураган. Дешартр, бледный, раздраженный, подошел к Терезе и сказал ей совсем шепотом:

— Эта галерея — просто склад, и торговцы картинами со всего мира отправляют сюда весь хлам, какой есть у них в магазинах. Князь продает здесь то, чего не смогли продать евреи.

Он подвел ее к задрапированному зеленым бархатом мольберту, где выставлено было «Святое семейство» — на рамке можно было прочитать имя Микеланджело.

— Это «Святое семейство» я видал у торговцев и в Лондоне, и в Базеле, и в Париже. Так как

им не удалось продать его за те двадцать пять луидоров, которых оно стоит, они поручили последнему Альбертинелли запросить за нее пятьдесят тысяч франков.

Князь, заметив, что они шепчутся, и догадываясь, о чем они говорят, подошел к ним с чрезвычайно любезным видом:

— С этой картины есть копия, которая продавалась во многих городах. Я не утверждаю, что это подлинник. Но он всегда был у нас в доме и в старых инвентарях приписывается Микеланджело. Вот все, что я могу сказать.

И князь вернулся к мисс Белл, которую привлекали предшественники Возрождения.

Дешартру было не по себе. Со вчерашнего дня он думал о Терезе. Он всю ночь мечтал о ней, рисовал себе ее образ. Теперь, когда он вновь увидел ее, она оказалась очаровательной, но очаровательной по-иному, и еще более желанной, чем в его ночных грезах; она была менее воздушной и туманной: живее, сильнее, острее чувствовалась ее плоть, но душа ее была еще таинственнее и непроницаемее. Она была печальна и показалась ему холодной и рассеянной. Дешартр подумал, что он ничего не значит для нее, что становится назойлив и смешон. Он помрачнел, пришел в раздражение. С горечью он прошептал ей на ухо:

— Я колебался. Мне не хотелось идти сюда. Зачем я пришел?

Она сразу поняла, что он хочет сказать, поняла, что теперь он боится ее, что он нетерпелив, нерешителен и неловок. Он ей нравился таким, и она была ему благодарна за то волнение и те желания, которые вызывала в нем.

У нее забилось сердце. Но, притворившись, будто она поняла его слова как сожаление о том, что он потратил время ради скверной живописи, она ответила, что действительно галерея не представляет ничего интересного. Уже содрогнувшись было при мысли, что мог прогневить ее, он снова успокоился и подумал, что и в самом деле она, равнодушная и рассеянная, не уловила ни смысла вырвавшихся у него слов, ни выражения, с каким они были сказаны.

Он подтвердил:

— Да, ничего интересного.

Князь, пригласивший дам к завтраку, попросил и их знакомца остаться вместе с ними. Дешартр уклонился. Он уже собирался уходить, как вдруг в большой пустой гостиной, где на консолях стояли какие-то коробки из-под конфет, он очутился наедине с г-жой Мартен. Он хотел бежать от нее, а теперь ему хотелось только одного — снова встретиться с нею. Он напомнил ей, что завтра им предстоит осматривать палаццо Барджелло[85].

— Ведь вы позволили мне сопровождать вас.

Она спросила, не показалась ли она ему сегодня скучной и мрачной. О нет, скучной он ее не находит, но ему кажется, что она немножко грустна.

— Увы, — прибавил он, — я даже не имею права узнать, в чем ваши печали и радости.

Она бросила на него быстрый, почти суровый взгляд:

— Ведь вы же не думаете, что я стану поверять вам свои тайны, не правда ли?

И быстро отошла от него.

После обеда, в гостиной, полной колоколов и колокольчиков, при свете ламп, скрытых под большими абажурами и лишь тускло озарявших длинноруких сиенских дев, добрейшая г-жа Марме, с белой кошкой на коленях, грелась у печки. Вечер был свежий. Г-жа Мартен, перед глазами которой все еще стояли прозрачное небо, лиловые вершины гор и древние дубы, простирающие над дорогой свои чудовищные руки, улыбалась от счастливой усталости. Она вместе с мисс Белл, Дешартром и г-жой Марме ездил в картезианский монастырь на Эме. И теперь, в легком опьянении от всего виденного, она забыла о вчерашних заботах, о неприятных письмах, далеких укорах и не представляла себе, что в мире может быть что-либо иное, кроме монастырей с резьбой и живописью, с колодцем среди двора, поросшего травой, деревенских домиков с красными крышами и дорог, где она, убаюканная вкрадчивыми речами спутника, любовалась картинами ранней весны. Дешартр только что вылепил для мисс Белл восковую фигурку Беатриче[86]. Вивиан рисовала ангелов. Томно склонившись над ней, эффектно изогнув стан, князь Альбертинелли поглаживал бороду и бросал вокруг взгляды, достойные куртизанки.

В ответ на замечание мисс Белл, относившееся к браку и любви, он сказал:

— Женщина должна выбирать одно из двух. С мужчиной, которого женщины любят, она не будет спокойна. С мужчиной, которого женщины не любят, она не будет счастлива.

— Darling, — спросила мисс Белл, — что бы вы избрали для подруги, которую бы вы любили?

— Я желала бы, Вивиан, чтобы моя подруга была счастлива, и я желала бы также, чтобы она была спокойна. И ей бы этого хотелось наперекор изменам, унижительным подозрениям, постыдному недоверию.

— Но, darling, ведь князь сказал, что женщина не может быть вместе и счастлива и спокойна; так скажите, что избрала бы ваша подруга, — скажите.

— Выбирать нельзя, Вивиан. Выбирать нельзя. Не заставляйте меня говорить то, что я думаю о браке.

В эту минуту показался Шулетт, являя блистательное подобие нищего из числа тех, что красуются у застав старинных городов. Он только что играл в брисколу с крестьянами в одном из кабачков Фьезоле.

— Вот господин Шулетт, — сказала мисс Белл. — Он научит нас тому, что следует думать о любви. Я готова внимать ему, как оракулу. Он не видит того, что видим мы, и видит то, чего мы не видим. Господин Шулетт, что вы думаете о браке?

Он уселся и с видом Сократа, подняв палец кверху, сказал:

— Вы разумеете, сударыня, освященный торжественным обрядом союз мужчины с женщиной? В этом смысле брак есть таинство, откуда следует, что это почти всегда святотатство. Что же до гражданского брака, то это просто формальность. Важное значение, какое ему приписывают в нашем обществе, — вздор, который очень насмешил бы женщин в старое время. Этим предрассудком, как и многими другими, мы обязаны тому бурному росту буржуазии, тому расцвету податных и судейских чиновников, который назвали революцией, столь замечательной в глазах всех, кто построил на ней свое благосостояние. Это — мать всех глупостей. Уж целый век из-под ее трехцветных юбок каждый день появляются новые нелепости. Гражданский брак есть в сущности лишь запись, одна из многих, которые

государство делает для того, чтобы отдать себе отчет в состоянии своих подданных, ибо в цивилизованном государстве каждый должен иметь свой ярлык. И все эти ярлыки одинаковы перед лицом сына божьего. С точки зрения нравственной эта запись в толстой книге даже не обладает тем достоинством, что может соблазнить женщину завести себе любовника. Нарушить клятву, данную перед мэром, — кому это придет в голову? Чтобы познать радости прелюбодеяния, надо быть существом набожным.

— Но, сударь, — сказала Тереза, — мы же венчались в церкви.

И вполне искренне прибавила:

— Я не понимаю, как это мужчина может вступать в брак и как женщина, в том возрасте, когда знаешь, что делаешь, решается на это безумие.

Князь недоверчиво посмотрел на нее. Он не был лишен проницательности, но не допускал, что можно говорить о чем-нибудь без определенной цели, только ради бескорыстного выражения общих мыслей. Он вообразил, что графиня Мартен-Беллем приписывает ему какие-то намерения, в которых хочет помешать. И вот, собираясь защищаться и мстить, он уже смотрел на нее бархатными глазами и ласково-галантным тоном говорил ей:

— Вы, сударыня, выказываете гордость, свойственную прекрасным и умным француженкам, которых возмущает ярмо. Француженки любят свободу, и нет среди них ни одной, которая заслуживала бы свободу больше вас. Я сам немного жил во Франции. Я знал цвет парижского общества, восхищался его салонами, празднествами, разговорами, игрой. Но среди наших гор, в тени оливковых деревьев, мы вновь обретаем простоту. Мы возвращаемся к сельским нравам, и брак для нас — полная свежести идиллия.

Вивиан Белл рассматривала фигурку, оставленную Дешартром на столе.

— Да, именно такой была Беатриче, я в этом уверена. А знаете ли, господин Дешартр, есть злые люди, которые говорят, будто Беатриче вовсе не существовала?

Шулетт заявил, что он из числа этих злых людей. В истинность Беатриче он верит не больше, чем в истинность прочих дам, чьи образы служили старым поэтам, воспевавшим любовь, символом для выражения какой-нибудь нелепо замысловатой схоластической идеи.

Нетерпеливо ожидая похвал, с которыми к нему не обращались, завидуя Данте, как и всей вселенной, будучи, впрочем, человеком весьма начитанным, он решил, что нашел слабое место, и нанес удар.

— Подозреваю, — сказал он, — что юная сестра ангелов существовала лишь в сухом воображении высочайшего из поэтов. Да и то она кажется чистейшей аллегорией, или, вернее, это упражнение в счете, измышление Данте-астролога, который, между нами говоря, был настоящим доктором Болонского университета[87] и носил в голове, под остроконечным колпаком, множество глупых причуд. Данте верил в магию чисел. Этот страстный геометр мечтал над цифрами, и его Беатриче — цветок арифметики. Вот и все!

И он закурил трубку. Вивиан Белл возмутилась:

— О! не говорите так, господин Шулетт. Вы меня огорчаете, а если бы наш друг господин Жебар[88] слышал нас, он бы на вас очень рассердился. Вам в наказание князь Альбертинелли прочтет песнь, в которой Беатриче объясняет пятна на луне[89]. Возьмите, Эусебио, «Божественную Комедию». Белая книга, вон там, на столе. Раскройте ее и читайте.

Во время чтения, происходившего возле лампы, Дешартр, сидя на диване подле графини Мартен, совсем тихо, но с восторгом говорил о Данте, как о самом великом ваятеле среди

поэтов. Он напомнил Терезе о фреске, которую они третьего дня видели вместе в Санта-Мария на двери Серви, фреске почти стертой, где еле можно угадать поэта в шапочке, обвитой лавровым венком, Флоренцию и семь кругов[90]. Этого было достаточно, чтобы восхитить художника. Но она ничего не различила, она не была взволнована. И к тому же она признавалась: Данте слишком мрачен и не привлекает ее. Дешартр, привыкший к тому, что она разделяет все его взгляды на искусство и поэзию, удивился, был как-то неприятно поражен. Он громко сказал:

— Есть вещи великие и сильные, которых вы не ощущаете.

Мисс Белл, подняв голову, спросила, что это за вещи, которых darling не ощущает, а когда узнала, что речь идет о гении Данте, воскликнула с притворным гневом:

— Как! Вы не чтите отца, учителя, достойного всех похвал, не чтите это божество, этот неиссякающий родник? Я больше не люблю вас, darling. Я вас терпеть не могу.

И в виде упрека Шулетту и графине Мартен она напомнила о благочестии того флорентинца, что снял с алтаря свечи, зажженные в честь Иисуса Христа, и поставил их перед бюстом Данте.

Князь продолжал прерванное чтение:

Внутри ее — жемчужина бессмертья...

Дешартр упорствовал в своем желании вызвать у Терезы восторг перед тем, чего она не знала. Правда, он с легкостью пожертвовал бы ради нее и Данте, и всеми поэтами, и вообще всем на свете. Но она, спокойная и желанная, сама того не зная, раздражала его своей радостной красотой. Он упрямо навязывал ей свои мысли, свои пристрастия в искусстве, даже свои фантазии и прихоти. Он убеждал ее шепотом, словами отрывистыми и сердитыми. Она ему сказала:

— Боже мой, какой вы горячий!

Тогда, наклонившись к ее уху и стараясь приглушить голос, в котором слышалась страсть, он прошептал:

— Вы должны принять меня каков я есть. Для меня не будет радостью завоевать вас, если я перестану быть самим собой.

Слова эти вызвали в Терезе легкую дрожь испуга и радости.

#### XIV

Проснувшись на другое утро, она решила, что надо ответить Роберу. Шел дождь. Она вяло прислушивалась к шуму капель, падавших на террасу. Вивиан Белл, утонченная и заботливая, приготовила ей на столе целый художественный набор письменных принадлежностей: листки, напоминающие пергамент церковных книг, и другие — светло-лилового тона, посыпанные серебряной пылью; целлулоидные перья, белые и легкие, — их надо было держать, как держат кисть; радужные чернила, отливавшие на бумаге

лазурью и золотом. Терезу раздражала эта изысканность, мало подходившая для письма, которое должно было быть простым и не бросаться в глаза. Увидев, что слово «друг», с которым она в первой строке обратилась к Роберу, заиграло на серебряной бумаге, окрасилось в сизый цвет, в тона перламутровой раковины, она чуть улыбнулась. Первые фразы стоили ей труда. Остальное пошло быстрее; она много говорила о Вивиан Белл и князе Альбертинелли, немного — о Шулетте, сообщила, что видела Дешартра, проездом оказавшегося во Флоренции. О нескольких картинах, виденных в музеях, она отозвалась с похвалой, но без увлечения и только для того, чтобы как-нибудь заполнить страницы. Она знала, что Робер ничего не смыслит в живописи, что он восхищается только маленьким кирасиром работы Детайля[91], купленным у Гупиля[92]. Он стоял у нее перед глазами, этот маленький кирасир, которого однажды Робер с гордостью показывал ей в своей спальне, где картинка висела рядом с зеркалом, под семейными портретами. Все это издали представлялось ей пошлым, скучным и унылым. Она закончила письмо дружескими словами, в которых была непритворная нежность. Ведь она в самом деле никогда не чувствовала себя такой спокойной и снисходительной по отношению к своему другу. Она мало что сказала на четырех страницах и еще меньше дала понять. Только сообщила, что пробудет месяц во Флоренции, воздух которой ей полезен. Потом она написала отцу, мужу и княгине Сенявиной. Спускаясь с лестницы, она держала письма в руке. Три письма она положила в передней на серебряный поднос, предназначенный для почты. Остерегаясь любопытных глаз г-жи Марме, письмо к Ле Менилю она спрятала в карман в расчете на то, что во время прогулки представится случай опустить его в ящик.

Почти тотчас явился Дешартр, готовый сопровождать трех дам в город. Так как ему пришлось немного подождать их в передней, он увидел письма, лежавшие на подносе.

Нисколько не веря в возможность по почерку угадывать душу, он все же не был равнодушен к форме букв, как к своего рода рисунку, в котором тоже может быть свое изящество. Почерк Терезы очаровал его, как напоминание о ней, как живая реликвия, и понравился ему также своей резкой прямоотой, своими смелыми и простыми линиями. Он с каким-то сладострастным восхищением посмотрел на адреса, не читая их.

В то утро они посетили церковь Санта-Мария-Новелла, где графиня Мартен уже была с г-жой Марме. Но мисс Белл стыдила их, что они не обратили внимания на прекрасную Джиневру кисти Бенчи на одной из фресок, которыми расписаны хоры. «Надо было, — сказала Вивиан Белл, — полюбоваться этим лучезарным образом при лучах утренней зари». В то время как поэтесса беседовала с Терезой, Дешартр, приставленный к г-же Марме, терпеливо выслушивал анекдоты о том, как разные академики обедали у светских женщин, и выражал свое сочувствие этой старой даме, уже в течение нескольких дней весьма озабоченной мыслью о покупке тюлевой вуалетки. В магазинах Флоренции она ничего не находила себе по вкусу и сожалела об улице Бак.

Выйдя из церкви, они прошли мимо лавки сапожника, которого Шулетт избрал своим учителем. Старик чинил грубые сапоги. Подле него возвышался зеленый шар базилика, а воробей с деревянной лапкой задорно щебетал.

Госпожа Мартен спросила старика, как он себя чувствует, достаточно ли у него работы, доволен ли он. На все эти вопросы он отвечал очаровательным «si» — итальянским «да», которое певуче и нежно звучало в его беззубом рте. Она попросила его рассказать про воробья. Бедная пичужка как-то раз окунула лапку в кипящий вар.

— Я сделал моему маленькому товарищу лапку из спички, и он по-прежнему взбирается ко мне на плечо.

— Этот старичок, — сказала мисс Белл, — учит мудрости господина Шулетта. В Афинах жил сапожник по имени Симон[93], писавший философские труды и бывший другом Сократу. Я

всегда находила, что господин Шулетт похож на Сократа.

Тереза попросила сапожника сказать, как его зовут, и рассказать про себя. Звали его Серафино Стоппини, родом он был из Стиа. Был он стар. В жизни перенес многие беды.

Он поднял очки на лоб, так что стали видны глаза, голубые, очень кроткие и почти угасшие под воспаленными веками:

— Была у меня жена, были дети, их больше нет. Знал я разные вещи, а теперь позабыл.

Мисс Белл и г-жа Марме ушли на поиски вуалетки.

«Ничего у него нет, — размышляла Тереза, — кроме инструментов, горсти гвоздей, лоханки, в которой он мочит кожу, да горшка с базиликом, — и он счастлив».

Она сказала ему:

— У этого растения приятный запах, скоро оно зацветет.

Он ответил:

— Если бедняжка расцветет, то погибнет!

Уходя, Тереза оставила на столе монету.

Рядом с ней оказался Дешартр. Серьезно, почти сурово, он спросил:

— Вы знали?..

Она взглянула на него; она ждала.

Он закончил:

— ...что я вас люблю?

С минуту она хранила молчание, не отрывая от него взгляда своих ясных глаз, и ресницы ее трепетали. Потом утвердительно кивнула головой. Он не пытался ее удерживать, и она присоединилась к мисс Белл и г-же Марме, поджидавшим ее в конце улицы.

## XV

Расставшись с Дешартром, Тереза отправилась со своей подругой и г-жой Марме завтракать к очень старой флорентинской даме, в которую влюблен был Виктор-Эммануил[94], когда еще назывался герцогом Савойским. Уже тридцать лет, как она ни разу не выходила из своего палаццо на берегу Арно, где, накрашенная, нарумяненная, в лиловом парике, она играла на гитаре среди просторных белых зал. Она принимала у себя цвет флорентинского общества, и мисс Белл часто навещала ее. За столом эта восьмидесятилетняя затворница расспрашивала графиню Мартен о парижском высшем свете, за жизнью которого следила по газетам и по разговорам, проявляя суетность, казавшуюся в ее возрасте величественной. Живя в одиночестве, она все же чтит наслаждение и поклонялась ему.

Выйдя из палаццо, мисс Белл, чтобы укрыться от ветра, дувшего с реки, от этого резкого *libeccio*[95], повела своих приятельниц по старым узким улицам, где дома из черного камня вдруг расступаются, открывая горизонт, и в прозрачном воздухе взгляд радуется какой-нибудь

холм с тремя тонкими деревцами на вершине. Они шли, и Вивиан, указывая на грязные фасады, из окон которых свисали красные лоскутья, обращала внимание своей приятельницы на какую-нибудь мраморную драгоценность, — мадонну, цветок лилии, св. Екатерину в сводчатой нише. По узким улицам древнего города они прошли до церкви Ор-Сан-Микеле, где с ними должен был вновь встретиться Дешартр. Теперь Тереза неотступно думала о нем, перебирая в памяти подробности их встречи. Госпожа Марме предавалась мыслям о вуалетке; ее обнадежили, что вуалетку можно найти на Корсо. По этому поводу ей вспомнилась рассеянность господина Лагранжа, который однажды, во время лекции, на кафедре, вытащил из кармана вуалетку с золотыми мушками и вытер себе ею лоб, думая, что это носовой платок. Слушатели были удивлены, стали перешептываться. А это была вуалетка, которую накануне ему доверила его племянница, мадемуазель Жанна Мишо, когда он сопровождал ее в концерт. И г-жа Марме стала объяснять, каким образом, обнаружив вуалетку в кармане своего сюртука, он взял ее с собою, чтобы отдать племяннице, и как по ошибке развернул и начал ею размахивать перед улыбающейся публикой.

При имени Лагранжа Терезе вспомнилась пылающая звезда, о которой ей возвестил ученый, и она с насмешливой печалью подумала, что пора бы этой комете явиться — уничтожить мир и выручить ее. Но небо, высушенное морским ветром, по-прежнему блистало своей бледной и беспощадной лазурью над драгоценными стенами древней церкви. Мисс Белл указала приятельнице на бронзовую статую в одной из резных ниш, украшавших фасад храма.

— Смотрите, darling, как юн и величествен этот святой Георгий. Святой Георгий — рыцарь, о котором в былые времена грезил девушки. Вы ведь знаете, что Джульетта, увидев Ромео, воскликнула: «Воистину, это дивный святой Георгий»[96].

Но darling находила, что вид у святого благовоспитанный, скучный и упрямый. В этот миг она вдруг вспомнила о письме, оставшемся в ее сумочке.

— А вот, кажется, и господин Дешартр, — сказала добрейшая г-жа Марме.

Он разыскивал их в самой церкви, у дарохранительницы Орканья[97]. А ему следовало бы вспомнить о том, какое неотразимое впечатление производит на мисс Белл св. Георгий работы Донателло. Он тоже восхищался этой знаменитой статуей. Но особое пристрастие он по-прежнему питал к св. Марку, грубоватому и прямодушному, которого они могли видеть в нише, налево, со стороны улочки, где массивная полуарка упирается в старинный дом Чесальщиков шерсти.

Подходя к статуе, на которую он указывал ей, Тереза заметила на противоположной стороне улицы почтовый ящик. Дешартр между тем, став так, чтобы лучше видеть своего любимого св. Марка, дружески-многословно заговорил о нем:

— Его я посещаю первым, как только приезжаю во Флоренцию. Только раз я не сделал этого. Он мне простит: он превосходный человек. Публика не особенно ценит его, и он не привлекает к себе внимания. А мне приятно его общество. Он словно живой. Я понимаю, что Донателло, вселив в него душу, мог воскликнуть: «Марк, почему ты не говоришь?»

Госпожа Марме, устав любоваться св. Марком и чувствуя, как горит ее лицо, опаленное ветром, увлекла мисс Белл на улицу Кальцаполи искать вуалетку.

Они удалились, предоставив darling и Дешартру предаваться восторгам. Условились, что встретятся в модной лавке.

— Мне нравится, — продолжал скульптор, — мне нравится этот святой Марк потому, что в нем отчетливее, чем в святом Георгии, чувствуется рука и душа Донателло, — ведь Донателло всю жизнь был добрым и бедным тружеником. Сейчас он мне нравится еще больше потому, что в своей достойной и трогательном невинности он напоминает мне того

старика сапожника у церкви Санта-Мария-Новелла, с которым вы так мило разговаривали утром.

— А! я уже забыла, как его зовут, — сказала она. — Мы с господином Шулеттом называем его Квентин Массейс[98], потому что он похож на стариков с картин этого художника.

Когда они огибали церковь, чтобы посмотреть на фасад, обращенный к старинному дому Чесальщиков шерсти и украшенный геральдическим агнцем, под красным черепичным навесом, она очутилась у почтового ящика, такого запыленного и заржавленного, что, казалось, будто почтальон никогда не подходит к нему. Она опустила в него письмо под простодушным взглядом св. Марка.

Дешартр увидел это и словно почувствовал глухой удар в грудь. Он пробовал разговаривать, улыбаться, но все время видел перед собой руку в перчатке, опускающую письмо в ящик. Он помнил, что утром письма Терезы лежали на подносике в передней. Почему же она не положила туда и это письмо? Причину не трудно было угадать.

Недвижимый, задумчивый, он смотрел и ничего не видел. Он пробовал успокоить себя: быть может, это какое-нибудь незначительное письмо, которое она хотела скрыть от надоедливого любопытства г-жи Марме.

— Господин Дешартр, пора бы нам зайти на Корсо за нашими приятельницами.

Может быть, она пишет г-же Шмоль, находящейся в ссоре с г-жой Марме. Но он тотчас же сознавал нелепость таких предположений.

Все было ясно. У нее есть любовник. Она ему пишет. Может быть, она говорит ему: «Я видела сегодня Дешартра, он, бедный, в меня влюблен». Но что бы она ни писала, у нее есть любовник. Он об этом и не подумал. От мысли, что она принадлежит другому, он вдруг всем телом и всей душой ощутил боль. И эта рука, эта маленькая ручка в перчатке, опускающая письмо в ящик, оставалась у него перед глазами и невыносимо жгла их.

Тереза не понимала, почему он вдруг замолчал и помрачнел. Но заметив, что он с тревогой посматривает на почтовый ящик, она догадалась. Она нашла, что странно ему ревновать, не имея на то никакого права, но не рассердилась.

Придя на Корсо, они издали увидели мисс Белл и г-жу Марме, выходявших из лавки.

Дешартр властно и умоляюще сказал Терезе:

— Мне надо с вами поговорить. Я должен видеть вас завтра одну; приходите вечером, в шесть часов, на Лунгарно Аччьяоли.

Она ничего не ответила.

## XVI

Когда она в своем бледно-коричневом плаще пришла около половины седьмого на Лунгарно Аччьяоли, Дешартр встретил ее смиренным и радостным взглядом, и это ее тронуло. Заходящее солнце обаграло полные воды Арно. Минута прошла в молчании. Когда они двинулись вдоль однообразного ряда дворцов к Старому мосту, она заговорила первая.

— Вот видите, я пришла. Мне показалось, что я должна прийти. Я не чувствую себя

невинной в том, что случилось. Я знаю: я все сделала для того, чтобы вы стали со мной таким, какой вы теперь. Мое поведение внушило вам мысли, которых иначе у вас бы не было.

Он словно не понимал. Она продолжала:

— Я была эгоистка, была неосторожна. Вы мне нравились; ваш ум пленил меня, я уже не могла обойтись без вас. Я сделала, что могла, чтобы привлечь вас, чтобы вас удержать. Я была кокетлива... Мной не руководили ни расчет, ни коварство, но я была кокетлива.

Он покачал головой в знак того, что он никогда этого не замечал.

— Да, так было. Это, однако, не в моем обыкновении. Но с вами я была кокетлива. Я не говорю, что вы пробовали воспользоваться этим, как, впрочем, вы имели право поступить, или что это льстило вам. Я не замечала за вами фатовства. Возможно, что вы ничего и не увидели. Людям незаурядным иногда недостает пронизательности. Но я знаю, что вела себя не так, как надо. И я прошу у вас прощения. Вот почему я пришла. Оставайтесь друзьями, пока еще не поздно.

С суровой нежностью он сказал, что любит ее. Первые часы этой любви были легкими и чудесными. Ему хотелось одного — видеть ее снова и снова. Но вскоре она возмутила его покой, вывела его из равновесия, истерзала его. Болезнь вспыхнула внезапно и бурно в тот день, на террасе во Фьезоле. А теперь ему недостает мужества страдать молча. Он взывает к ней. Он пришел, не имея никаких твердых намерений. Если он открыл ей свою страсть, то сделал это не по своей воле, а помимо желания, покорный неодолимой потребности рассказывать ей о ней самой, ибо она одна в целом мире существует для него. Его жизнь отныне не в нем, а в ней. Пусть же она знает, что его любовь — не кроткая и вялая нежность, а испепеляющее жестокое чувство. Увы! он обладает ясным и отчетливым воображением. Он знает, чего хочет, беспрестанно видит предмет своих желаний, и это — пытка.

И еще ему кажется, что, соединившись, они узнают счастье, ради которого только и стоит жить. Их жизнь стала бы прекрасным, скрытым от всех творением искусства. Они думали бы, понимали, чувствовали бы вместе. То был бы дивный мир переживаний и мыслей.

— Мы бы превратили жизнь в волшебный сад. Она притворилась, будто понимает его слова как невинную мечту.

— Вы же знаете, как привлекает меня ваш ум. Видеть, слышать вас стало для меня потребностью. Я слишком ясно дала это заметить. Будьте же уверены в моей дружбе и больше не терзайте себя.

Она протянула ему руку. Он не взял ее и с резкостью ответил:

— Я не хочу вашей дружбы. Не хочу. Или вы всецело должны быть моей, или мне больше никогда вас не видеть. Вы это знаете. Зачем вы протягиваете мне руку и говорите эти жалкие слова? Хотели вы того или не хотели, вы внушили мне безумное желание, смертельную страсть. Вы стали моей болезнью, моей мукой, моей пыткой. И вы просите меня стать вашим другом! Вот теперь-то вы и правда кокетливы и жестоки. Если вы не можете меня любить, дайте мне уйти; я уеду куда глаза глядят, чтобы забыть вас, чтобы вас ненавидеть. Ведь в глубине души я чувствую ненависть к вам и гнев против вас. О, я вас люблю, я вас люблю!

Она поверила тому, что он говорил, испугалась, что он может уйти, и ей стало страшно, — как скучна и печальна будет жизнь без него! Она сказала:

— Я нашла вас в жизни. Я не хочу вас терять. Не хочу.

Он что-то бормотал робко и страстно, слова застревали у него в горле. С далеких гор спускались сумерки, и последние отсветы солнца гасли на востоке, на холме Сан-Миньято. Она заговорила снова.

— Если бы вы знали мою жизнь, если бы вы видели, какой пустой была она до вас, вы бы поняли, что вы значите для меня, и не думали бы о том, чтобы меня покинуть.

Но самое спокойствие ее голоса и ровность ее шага раздражали его. Он уже не говорил, он кричал ей о своей муке, о жгучем влечении к ней, о пытке неотступных мыслей, о том, как он всюду, во всякий час, и ночью и днем, видит ее, взывает к ней, простирает к ней руки. Теперь он узнал божественный недуг любви.

— Тонкость вашей мысли, ваше изящное благородство, вашу умную гордость — все это я вдыхаю с ароматом вашего тела. Когда вы говорите, мне кажется, будто душа слетает с ваших уст, и я терзаюсь, что не могу прижаться к ним губами. Ваша душа для меня — это благоухание вашей красоты. Во мне еще сохранился инстинкт первобытного человека, и вы пробудили его. Я чувствую, что люблю вас с простотой дикаря.

Она кротко взглянула на него и ничего не ответила. В эту минуту среди сгустившегося мрака возникли огоньки; они наплывали издалека, послышался зловещий напев. И вскоре, словно призраки, гонимые ветром, показались черные монахи. Впереди двигалось распятие. Это братья ордена Милосердия, скрыв под капюшонами лица, при свете факелов и с пением псалмов несли на кладбище покойника. Погребение, по итальянскому обычаю, происходило ночью, и процессия двигалась быстро. Кресты, гроб, хоругви мчались по безлюдной набережной. Жак и Тереза стали у самой стены, чтобы пропустить этот погребальный смерч — священников, юных певчих, людей со скрытыми лицами и вскачь несущуюся вместе с ними непрошенную гостью — Смерть, которой не принято кланяться в этой стране радостной неги.

Черный вихрь пролетел. Плакали женщины, спеша за гробом, уносимым призраками в грубых подкованных башмаках.

Тереза вздохнула:

— Какой смысл в том, что мы сами себя мучаем на этой земле?

Он как будто не слышал ее и продолжал в более спокойном тоне:

— До того, как я вас узнал, я не был несчастлив. Я любил жизнь. Воображение и любопытство привязывали меня к ней. Меня привлекали формы и дух этих форм, пленяли и тешили зримые образы. Мне дана была радость — созерцать и мечтать. Я всем наслаждался и ни от чего не зависел. Желания разнообразные, но поверхностные увлекали меня, не утомляя. Меня все занимало, и я ничего не хотел: страдаешь только тогда, когда страстно хочешь чего-либо. Теперь я это узнал. А тогда у меня не было мучительных желаний. Сам того не сознавая, я был счастлив. О! это была такая малость, ровно столько счастья, сколько надо для того, чтобы жить. Теперь у меня нет и этого. Все прежние удовольствия, интерес к образам искусства и жизни, живительную радость собственными руками воплощать свою мечту — все я утратил из-за вас и даже не жалею об этом. Я не хотел бы вернуть свою свободу, свое бывшее спокойствие. Мне кажется, что до вас я не жил. А теперь, когда я чувствую, что живу, я не могу жить ни вдали от вас, ни подле вас. Я более жалок, чем те нищие, которых мы видели по дороге к монастырю на Эме. Они могут дышать воздухом. А я дышу только вами, но вы — не моя. И все же я радуюсь, что встретил вас. В моей жизни только это имеет значение. Я думал, что ненавижу вас. Я ошибался. Я вас обожаю и благословляю вас за боль, которую вы мне причинили. Я люблю все, что исходит от вас.

Они подходили к черным деревьям, возвышавшимся у моста Сан-Николо. По ту сторону Арно тянулись пустыри, еще более унылые в ночной темноте. Видя, что он стал спокойнее и полон

теперь какой-то тихой грусти, Тереза решила, что его любовь, плод воображения, улетучивается в словах и что желания его сменились мечтами. Она не ждала, что он смирится так скоро. Она была почти разочарована, избежав пугавшей ее опасности.

Она протянула ему руку — теперь смелее, чем в первый раз.

— Будем же друзьями. Уже поздно. Пора домой, проводите меня до экипажа — я оставила его на Пьяцца делла Синьория. Я буду для вас тем, чем была, — самым верным другом. Я на вас не сержусь.

Но он повлек ее дальше в безлюдье полей, расстилавшихся вдоль берегов, все более и более пустынных.

— Нет, я не дам вам уйти, не сказав того, что хотел сказать. Но я разучился говорить, я не нахожу слов. Я вас люблю, вы должны быть моей. Я хочу знать, что вы моя. Клянусь вам, я не переживу ночи в этих муках сомнения.

Он схватил ее, сжал в объятиях и, прильнув лицом к ее лицу, ловя сквозь сумрак вуалетки свет ее глаз, сказал:

— Вы должны меня полюбить. Я этого хочу, да и вы тоже хотите. Скажите, что вы моя! Скажите!

Осторожно высвободившись, она ответила слабым голосом:

— Я не могу. Не могу. Вы видите, я с вами откровенна. Я только что сказала, что не рассердилась на вас. Но я не могу сделать то, чего вы хотите.

И, вызвав в памяти образ человека, которого не было с ней и который ее ждал, она повторила:

— Не могу.

Наклонившись над ней, он боязливо вопрошал этот взгляд, который мерцал и туманился, словно раздвоившаяся звезда.

— Почему? Вы меня любите, я это чувствую, я это вижу. Вы меня любите. Почему же вы так жестоки, что не хотите быть моей?

Он прижал ее к груди, хотел устами и душой прильнуть к ее губам, скрытым вуалью. На этот раз она высвободилась — твердо и легко.

— Я не могу. Не просите меня больше. Я не могу быть вашей.

У него задрожали губы, судорогой исказилось лицо. Он крикнул ей:

— У вас есть любовник, и вы его любите. Зачем вы издевались надо мною?

— Клянусь, я и не думала над вами издеваться, а если бы я полюбила кого-нибудь, так только вас.

Но он больше не слушал ее.

— Оставьте меня! Оставьте меня!

И он бросился во мрак полей. Река, залившая в этом месте полосу берега, образовала среди тучных лугов лагуны, в которых преломлялся неверный свет луны, слегка подернутой облаками. Дешартр шел по лужам, по грязи, ничего не видя, отчаянно быстро.

Ей стало страшно, и она вскрикнула. Она позвала его. Но он не обернулся и не ответил. Он бежал с каким-то пугающим спокойствием. Она бросилась за ним. Хоть ногам было больно от камней, а юбка промокла и отяжелела, Тереза настигла его и порывистым движением привлекла к себе:

— Что это вы задумали?

Взглянув на нее, он увидел в ее глазах пережитый страх и ответил:

— Не бойтесь. Я бежал, не глядя. Уверю вас, я не искал смерти. О! не тревожьтесь! Я в отчаянии, но я очень спокоен. Я бежал от вас. Простите меня. Но я больше не мог, нет, я больше не мог вас видеть. Оставьте меня, умоляю. Прощайте.

Взволнованная, ослабевшая, она ответила:

— Пойдемте! Мы постараемся найти выход. Он был все так же мрачен и молчал.

Она повторила:

— Ну, пойдемте!

И взяла его под руку. Ласковая теплота ее ладони оживила его.

— Так вы согласны? — спросил он.

— Я не хочу терять вас.

— Вы обещаете?

— Приходится.

И она, все еще в тревоге и тоске, едва не улыбнулась при мысли, что он своим безумием так быстро добился цели.

Он сказал:

— Завтра!

Она же, инстинктивно сопротивляясь, тотчас бросила в ответ:

— Ах нет, не завтра!

— Вы не любите меня; вы жалеете, что обещали.

— Нет, я не жалею, но...

Он взывал к ней, умолял ее. Она посмотрела на него, отвернулась, подумала и сказала очень тихо:

— В субботу.

## XVII

После обеда мисс Белл рисовала в гостиной. Она чертила на канве профили бородатых этрусков для подушки, которую должна была вышивать г-жа Марме. Князь Альбертинелли с

женским чутьем на оттенки подбирал цвета шерсти. Был уже вечер, и довольно поздний, когда Шулетт, вернувшись из трактира, где он, по обыкновению, играл с поваром в брисколу, появился восторженный и исполненный радости, как языческий бог. Он сел на диване рядом с г-жой Мартен, нежно глядя на нее. В его зеленых глазах трепетно искрилась страсть. Разговаривая с ней, он осыпал ее цветистыми поэтическими похвалами. То был словно набросок любовной песни, которую он импровизировал в ее присутствии. В коротких фразах, нервных и причудливых, он говорил ей о том, какое очарование исходит от нее.

Тереза подумала: «И этот тоже!»

Забавы ради она принялась его дразнить. Она спросила, не встречались ли ему во Флоренции, где-нибудь в бедных кварталах, особы из числа тех, кому он оказывает предпочтение. Ведь вкусы его известны. Сколько бы он это ни отрицал, все знают, у чьей двери он нашел веревку монашеского ордена. Друзья видели его на бульваре Сен-Мишель в обществе простоволосых девиц. Его склонность к этим несчастным созданиям дает себя знать в самых прекрасных его стихах.

— Ах, господин Шулетт, насколько я могу судить, они совсем нехороши, ваши любимицы.

Он торжественно ответил:

— Ваше дело, сударыня, подбирать семена клеветы, посеянные господином Вансом, и пригоршнями бросать их в меня. Я не стану защищаться. Вам нет необходимости знать, что я целомудрен и что душа моя чиста. Но не судите легкомысленно о тех, кого вы называете несчастными и которые должны были бы быть для вас священными, именно потому, что они несчастны. Женщина падшая и презираемая — это глина, послушная руке небесного ваятеля: это искупительный дар, жертва, приносимая на алтарь. Проститутки ближе к богу, чем порядочные женщины: они лишены высокомерия и утратили гордыню. Они не чванятся теми пустяками, которыми гордится матрона. Они обладают смирением, а это и есть краеугольный камень добродетелей, угодных небу. Им достаточно будет короткого раскаяния, чтобы стать первыми на небесах, ибо грехи их, совершаемые без злого умысла и без удовольствия, сами в себе уже несут искупление и прощение. Их проступки — это их страдания, они заключают в себе достоинства, присущие страданию. Находясь в рабстве у грубой плотской любви, они отреклись от всякого наслаждения и подобны тем мужчинам, что стали евнухами в уповании на царство небесное. Они, как и мы, греховны, но самый позор, как бальзам, омывает их грех, страдание очищает его, как раскаленный уголь. Вот почему бог заметит первый же их взгляд, обращенный к нему. Для них уготован престол одесную отца. Королева и императрица в царстве небесном будут счастливы сесть у ног уличной девки. Ибо не следует думать, что чертог господень построен на человеческий лад. Там, сударыня, все иное.

Однако он признавал, что есть и другие пути к спасению. Можно идти к нему и стезею любви.

— Людская любовь изменна, — сказал он, — но она поднимается по уступам мук и ведет к богу.

Князь встал. Целуя руку мисс Белл, он сказал ей:

— До субботы.

— Да, послезавтра, в субботу, — ответила Вивиан.

Тереза вздрогнула. Суббота! О субботе они говорят спокойно, как о близком и обыкновенном дне. До сих пор она не хотела думать о том, что суббота придет так скоро и так естественно.

Все разошлись уже с полчаса тому назад. Тереза, лежа в постели, усталая, растерянная,

предавалась своим мыслям и вдруг услышала, что в дверь ее комнаты скребутся. Дверь приотворилась, и между высокими лимонными деревьями, изображенными на портьере, показалась голова мисс Белл.

— Я вам не помешаю, darling? Вам не хочется спать?

Нет, darling не хотелось спать. Она приподнялась, подперла голову рукой. Вивиан села на постель, такая легкая, что даже не помяла ее.

— Darling, я знаю, что вы очень рассудительны. О! я в этом убеждена. Вы так же рассудительны, как господин Садлер, скрипач, — виртуозен. Он играет слегка фальшиво, когда сам того хочет. И вы тоже, когда рассуждаете не совсем правильно, то делаете это лишь потому, что доставляете себе этим удовольствие, как мастер. О darling, вы очень рассудительны и благоразумны. И я пришла к вам за советом.

Тереза, удивленная и немного встревоженная, стала отрицать, что рассудительна. Она искренно отрицала это. Но Вивиан ее не слушала.

— Я много читала Франсуа Рабле, my love. По Рабле и Вийону я училась французскому языку. Они превосходные, маститые учителя. Но знаете ли вы, darling, «Пантагрюэля»? О! «Пантагрюэль» — это прекрасный и благородный город, полный дворцов, весь в лучах зари, но метельщики еще не успели появиться в нем. О нет, darling, метельщики еще не убрали грязи и поденщицы не мыли мраморных плит. И я заметила, что французские дамы не читают «Пантагрюэля». Вы его не знаете? Нет? О! это не так необходимо. В «Пантагрюэле» Панург у всех спрашивает, надо ли ему жениться<sup>[99]</sup> и попадает в смешное положение, my love. Вот и я заслуживаю таких же насмешек, потому что задаю вам тот же вопрос.

Тереза, не скрывая смущения, ответила:

— На этот счет, дорогая, не спрашивайте меня. Я ведь уже сказала вам свое мнение.

— Но вы, darling, сказали только, что мужчины напрасно женятся. Этот совет я все-таки не могу отнести к себе.

Госпожа Мартен поглядела на мальчишескую головку мисс Белл, на ее лицо, причудливо выражавшее и влюбленность и смущение.

Она сказала, целуя се:

— Дорогая, нет на свете человека, достаточно чуткого и изысканного для вас.

Потом нежно-серьезно прибавила:

— Вы не дитя: если вы любите и любимы, делайте то, что считаете нужным, но не примешивайте к любви расчетов и соображений, которые ничего общего не имеют с чувством. Это дружеский совет.

Мисс Белл не сразу поняла. Потом покраснела и поднялась. Она была неприятно поражена.

## XVIII

В субботу, в четыре часа, Тереза, как и обещала, пришла к воротам английского кладбища. Дешартр ждал ее перед решеткой. Он был серьезен и взволнован, говорил с трудом. Она

была довольна, что он не показывает свою радость. Он повел ее вдоль безмолвных оград каких-то садов, и они вышли на узенькую, незнакомую ей улицу. Она прочла надпись: «Via Alfieri». Пройдя шагов пятьдесят, он остановился перед мрачными воротами.

— Сюда, — сказал он.

Она с бесконечной грустью взглянула на него.

— Вы хотите, чтобы я вошла?

Взглянув, она поняла, что он не отступит, и молча последовала за ним, в сырой сумрак аллеи. Дешартр пересек двор, где между каменных плит росла трава. В глубине его стоял флигель в три окна, с колоннами и фронтоном, украшенным изображениями коз и нимф. Поднявшись на поросшее мхом крыльцо, он повернул в замке ключ, который скрипел и не слушался его. Дешартр пробормотал:

— Заржавел.

Она ответила — без мысли, без всякого выражения:

— Тут все ключи ржавые.

Они поднялись по лестнице, такой безмолвной, что казалось, будто здесь, среди этих стен с греческими карнизами, даже забыли, как звучат шаги. Он толкнул дверь и ввел Терезу в комнату. Ни на что не глядя, она прошла прямо к окну, выходящему на кладбище. Над оградой подымались вершины сосен, которые не кажутся траурными в этой стране, где скорбь сливается с радостью, не нарушая ее, где сладостью жизни овевая даже трава на могилах. Он взял ее за руку и подвел к креслу. Но она не садилась и оглядывала комнату, которую он обставил так, чтобы она не почувствовала себя в ней слишком случайной гостьей или слишком одинокой. На стенах висело несколько полотнищ старинного ситца с изображениями персонажей комедии масок; от них веяло печальным очарованием минувшего веселья. У окна — постель, которую они вместе видели у антиквара и которую она за ее поблекшее изящество назвала: «Тень Розальбы»[100]. Прадедовское кресло, белые стулья; на круглом столике — разрисованные чашки и венецианские бокалы. Во всех углах — пестрые бумажные ширмы, с которых смотрели маски, шутовские фигуры, пасторальные образы в легком вкусе Флоренции, Болоньи и Венеции времен великих герцогов и последних дождей. Она заметила, что он позаботился скрыть кровать за одной из этих весело разрисованных ширм. Зеркало, ковры — вот и все, что здесь было. Он не решился на большее в этом городе, где хитрые старьевщики ходили за ним по пятам. Он затворил окно и растопил камин. Теперь она сидела в кресле, сидела совершенно прямо; он встал перед ней на колени, взял ее руки, поцеловал их и долго глядел на нее с боязливым и гордым восхищением. Потом, склонившись, прильнул губами к носку ее башмачка.

— Что вы делаете?

— Целую ваши ноги — за то, что они пришли сюда.

Он поднялся, нежно привлек ее к себе и поцеловал долгим поцелуем. Она замерла, откинув голову, закрыв глаза. Шапочка соскользнула, волосы рассыпались.

Она отдалась, уже не сопротивляясь.

Два часа спустя, когда заходящее солнце удлинило тени на плитах мостовой, Тереза, пожелавшая пройтись по городу одна, очутилась, сама не зная как, перед двумя каменными столбами у Санта-Мария-Новелла. На площади она увидела старого сапожника; он неизменным движением тянул дратву и улыбался, а воробей сидел у него на плече.

Она вошла в мастерскую и села на скамейку. И тут по-французски обратилась к нему:

— Квентин Массейс, друг мой, что это я сделала и что со мной будет?

Он посмотрел на нее весело и добродушно, не поняв ее и не тревожась. Ничто больше не удивляло его. Она покачала головой.

— То, что я сделала, милый мой Квентин, я сделала потому, что он мучился, а я его полюбила. Я ни о чем не жалею.

Старик по привычке ответил звучным итальянским «да»:

— Si! si!

— Не правда ли, Квентин, я не поступила дурно? Но что теперь будет, боже мой?

Она собралась уходить. Осторожно отломив веточку базилика, он протянул ее Терезе:

— Для аромата, синьора!

## XIX

Это было на следующий день.

Заботливо разложив на столе в гостиной свою суковатую палку, трубку и древний ковровый саквояж, Шулетт поклонился г-же Мартен, читавшей у окна. Он уезжал в Ассизи. Одет он был в дорожный плащ из козьей шкуры и напоминал библейского пастуха у колыбели Иисуса.

— Прощайте, сударыня. Я покидаю Фьезоле, вас, Дешартра, чрезмерно красивого князя Альбертинелли и милую людоедку, мисс Белл. Я собираюсь посетить гору Ассизи, которую, по слову поэта, следует называть не Ассизи, а горой Восхода, ибо там взошло солнце любви. Я преклоню колени перед священным склепом, где покоится святой Франциск, нагой, на каменном ложе, с камнем вместо подушки. Ибо он даже савана не пожелал взять с собой из этого мира, которому даровал откровение радости и доброты.

— Прощайте, господин Шулетт. Привезите мне образок святой Клары<sup>[101]</sup>. Я очень люблю святую Klarу.

— Вы совершенно правы, сударыня. Эта особа была преисполнена силы и благоразумия. Когда святой Франциск, больной и почти ослепший, решил провести несколько дней у своей приятельницы в Сан-Дамиано, она своими руками сложила для него хижину в саду. Он возрадовался. Боль, сжигавшая ему веки, и мучительная слабость лишали его сна. Полчища огромных крыс нападали на него по ночам. Тогда он сочинил ликующий гимн<sup>[102]</sup>, в котором воздал хвалу великолепному брату нашему Солнцу и сестре нашей Воде, целомудренной, благотворной и чистой. Лучшие мои стихи, даже из «Уединенного сада», не обладают таким покоряющим очарованием и таким естественным блеском. И это — в порядке вещей, ибо душа святого Франциска была прекраснее моей души. Хоть я и лучше всех современников, которых мне довелось знать, все же я ничего не стою по сравнению с ним. Сложив гимн Солнцу, Франциск был очень доволен. Он подумал: «Мы с братьями моими отправимся в город, в дни ярмарок мы с лютней будем стоять на больших площадях. Добрые люди подойдут к нам, и мы скажем им: «Мы божьи скоморохи, и мы пропоем вам стих. Если он придется вам по душе, вы наградите нас». Они согласятся. А когда мы споем, то напомним им их обещание. Мы скажем: «За вами награда. А награда, которой мы просим, — в том, чтобы

вы любили друг друга». И, наверное, они, чтобы сдержать слово и не обидеть бедных божьих скоморохов, постараются не причинять друг другу зла».

Госпожа Мартен находила, что святой Франциск самый приятный из святых.

— Дело его, — продолжал Шулетт, — было загублено еще при его жизни. Однако умер он счастливый, ибо обладал радостью и смирением; он и вправду был сладостным певцом господним. А теперь другому бедному поэту подобает продолжить его дело и научить мир истинной вере и истинной радости. Это буду я, сударыня, если только смогу отрешиться от разума и гордыни. Ибо в этом мире все нравственно-прекрасное осуществляется силою той непостижимой мудрости, что исходит от бога и похожа на безумие.

— Не стану разочаровывать вас, господин Шулетт. Но меня беспокоит участь, которую в нашем новом обществе вы готовите бедным женщинам. Вы их всех заточите в монастыри.

— Признаюсь, женщины очень меня затрудняют, когда я строю планы преобразований, — ответил Шулетт. — Страсть, с какою мы любим их, — чувство острое и дурное. Наслаждение, которым они дарят нас, не приносит покоя и не ведет к радости. Из-за них я совершил в жизни два-три страшных преступления, но об этом никто не знает. Сомневаюсь, сударыня, чтобы я вас когда-либо позвал на трапезу в новую обитель святой Марии Ангельской.

Он взял свою трубку, ковровый саквояж и палку с изображением человеческой головы.

— Грехи любви простятся. Или, вернее сказать, сама по себе любовь не может причинить никакого зла. Но в любви плотской столько же ненависти, себялюбия и гнева, сколько и самой любви. Однажды вечером, сидя на этом диване, я любовался вашей красотой и был охвачен роем необоримых помыслов. Я тогда пришел из траптории, где слушал повара мисс Белл, который дивно симпровизировал тысячу двести стихов в честь весны. Я был преисполнен небесной радости, а при виде вас утратил ее. В проклятии, тяготеющем над Евой, должно быть, заключена глубокая правда. Ибо вблизи вас я стал печальным и грешным. На устах у меня были нежные слова. Они лгали. В душе я чувствовал себя вашим противником и врагом, я вас ненавидел. Когда я увидал, как вы улыбаетесь, мне захотелось вас убить.

— Право?

— Ах, сударыня, это вполне естественное желание, и вы, наверно, внушали его много раз. Но человек заурядный чувствует его, не отдавая себе в нем отчета, а мое пылкое воображение беспрестанно рисует мне собственный мой образ. Я созерцаю свою душу, порой лучезарную, часто — отвратительную. Если бы вы увидели ее перед собой в тот вечер, вы закричали бы от ужаса.

Тереза улыбнулась:

— Прощайте, господин Шулетт, не забудьте про образок святой Клары.

Он поставил саквояж на пол и, вытянув руку, подняв палец, как человек, который указывает и поучает, проговорил:

— Меня вам нечего бояться. Но тот, кого вы будете любить и кто будет любить вас, причинит вам боль. Прощайте, сударыня.

Он снова взял свои вещи и вышел. Она видела, как его длинная нескладная фигура исчезает за кустами ракичника.

Во второй половине дня Тереза поехала в монастырь св. Марка, где ее ждал Дешартр. Она и хотела и боялась опять свидеться с ним так скоро. Она испытывала тревогу, которую смиряло незнакомое ей бесконечно сладостное чувство. Она не ощущала более того

оцепенения, которому поддалась в первый раз, покоряясь любви и внезапному сознанию непоправимости того, что случилось. Теперь она была под властью влияний не столь стремительных, более смутных и более могущественных. Воспоминание о ласках было овеяно чудесной задумчивостью, которая смягчала его жгучесть. Тереза полна была волнений и тревоги, но не чувствовала ни стыда, ни сожалений. Действовала она не по своей воле, а повинуюсь силе более высокой. Оправдание она находила в своем бескорыстии. Она ни на что не рассчитывала, так как ничего не предусмотрела заранее. Конечно, она не должна была отдаваться ему, не будучи свободной, но ведь она ничего и не требовала. Быть может, для него это только искренняя и страстная прихоть. Она ведь не знает его. Она еще не сталкивалась со столь прекрасным даром воображения, пылкого и зыбкого, которое и в хорошем и в дурном так далеко оставляет за собой все посредственное. Если бы он вдруг покинул ее и исчез, она не стала бы его винить, не стала бы сердиться на него; так по крайней мере ей казалось. Она сохранила бы воспоминания о нем, — след самого редкостного, самого драгоценного, что только бывает в мире. Он, быть может, и неспособен к истинной привязанности. Ему только показалось, что он любит ее. И какой-нибудь час он ее действительно любил. Желать большего она и не смела, смущенная ложным положением, которое претило ее прямоте, ее гордости и нарушало ясность ее мыслей. Пока наемный экипаж увозил ее к монастырю св. Марка, ей удалось внушить себе, что он ничего не скажет ей о том, чем она была для него накануне, а самое воспоминание о комнате, где они любили друг друга и откуда видны были поднимающиеся к небу черные веретена сосен, останется для них обоих лишь отблеском сна.

Он подал ей руку, помог выйти из экипажа. Прежде чем он успел заговорить, она по его взгляду поняла, что он ее любит и снова желает ее, и в то же время поняла, что хотела встретить его таким.

— Вы, — сказал он, — вы... ты!.. Я здесь с двенадцати часов, я ждал; хоть я и знал, что вы еще не можете приехать, но дышать я мог только в том месте, где должен был увидеть вас. Наконец-то! Скажите что-нибудь, чтобы я и видел и слышал вас.

— Так вы еще любите меня?

— Теперь-то я тебя и люблю. Мне казалось, что я вас любил, когда вы были всего только тенью, воспламенявшей мои желанья. Теперь ты — плоть, и в эту плоть я вложил свою душу. Скажите, правда это, правда, что вы — моя? Что же я сделал, что мне даровано это величайшее, единственное на свете благо? А люди, которыми полон мир, еще воображают, будто они живут. Я один живу. Скажи, что я сделал, чтобы завоевать тебя?

— О! то, что надо было сделать, сделала я сама. Говорю вам это прямо. Если дело зашло так далеко, то виновата только я. Видите ли, женщины не всегда признаются в этом, но это почти всегда их вина. Вот почему, что бы ни случилось, я не буду упрекать вас.

Бойкая и крикливая толпа нищих и проводников, предлагающих свои услуги, спустившись с паперти, окружила их с назойливостью, в которой, правда, была и доля грации, никогда не покидающей итальянцев. Их пронизательность помогла им угадать влюбленных, а они знали, что влюбленные всегда щедры. Дешартр бросил им несколько монет, и все они вернулись к своей блаженной праздности.

Посетителей встретил муниципальный сторож. Г-жа Мартен жалела, что тут не оказалось монаха. Белое одеяние доминиканцев в Санта-Мария-Новелла так красиво под сводами монастыря!

Они осмотрели кельи, где Фра Анжелико, которому помогал его брат Бенедетто, писал на белых стенах для своих товарищей-монахов дышащие невинностью картины.

— Помните тот зимний вечер, когда я встретил вас на мостике, переброшенном через ров

перед музеем Гиме, и проводил вас до той улочки с палисадниками, что ведет к набережной Бильи? Перед тем, как проститься, мы на минуту остановились около парапета, вдоль которого живой изгородью тянутся тощие кустики самшита. Вы взглянули на эти кустики, высушенные морозом. И когда вы ушли, я долго смотрел на них.

Теперь они стояли в келье, где жил Саванарола, настоятель монастыря св. Марка. Чичероне показал им портрет и реликвии мученика.

— Что хорошего вы нашли во мне в тот день? Ведь было темно.

— Я видел, как вы идете. Формы тела сказываются в движениях. Каждый ваш шаг открывал мне тайны вашей красоты, пленительной и непогрешимой. Мое воображение никогда не отличалось сдержанностью, если я думал о вас. Я не решался заговорить с вами. В вашем присутствии мне делалось страшно. Я пугался той, которая могла дать мне всё. Когда я был с вами, я с трепетом на вас молился. Вдали от вас я весь отдавался кощунственным желаниям.

— А я и не подозревала. Помните, как мы виделись с вами в первый раз, когда Поль Ванс мне вас представил? Вы сидели около ширмы. Вы рассматривали развешанные на ней миниатюры. Вы сказали мне: «Эта дама, писанная Сикарди, похожа на мать Андре Шенье» [103]. Я ответила: «Это бабушка моего мужа. А какова собой была мать Андре Шенье?» И вы сказали: «Сохранился ее портрет: опустившаяся левантинка».

Он отрицал, что выразился так резко.

— Да нет же. Я помню лучше вас.

Они шли среди белого безмолвия монастыря. Они посетили келью, которую блаженный Анжелико украсил нежнейшей живописью. И тут, перед ликом мадонны, которая на фоне блеклого неба принимает от бога-отца венец бессмертия, он обнял Терезу и поцеловал ее в губы, почти что на глазах у двух англичанок, проходивших по коридору и все время заглядывавших в Бедекера[104]. Она заметила:

— Мы чуть не забыли келью святого Антонина[105].

— Тереза, в моем счастье меня мучит все, что относится к вам, но ускользает от меня. Меня мучит, что вы жили не мною одним и не ради меня одного. Мне хотелось бы, чтобы вы всецело были моей, чтобы вы были моей и в прошлом.

Она слегка пожала плечами:

— О, прошлое!

— Прошлое — это для человека единственная реальность. Все, что есть, — уже прошло.

Она подняла к нему прелестные глаза, напоминавшие небо, каким оно бывает, когда сквозь дождь светит солнце:

— Ну, так я могу вам сказать: лишь с тех пор, как я вместе с вами, я чувствую, что живу.

Вернувшись во Фьезоле, она нашла письмо от Ле Мениля, короткое и угрожающее. Ему совершенно непонятно ее отсутствие, которое так затягивается, непонятно ее молчание. Если она тотчас же не даст ему знать, что возвращается, он сам приедет за ней.

Она прочитала и ничуть не удивилась, но была подавлена, видя, что сбывается все, что должно было сбыться, что ее не минует то, чего она опасалась. Она могла бы еще успокоить его, уговорить. Ей стоило только сказать, что она любит его, что скоро вернется в Париж, что

он должен отказаться от безумной мысли — ехать за ней сюда, что Флоренция — большая деревня, где их сразу все увидят. Но надо было написать: «Я люблю тебя». Надо было убаюкать его ласковыми словами. У нее не доставало решимости. Она намекнула ему на правду. В туманных выражениях обвиняла самое себя. Писала что-то неясное о душах, унесенных потоком жизни, о том, как мало значишь среди бурного моря людских дел. С грустью и нежностью просила она его сохранить где-нибудь в уголке души доброе воспоминание о ней.

Она сама отнесла письмо на почту на площадь Фьезоле. Дети играли в классы среди надвигавшихся сумерек. С вершины холма она окинула взглядом несравненную чашу, на дне которой лежит, как драгоценность, прекрасная Флоренция. Тереза вздрогнула, ощутив мир и безмятежность этого вечера. Она опустила письмо в ящик. И только тогда она с полной ясностью поняла, что она сделала и какие это будет иметь последствия.

XX

На Пьяцца делла Синьория, где лучезарное весеннее солнце рассыпало желтые розы, толпа торговцев зерном и макаронами, собравшихся на рынок, начала расходиться, едва только пробило двенадцать. У подножья Ланци, перед скопищем статуй, продавцы мороженого воздвигали на своих столиках, обтянутых красной материей, маленькие замки, внизу которых была надпись: «Bibite ghiacciate»[106]. И бездумная радость спускалась с небес на землю. Возвращаясь с утренней прогулки в садах Боболи, Тереза и Жак проходили мимо знаменитой лоджии; Тереза глядела на «Сабинянку» Джованни Болонья[107] с тем напряженным любопытством, с каким женщина рассматривает другую женщину. Но Дешартр глядел только на Терезу. Он сказал ей:

— Удивительно, как к вашей красоте идет яркий солнечный свет, как он любит и ласкает ваши щеки, их нежный перламутр.

— Да, — сказала она. — При свечах черты лица у меня становятся жестче. Я это замечала. Вечера, к несчастью, не для меня, а ведь именно вечерами женщинам чаще всего представляется случай показаться в обществе и понравиться. У княгини Сенявиной вечером бывает красивый матово-золотистый цвет кожи, а при солнечном свете она желта, как лимон. Надо признать, что это ее нисколько не тревожит. Она не кокетлива.

— А вы кокетливы?

— О да! Прежде я была кокетлива ради себя, теперь — ради вас.

Тереза все еще смотрела на «Сабинянку»: большая, высокая, сильная, напрягая руки и бедра, она пытается вырваться из объятий римлянина.

— Неужели для того, чтобы быть красивой, женщина должна отличаться такой сухостью форм и у нее должны быть такие длинные руки и ноги? Я вот на нее не похожа.

Он постарался ее успокоить. Но она и не тревожилась. Теперь она смотрела на маленький замок мороженщика, сверкавший медью на ярко-красной скатерти. У нее внезапно появилось желание отведать мороженого, вот тут же, на площади, как только что на ее глазах это делали городские работницы. Он сказал:

— Погодите минутку.

Он побежал к той улице, что проходит слева от статуй, и скрылся за углом.

Минуту спустя он вернулся и подал ей ложечку с позолотой, наполовину стершейся от времени; ручка оканчивалась флорентинской лилией, чашечка которой покрыта была красной эмалью.

— Это вам для мороженого. Мороженщик ложки не дает. Вам пришлось бы лизать язычком. Это было бы очень мило, но вы к этому не привыкли.

Она узнала ложечку, драгоценную безделушку, которую заметила накануне в витрине антиквара по соседству с Ланци.

Они были счастливы, и радость свою, всеобъемлющую и простую, они расточали в легких словах, как будто ничего не значивших. Они смеялись, когда флорентинец мороженщик, сопровождая слова скупой и выразительной мимикой, в разговоре с ними употреблял выражения старинных итальянских новеллистов. Ее забавляла удивительная подвижность его старого благодушного лица. Но слова не всегда были ей понятны. Она спросила Жака:

— Что он сказал?

— Вы хотите знать?

Она хотела знать.

— Ну так вот: он сказал, что был бы счастлив, если бы блохи в его постели были сложены, как вы.

Когда она съела мороженое, он стал уговаривать ее снова посетить Ор-Сан-Микеле. Это так близко. Стоит наискось перейти площадь — и они тотчас же увидят эту древнюю каменную драгоценность. И они пошли. Они посмотрели на бронзовые статуи св. Георгия и св. Марка. На облупленной стене дома Дешартр вновь увидел почтовый ящик и с мучительной отчетливостью вспомнил руку в перчатке, опустившую в него письмо. Медная пасть, поглотившая тайну Терезы, показалась ему отвратительной. Он не мог оторвать от нее глаз. Веселость его рассеялась. Тереза между тем старалась вызвать в себе восторг перед грубоватой статуей евангелиста.

— Да верно: вид у него честный и прямой; так и кажется, заговори он только, и его уста говорили бы одну правду.

Он с горечью заметил:

— Да, это не женские уста.

Она поняла его мысль и очень мягко спросила:

— Друг мой, почему вы говорите со мной так? Ведь я искрення.

— Что вы называете быть искренней? Вы же знаете, что женщине приходится лгать.

Она помедлила с ответом. Потом сказала:

— Женщина бывает искренней, когда не лжет без причины.

XXI

Тереза в темно-сером платье шла среди цветущих кустов раkitника. Крутой спуск за

террасой усеян был серебристыми звездами толокнянки, а на склонах холмов лавр устремлял ввысь свое благоуханное пламя. Чаша-Флоренция была вся в цвету.

Вивиан, одетая в белое, гуляла по саду, полному весенних запахов.

— Вот видите, darling, Флоренция и в самом деле город цветов, недаром ее эмблема — красная лилия. Сегодня праздник, darling.

— Ах, вот как? Сегодня праздник?

— Разве вы не знаете, darling, что нынче у нас первый день мая, Primavera?[108] Разве не проснулись вы этим утром в мире дивного волшебства? О darling, вы не справляете праздника цветов? Вы не радуетесь, вы, так любящая цветы? Ведь вы же их любите, my love, я это знаю; вы нежны к ним. Вы говорили мне, что они чувствуют и радость и горе, что они страдают так же, как и мы.

— Ах, вот как! Я говорила, что они страдают так же, как мы?

— Вы это говорили. А сегодня их праздник. Надо справлять его по обычаям предков, по обрядам, освященным старыми художниками.

Тереза слушала, не понимая. Под перчаткой у нее лежало скомканное письмо, которое она только что получила, — письмо с итальянской маркой и всего в две строки:

«Я приехал этой ночью и остановился в гостинице «Великобритания» на Лунгарно Аччьяоли. Жду вас утром. № 18».

— О darling, так вы не знаете, что во Флоренции существует обычай — в первый день мая праздновать возвращение весны? Но тогда вам не вполне понятно, что означает картина Боттичелли[109], посвященная празднику цветов, эта очаровательная, задумчиво радостная «Весна»? В былые времена, darling, в этот первый день мая весь город ликовал. Девушки в праздничных нарядах, в венках из ветвей боярышника длинной процессией тянулись по Корсо под арками из цветов и вели хороводы на молодой траве в тени лавров. Мы будем танцевать в саду.

— Вот как! Будем танцевать в саду?

— Да, и я вас, darling, научу тосканским па пятнадцатого века, которые восстановил по старинной рукописи господин Моррисон[110], патриарх лондонских библиотекарей. Возвращайтесь скорей, вместо шляп мы наденем венки из цветов и будем танцевать.

— Хорошо, дорогая, хорошо.

И, толкнув калитку, она побежала по узкой дорожке, неровной, как дно потока, с камнями, скрытыми под кустами роз. Она села в первый попавшийся экипаж. На шапке у кучера были васильки и на хлысте — тоже.

— Гостиница «Великобритания», Лунгарно Аччьяоли.

Она знала, где это Лунгарно Аччьяоли... Она была там вечером и помнила, как на взволнованной поверхности реки рассыпалось солнечное золото. Потом — ночь, глухой рокот воды в тишине, слова, взгляды, смутившие ее, первый поцелуй друга, начало их непоправимой любви. О да, она помнила Лунгарно Аччьяоли и берег за Старым мостом... Гостиница «Великобритания»... Она знала ее большое каменное здание на набережной. Раз он все равно должен был приехать, хорошо, что он остановился именно там. Он с таким же успехом мог бы поселиться в «Городской гостинице» на площади Манини, где живет Дешартр. Удачно, что их комнаты не рядом, не выходят в один и тот же коридор... Лунгарно

Ачъяоли... Покойник, которого пронесли тогда монахи, мчавшиеся мимо них, наверно, мирно лежит теперь где-нибудь на маленьком кладбище среди цветов...

— Номер восемнадцать.

Это была неуютная комната с печью на итальянский лад, обычная комната в гостинице. На столе — аккуратно разложенный набор щеток и железнодорожный справочник. Ни одной книги, ни одной газеты. Он был здесь; на его осунувшемся лице она увидела печать глубокого страдания; казалось, его лихорадило. Ей стало тяжело и больно. Он ждал от нее какого-нибудь слова, жеста, но она оставалась отчужденной и нерешительной. Он предложил ей стул. Она отодвинула его и продолжала стоять.

— Тереза, тут есть что-то такое, чего я не знаю. Скажите.

Помолчав секунду, она мучительно медленно ответила:

— Друг мой, зачем вы уехали, пока я была в Париже?

В грустном тоне этих слов он уловил, хотел уловить нежный упрек. Лицо его покрылось румянцем. Он с живостью ответил:

— О, если бы я только мог предвидеть! Ведь охота, вы же понимаете, для меня в сущности ничего не значит! Но вашим письмом от двадцать седьмого (у него была отличная память на числа) вы страшно взволновали меня. За это время что-то произошло. Скажите мне все.

— Друг мой, мне казалось, что вы больше не любите меня.

— Но теперь, когда вы знаете, что это не так?

— Теперь...

Она стояла, опустив руки, сжав пальцы.

Потом с напускным спокойствием проговорила:

— Друг мой, ведь мы ни о чем не думали, когда сошлись. Всего нельзя предвидеть. Вы молоды, вы даже моложе меня, потому что мы почти ровесники. У вас, наверно, есть планы на будущее.

Он гордо взглянул ей прямо в лицо. Она продолжала менее уверенно:

— Ваши родные, ваша матушка, ваши тетки, ваш дядя-генерал строят за вас планы. Это вполне естественно. Я могла бы оказаться препятствием. Лучше мне исчезнуть из вашей жизни. Мы сохраним друг о друге доброе воспоминание.

Она протянула ему руку в перчатке. Он скрестил руки на груди.

— Так я тебе больше не нужен? Ты думаешь, что дала мне счастье, какого не знал ни один человек, а потом отставила, и что так оно и кончится? Ты в самом деле думаешь, что покончила со мной?.. Да что это вы мне сказали? Связь можно прервать. Люди сходятся, расходятся... Ну, так нет! Вы не такая женщина, с которой можно разойтись.

— Да, может быть, вы привязались ко мне крепче, чем это бывает в таких случаях. Я была для вас больше, чем развлечение. Но что, если я не такая женщина, как вы думаете, если я вам изменяла, если я легкомысленна... Вы же знаете: об этом говорили... Так вот, если я не была с вами такой, какой должна была быть...

Она в нерешительности остановилась и продолжала тоном серьезным и задушевым,

который противоречил ее словам:

— А что, если я вам скажу, что в то время когда я принадлежала вам, у меня бывали увлечения, разные прихоти... если я вам скажу, что не создана для подлинного чувства...

Он прервал ее:

— Ты лжешь.

— Да, я лгу. И лгу нехорошо. Я хотела замарать наше прошлое. Я была не права! Оно такое, каким вы его знаете. Но...

— Но что?..

— Ах, это и есть то, что я вам всегда говорила: я ненадежный человек. Есть женщины, которые будто бы могут ручаться за себя. Я вас предупреждала, что я не такая, как они, и что я за себя не отвечаю.

Он замотал головой, как взбешенный зверь, готовый вот-вот броситься на врага.

— Что ты хочешь сказать? Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Говори яснее... яснее — слышишь? Между нами какая-то преграда. Не знаю, что это такое. Я хочу знать. Что случилось?

— Я вам объясняю, друг мой: я не такая женщина, которая может быть уверена в самой себе, и вы не должны были полагаться на меня. Нет! не должны были. Я ничего не обещала... А даже если бы и обещала — что значат слова?

— Ты меня больше не любишь. Ты больше меня не любишь, я это вижу. Но тем хуже для тебя! Я-то тебя люблю. Не надо было доводить до этого. Не надейся, что это можно поправить. Я тебя люблю и не отпущу... И ты думала, что сможешь так спокойно выпутаться? Послушай. Ты же сделала все, чтобы я тебя любил, чтобы я привязался к тебе, не мог бы жить без тебя. Мы вместе наслаждались — и блаженства этого не выразишь словами. И ты не отказывалась от этого. Ведь я тебя не неволил. Ты сама хотела. Еще полтора месяца тому назад ты лучшего и не желала. Ты была для меня все. Я был всем для тебя. Бывали минуты, когда мы уже и не знали, кто из нас — ты, кто — я, и вот ты хочешь, чтобы я вдруг забыл тебя, не был с тобой знаком, чтобы ты стала для меня чужой, стала для меня дамой, которую просто встречаешь в свете. Ну, много же ты захотела! Да полно, может быть, мне все это приснилось? Твои поцелуи, твоё дыхание, которое я чувствовал на своем лице, твой голос — так все это не правда? Скажи: я все это выдумал? О! тут нет сомнений: ты меня любила. Я еще всем существом своим чувствую твою любовь. Так что же это? Ведь я не переменялся. Я остался тот, каким был. Ты ни в чем не можешь меня упрекнуть. Я не изменял тебе с другими женщинами. Но тут нет никакой моей заслуги. Я бы и не мог изменять. Когда узнаешь тебя, даже самые красивые женщины кажутся бесцветными. Мне никогда не приходило в голову изменять тебе. По отношению к вам я всегда был джентльменом. Почему же вы меня разлюбили? Да отвечай мне, говори же. Скажи, что ты меня еще любишь. Скажи, что любишь, ведь это же правда. Иди ко мне, иди! Тереза, ты сразу почувствуешь, что любишь меня так же, как и прежде, в нашем гнездышке на улице Спонтини, — мы были там так счастливы! Иди ко мне!

Он, весь пылая, бросился к ней, жадно обхватил ее руками. А она в испуге, отразившемся в ее глазах, с ледяным отращением оттолкнула его.

Он понял, остановился и сказал:

— У тебя любовник!

Она тихо опустила голову и снова подняла ее, сосредоточенная и безмолвная.

Тогда он ударил ее в грудь, в плечо, в лицо. И сразу же отпрянул, охваченный стыдом. Он опустил глаза и замолчал. Прижав пальцы к губам, грызя себе ногти, он вдруг заметил, что до крови расцарапал себе руку о булавку ее корсажа. Он опустился в кресло, вынул носовой платок, чтобы вытереть кровь, и теперь сидел, словно равнодушный ко всему и не думая ни о чем.

Прислонившись к двери, подняв голову, бледная, с блуждающим взглядом, она отвязывала порвавшуюся вуалетку и поправляла шляпку. От легкого шороха материи, который когда-то был так восхитителен для него, он вздрогнул, взглянул на нее и снова пришел в ярость.

— Кто он? Я хочу знать.

Она не шевельнулась. На бледном лице оставался красный след от его кулака. Она кротко, но с твердостью ответила:

— Я сказала вам все, что могла сказать. Не спрашивайте больше ни о чем. Это бесполезно.

Он посмотрел на нее жестким, незнакомым ей взглядом.

— Что ж, не называйте мне его имени. Мне будет нетрудно его узнать.

Она молчала, печалась за него, тревожась за другого, полная и тоски и опасений, и все же ни о чем не жалея, не чувствуя ни горечи, ни скорби; душой она была не здесь.

Он как будто смутно понял, что в ней происходит. Видя ее такой кроткой и спокойной, еще более прекрасной, чем в дни их любви, но прекрасной для другого, он хотел бы ее убить; в гневе он крикнул ей:

— Уходи! Уходи!

Потом, обессиленный этим приступом ненависти, совсем не свойственной ему, он обхватил голову руками и зарыдал.

Его страдание тронуло ее, вернуло ей надежду его успокоить, смягчить разлуку. Она подумала, что, может быть, ей удастся его утешить. Она с дружеским участием под села к нему.

— Друг мой, порицайте меня. Я достойна порицания и еще более — сожаления. Презирайте меня, если хотите и если вообще можно презирать несчастное существо, которым играет жизнь. Словом, судите обо мне, как хотите. Но и в негодовании своем сохраните чуточку дружбы ко мне, пусть в воспоминании вашем будет и горечь и нежность, как бывает в осенние дни, когда и солнечно и ветрено. Это я заслужила. Не будьте жестоки с приятной и легкомысленной гостьей, вошедшей в вашу жизнь. Проститесь со мной как со странницей, которая уходит бог весть куда и которой грустно. Всегда ведь печально уезжать. Вы сейчас так озлобились на меня. О! я вас в этом не упрекаю. Меня это только мучит. Сохраните же ко мне чуточку симпатии. Как знать? Мы никогда не знаем будущего. Для меня оно такое неясное, такое смутное. Только бы я могла говорить себе, что была с вами доброй, простой, откровенной и что вы этого не забыли. Со временем вы поймете, вы простите. Пожалейте же меня уже сейчас.

Он не слушал ее, успокоенный ласковостью голоса, звуки которого лились, чистые и ясные. Вдруг он сказал:

— Вы его не любите. Вы любите меня. Так как же?..

Она не знала, что ответить, и уклончиво проговорила:

— Ах! сказать, кого любишь, кого не любишь это нелегко для женщины, по крайней мере для меня. Не знаю, как поступают другие. Но жизнь беспощадна. Она бросает нас, толкает, швыряет...

Он посмотрел на нее очень спокойно. Ему пришла в голову мысль — он принял решение. Все устроится. Он простит, он забудет, лишь бы она сразу же вернулась к нему.

— Тереза, ведь вы не любите его? Это была ошибка, минута забвения, вы сделали глупую и ужасную вещь, сделали по слабости, застигнутая врасплох, может быть — с досады. Поклянитесь мне, что вы с ним больше не встретитесь.

Он взял ее за руку.

— Поклянитесь!

Она молчала, сжав губы; лицо ее было мрачно; он стиснул ей пальцы. Она закричала:

— Вы мне делаете больно!

Но у него был свой план. Он потащил ее к столу, на котором рядом со щетками была чернильница и несколько листков почтовой бумаги с большой голубой виньеткой, изображающей фасад гостиницы с бесчисленными окнами.

— Пишите то, что я вам продиктую. Я велю отнести письмо.

Но она противилась, и ей пришлось упасть на колени. Гордая и спокойная, она сказала:

— Я не могу, я не хочу.

— Почему?

— Потому, что... Вы хотите знать?.. Потому, что я его люблю.

Он неожиданно выпустил ее локоть. Если бы под рукой у него был револьвер, он, может быть, убил бы ее. Но почти сразу же ярость его перешла в грусть, и теперь уже он, отчаявшись во всем, сам был бы рад умереть.

— Это правда? Может ли это быть? Неужели это правда?

— Да разве я знаю? Разве я могу сказать? Разве я понимаю? Разве я могу о чем-нибудь думать, что-нибудь чувствовать, соображать? Разве я...

Сделав над собой усилие, она прибавила:

— Разве есть для меня в эту минуту что-нибудь другое, кроме моей грусти и вашего отчаяния?

— Ты его любишь! любишь! Да что это за человек, каков он, если вы могли его полюбить?

Пораженный неожиданностью, он не мог прийти в себя от изумления. Но ее слова все-таки положили между ними преграду. Он уже не смел грубо обращаться с ней, схватить ее, ударить, смять, как вещь, как что-то скверное и непокорное, но все же принадлежащее ему. Он повторил:

— Вы его любите! Любите! Но что он вам сказал, что он сделал с вами, что вы его любите? Я же вас знаю, только я иной раз не признавался, что взгляды, которых вы придерживаетесь,

меня шокируют. Готов держать пари, что это человек даже не нашего круга. И вы воображаете, что он вас любит? Вы так думаете? Ну, так вы ошибаетесь: он вас не любит. Просто-напросто это ему льстит. Он бросит вас при первом же случае. Когда он достаточно скомпрометирует вас, он вас прогонит. И вы пойдете по рукам. Через год о вас будут говорить: «Она никем не брезгует». Мне обидно за вашего отца, как за моего друга, а он-то о вашем поведении узнает, не надейтесь обмануть его!

Она слушала, оскорбленная, но и утешенная мыслью о том, как мучительно ей было бы его великодушие.

Он в своей простоте искренне презирал ее. И это облегчало его боль. Он упивался этим чувством.

— Как все это произошло? Мне-то вы можете сказать.

Она пожала плечами с таким пренебрежением, что он уже не смел продолжать в этом тоне. В нем опять заговорила злоба.

— Неужели вы воображаете, что я буду помогать вам соблюсти приличия, что буду приходить к вам, продолжать знакомство с вашим мужем, что я буду поощрять вас?

— Я думаю, вы сделаете то, что должен сделать порядочный человек. Я ничего от вас не требую. Мне хотелось сохранить воспоминание о вас, как о самом лучшем друге. Я думала, вы будете снисходительны и добры ко мне. Это оказалось невозможным. Вижу, что мирно расстаться нельзя. Потом, со временем вы обо мне будете судить лучше. Прощайте!

Он посмотрел на нее. Теперь лицо его выражало не столько гнев, сколько страдание. Она никогда не видела у него таких сухих, обведенных синими кругами глаз, не замечала таких впалых висков, редких волос. Казалось, он состарился за один час.

— По-моему, лучше предупредить вас. Я не могу больше видеться с вами. Вы не такая женщина, с которой может встречаться тот, кто ею обладал и утратил ее. Говорю вам: вы не такая, как все. В вас особенный яд, вы меня отравили им, я его чувствую в себе, в своих жилах, во всем своем существе. Зачем я вас узнал?

Теперь в ее взгляде светилась доброта.

— Прощайте! И скажите себе, что я не стою таких жгучих сожалений.

Но когда он увидел, что она дотронулась до ручки двери, когда по этому жесту он почувствовал, что вот-вот потеряет ее и никогда больше не вернет, он вскрикнул и бросился к ней. Он уже ничего не помнил. Оставалась лишь ошеломленность, сознание большого несчастья, непоправимой утраты. И из глубины его оцепенения подымалось желание. Ему хотелось еще раз овладеть ею — той, которая теперь уходит и больше не вернется. Он потянул ее к себе. Он желал ее просто, всею силой своей животной воли. Она сопротивлялась ему всею той волей, независимой и насторожившейся, которая в ней была. Высвободилась она вся измятая, истерзанная, разбитая, но даже и не почувствовав страха.

Он понял, что все бесполезно; он восстановил в памяти случившееся и понял, что она больше не принадлежит ему, потому что принадлежит другому. Боль снова вернулась к нему, он осыпал ее бранью и вытолкнул из комнаты.

Она мгновение постояла в коридоре, из гордости ожидая хоть слова, хоть взгляда, которые достойно завершили бы их былую любовь.

Но он еще раз крикнул: «Уходи!» — и с силой захлопнул дверь.

На Виа Альфьери она вновь увидела флигель в глубине двора, поросшего блеклой травой. Он стоял все такой же мирный и безмолвный, с козами и нимфами на фронтоне, храня верность любовникам времен великой герцогини Элизы[111]. Тереза сразу же почувствовала, что вырвалась из тягостного и грубого мира и перенеслась в те времена, когда еще не ведала печалей жизни. Внизу лестницы, ступени которой были усыпаны розами, ее ждал Дешартр. Она бросилась к нему в объятия и замерла. Он на руках понес ее, безвольную и неподвижную, словно это были драгоценные останки той, перед кем он благоговел и трепетал. Полузакрыв глаза, Тереза чувствовала себя в его власти и наслаждалась гордым сознанием своей незащитности перед ним. Ее усталость, ее печаль, отвращение, испытанное за день, воспоминание о грубостях, вновь обретенная свобода, жажда забыть недавний страх — все оживляло, все возбуждало ее нежность... Она упала на постель и обвила руками шею друга.

Придя в себя, они веселились, как дети. Они смеялись, говорили всякий вздор, играли, пробовали апельсины, лимоны, арбузы, лежавшие возле них на разрисованных тарелках. Оставшись в одной только розовой тонкой рубашке, которая, соскользнув на плечо, открывала одну грудь и еле прикрывала другую с проступавшим сквозь ткань соском, Тереза радовалась красоте своего тела. Губы ее были полуоткрыты, зубы влажно блестели. Она с кокетливым беспокойством спрашивала, не разочарован ли он после тех мечтаний, в которых он с искусством знатока рисовал себе ее образ.

В ласковом свете дня, проникавшем в комнату, он с юношеской радостью созерцал ее. Он осыпал ее похвалами, целовал.

Они забывались среди шутливых ласк, нежных пререканий, бросая друг на друга счастливые взгляды. Потом внезапно став серьезными, с отуманенными глазами, сжав губы, во власти того священного неистовства, которое делает любовь похожей на ненависть, они снова отдавались друг другу, сливаясь, погружаясь в бездну.

И она снова открывала влажные глаза и улыбалась, не поднимая головы с подушки, по которой разметались ее волосы, томная как после болезни.

Он спросил ее, откуда у нее красное пятнышко на виске. Она ответила, что не знает и что это пустяк. Она почти что и не лгала, она была искреня. Она в самом деле не помнила.

Они стали перебирать в памяти короткую и прекрасную историю своей жизни, начавшейся только с того дня, когда они встретили друг друга.

— Помните, на террасе, на другой день после вашего приезда?.. Вы говорили мне что-то туманное и бессвязное... Я догадалась, что вы в меня влюблены.

— Я боялся, что покажусь вам глупым.

— Так оно и было отчасти. Но для меня это была победа. Меня начинало сердить, что вас так мало волнует моя близость. Я полюбила вас прежде, чем вы меня. О! я этого не стыжусь.

Он влил ей в рот несколько капель шипучего асти. Но на столике стояла бутылка тразименского вина. Ей захотелось его попробовать в память об озере, которое она увидела в вечерний час, пустынным и печальным, словно покоящемся в опаловой чаше с отбитыми краями. Это было во время ее первого путешествия по Италии. С тех пор прошло шесть лет.

Он упрекнул ее в том, что она без него узнавала красоту мира.

Она ответила ему:

— Без тебя я ничего не умела видеть. Почему ты не приходил раньше?

Он зажал ей рот долгим поцелуем. А когда она очнулась, изнемогая от радости, усталая и счастливая, она крикнула:

— Да, я тебя люблю! И никого не любила, кроме тебя!

## XXII

Ле Мениль написал ей: «Уезжаю завтра в семь часов вечера. Будьте на вокзале».

Она приехала. Она увидела его, корректного, спокойного, у стоянки отельных омнибусов, — на нем был длинный серый плащ с пелериной; Ле Мениль обронил:

— А, вы здесь!

— Вы же звали меня, друг мой.

Он не признался, что написал ей в нелепой надежде на то, что она снова полюбит его и что все забудется или что она скажет: «Я испытывала вас».

Если бы она так сказала, он сейчас же поверил бы ей.

Но она не произнесла этих слов; он был разочарован и сухо спросил:

— Вы ничего не хотите мне сказать? Ведь должны говорить вы, а не я. Мне-то незачем объясняться. Мне нечего оправдываться в измене.

— Друг мой, не будьте жестоки, не будьте неблагодарны к нашему прошлому. Вот все, что я хотела вам сказать. И еще я хочу сказать, что покидаю вас с грустью, как истинный друг.

— И это все? Скажите это лучше тому, другому. Ему будет интереснее.

— Вы позвали меня, и я пришла; не заставляйте меня жалеть об этом.

— Досадно, что я побеспокоил вас. Конечно, вы могли бы лучше провести время. Не смею вас задерживать. Отправляйтесь же к нему, ведь вам не терпится.

При мысли, что в этих жалких и гадких словах отражено извечное человеческое страдание и что тому есть примеры в трагедиях, ее охватила печаль, смешанная с чувством иронии, и губы ее дрогнули. Он решил, что она смеется.

— Не смейтесь и выслушайте меня. Третьего дня, в гостинице, я хотел вас убить. И был так близок к этому, что теперь знаю, как доходят до убийства. И потому я этого не сделаю. Можете быть вполне спокойны. Да и к чему? Я считаю нужным соблюдать приличия, охраняя самого себя, поэтому в Париже сделаю вам визит. К моему сожалению, я услышу, что вы не можете меня принять. Я повидаюсь с вашим мужем, повидаюсь также с вашим отцом. Это будет прощальный визит перед довольно продолжительным путешествием. Прощайте, сударыня!

Он повернулся к ней спиной, и в этот миг Тереза увидела мисс Белл и князя Альбертинелли: они выходили из здания товарной станции и направлялись к ней. Князь был очень хорош. Вивиан шла рядом с ним, сияя от радости.

— О darling, вы здесь — вот приятная неожиданность! Мы с князем только что были в таможне, осматривали колокол — его уже доставили.

— Ах, вот как! Колокол доставили?

— Да, колокол Гиберти здесь, darling. Я видела его — он в своей деревянной клетке. Он не звонит, ибо он пленник. Но у себя во Фьезоле я устрою для него колокольню. Когда он почувствует воздух Флоренции, для него будет счастьем запеть, и мы услышим его серебристый голос. Голуби будут навещать колокол, и он своим звоном откликнется на все наши радости и все наши скорби. Он будет звонить для вас, для меня, для князя, для милейшей госпожи Марме, для господина Шулетта, для всех наших друзей.

— Дорогая, колокола никогда не откликаются на истинные радости и на истинные скорби. Это честные чиновники, которым знакомы лишь официальные чувства.

— О darling, вы ошибаетесь! Колоколам ведомы тайны души; им все известно. До чего же я рада, что встретила вас. О, я знаю, my love, отчего вы приехали на вокзал. Ваша горничная выдала вас. Она сказала мне, что вы ждете розовое платье, которого все нет, и вы сгораете от нетерпения. Но не огорчайтесь. Вы всегда хороши, my love.

Она усадила г-жу Мартен в свой кабриолет.

— Скорее, darling, сегодня у нас обедает господин Дешартр, и я не хочу заставлять его ждать.

Они ехали в вечерней тишине, дорогами, где разливались лесные запахи.

— Видите, darling, вон там черные прялки Парок[112], кипарисы на кладбище? Там-то я и хочу покоиться.

А Тереза думала с тревогой: «Они его видели. Узнали? Кажется, нет. На площади было уже темно, а огоньки, которыми она усеяна, спят глаза. Да и знакома ли она с ним? Не помню, встречались ли они у меня в прошлом году».

Особенно же ее беспокоила сдержанная веселость князя.

— Darling, хотите место рядом со мною, там, на сельском кладбище, — чтобы мы покоились друг подле друга, а над нами было бы немножко земли и беспредельное небо! Но, я, напрасно обращаюсь к вам с таким предложением — ведь вы не можете его принять. Вам не позволят спать вечным сном у подножья холмов Фьезоле, my love. Вы должны покоиться в Париже, под великолепным надгробным памятником рядом с графом Мартен-Беллемом.

— Почему? Или вы думаете, дорогая, что жена должна быть связана с мужем даже и после смерти?

— Разумеется, должна, darling. Узы брака — и земные и вечные. Разве вы не знаете историю молодой любящей четы[113] в Оверни? Супруги умерли почти одновременно, и их положили в могилы, разделенные дорожкой. Но каждую ночь шиповник перекидывал с могилы на могилу свои цветущие ветви. Пришлось соединить гробы.

Проехав Бадию, они увидели какую-то процессию, подымавшуюся по склонам холма. Вечерний ветер задувал пламя свечей, вставленных в деревянные позолоченные подсвечники. Девушки в белом и голубом шли за разрисованными хоругвями. Позади них выступали святой Иоанн — белокурый в локонах мальчик в шкуре ягненка, с голыми руками и плечами, святая Мария Магдалина лет семи, нагота которой была прикрыта золотым покровом распущенных волос. А дальше толпой двигались жители Фьезоле. Среди них графиня Мартен увидела Шулетта. Синие очки спустились на самый кончик его носа; Шулетт держал в одной руке свечу, в другой — книгу и пел; рыжеватые отблески прыгали на его скуластом, курносом лице и на шишковатой лысой голове. Нечесаная борода поднималась и

опускалась в такт песнопению. От резкой игры света и теней на его лице он казался старым и могучим, как один из тех отшельников, которые весь свой век могут посвятить покаянию.

— Как он хорош, — заметила Тереза. — Он любит себя самим собой. Он великий актер.

— О darling, почему вы думаете, что господин Шулетт не может быть благочестивым человеком? Почему? В вере столько радости и красоты. Это известно поэтам. Если б господин Шулетт не верил, он не писал бы такие замечательные стихи.

— А вы-то сами, дорогая, верите?

— О да, я верю в господа бога и в слово Христово.

Балдахины, хоругви и белые покрывала уже исчезли за поворотом горной дороги а на лысине Шулетта все еще золотистыми лучами отражалось пламя свечи.

Дешартр тем временем ждал в саду один. Тереза увидела, что он стоит, облокотившись на перила террасы, там, где он впервые испытал терзания любви. Пока мисс Белл с князем Альбертинелли выбирали место для колокола, который скоро должны были привезти, Дешартр увлек подругу к кустам раkitника.

— Ведь вы же обещали, что к моему приходу будете в саду. Я жду вас целый час, я истерзался. Вы не должны были уходить. Ваше отсутствие удивило меня и привело в отчаяние.

Она уклончиво отвечала, что ей пришлось поехать на вокзал и что мисс Белл привезла ее назад.

Он извинился за свою несдержанность. Но все пугало его. Он страшился своего счастья.

Все уже сидели за столом, когда появился Шулетт; он напоминал античного сатира; его лучистые глаза светились дикой радостью. С тех пор как он вернулся из Ассизи, он общался лишь с людьми простыми, целыми днями пил кьянти с девицами легкого поведения, с мастеровыми и, возвещая пришествие Иисуса Христа и скорую отмену налогов и воинской повинности, учил радости и кротости. Когда процессия кончилась, он собрал каких-то бродяг среди развалин древнего театра и в макароническом стиле[114], пользуясь некоей смесью французского языка с тосканским, произнес речь, которую теперь с удовольствием воспроизвел:

— Короли, сенаторы и судьи сказали: «Жизнь народов — в нас». Но они лгут, они — точно гроб, который говорит: «Я колыбель».

Жизнь народов — в урожае нив, что желтеют под взглядом господа. Она — в виноградных лозах, обвивающих молодые вязаы, в улыбках и слезах, которыми небеса омывают плоды деревьев в садах.

Она — не в законах, что созданы людьми богатыми и могущественными для сохранения своего могущества и богатства.

Правители королевств и республик написали в своих книгах, что право людское есть право войны. И они восславили насилие. Они воздают почести завоевателям и на общественных площадях воздвигают статуи победителю и его коню. Но нет права убивать: вот почему человек справедливый не будет во время рекрутского набора тянуть жребий из урны. Нет права — поощрять безумства и преступления правителя, поставленного во главе королевства или республики; вот почему человек справедливый не станет платить налогов и не даст денег сборщикам податей. Он будет в мире вкушать плоды труда своего, будет печь хлеб из ржи, которую посеял, и есть плоды с деревьев, которые вырастил.

— Ах, господин Шулетт, — серьезным тоном сказал князь Альбертинелли, — вы хорошо делаете, что интересуетесь состоянием наших бедных и прекрасных земель, опустошаемых казной. Какую выгоду может дать земля, если тридцать три процента чистого дохода уходят на налоги? Тут и хозяин и слуги — жертвы сборщика податей.

Дешартра и г-жу Мартен поразила неожиданная искренность его тона.

Он добавил:

— Я люблю короля. Я ручаюсь за свою приверженность ему. Но меня тревожат бедствия крестьян.

В действительности же он с упорством и изворотливостью добивался лишь одного — восстановить имение Казентино, которое досталось ему от отца, князя Карло, адъютанта Виктора-Эммануила, уже на три четверти захваченное ростовщиками. Под его притворной мягкостью скрывалось упрямство. Пороки у него были только полезные, служившие цели его жизни. Чтобы вновь стать крупным тосканским землевладельцем, он занимался торговлей картинами, украдкой продавал знаменитые плафоны своего палаццо, искал расположения старых дам и, наконец, домогался руки мисс Белл, которая, как он знал, весьма ловко умела обогащаться и вести дом. Он действительно любил землю и крестьян. Страстные слова Шулетта, которые он понимал довольно смутно, будили отклик в его душе. Он продолжал высказывать свою мысль:

— В стране, где хозяин и слуги составляют одну семью, судьба первого зависит от судьбы последних. Казна разоряет нас. Какие чудесные люди наши крестьяне! Во всем мире не найдется других таких пахарей.

Госпожа Мартен призналась, что не подумала бы этого. Только в Ломбардии, как ей показалось, поля были хорошо обработаны и прорезаны бесчисленными каналами. А Тоскана представлялась ей прекрасным запущенным садом.

Князь ответил с улыбкой, что, вероятно, она не стала бы так говорить, если бы оказала ему честь и посетила его фермы в Казентине, пострадавшие, правда, от долгих и разорительных судебных тяжб. Там она увидела бы, что собой представляет итальянский крестьянин.

— У меня много хлопот с имением. И как раз сегодня вечером, когда я вернулся оттуда, мне вдвойне повезло: я встретил на вокзале мисс Белл, приехавшую ради своего колокола, и вас, сударыня, — вы беседовали со своим парижским знакомым.

Он догадался, что ей будет неприятно, если он заговорит об этой встрече. Оглянув сидевших за столом, он заметил, как встревожился и удивился Дешартр, который не мог скрыть своих чувств. Князь не унимался:

— Простите, сударыня, сельского жителя, претендующего на некоторое знание света: в этом господине, разговаривавшем с вами, я угадал парижанина по его английскому облику, а кроме того, он, при всей нарочитой корректности, держался так непринужденно и был необыкновенно оживлен.

— О, я давно с ним не виделась, — небрежно сказала Тереза, — и меня изумила наша встреча во Флоренции перед самым его отъездом.

Она посмотрела на Дешартра, который делал вид, что не слушает.

— А я знакома с этим господином, — заметила мисс Белл. — Это — Ле Мениль. Мы два раза сидели рядом на обеде у госпожи Мартен, и он очень мило разговаривал со мной. Он говорил, что любит футбол, что он ввел эту игру во Франции и что теперь футбол в большой

моде. Он рассказывал мне также о своих охотничьих приключениях. Он любит животных. Я замечала, что охотники очень любят животных. Уверяю вас, darling, что господин Ле Мениль замечательно рассказывает о зайцах. Он знает их привычки. Он говорил мне, что просто наслаждение смотреть, как они пляшут при луне среди вереска. Он уверял меня, что они очень умны и что он видел, как один старый заяц, за которым гнались собаки, ударами лапок заставил другого зайца выйти из норки, чтобы обмануть собак. А вам господин Ле Мениль рассказывал о зайцах, darling?

Тереза ответила, что не помнит и что охотники, по ее мнению, люди скучные.

Мисс Белл возразила. Она не думала, что г-н Ле Мениль может быть скучен, когда рассказывает о зайцах, которые пляшут при луне на вересковой пустоши или в винограднике. Ей хотелось бы, подобно Фанион, вырастить зайчонка.

— Darling, вы вряд ли слышали о Фанион. О, я уверена, что господин Дешартр про нее знает. Была она прекрасна и любима поэтами. Она жила на острове Кос в доме на склоне холма, поросшего лимонными и терпентиновыми деревьями, и спускалась к синему морю. И говорят, что взгляд ее встречался с синим взглядом волн. Историю Фанион я рассказала господину Ле Менилю, и она ему очень понравилась. Какой-то охотник подарил Фанион зайчонка с длинными ушами, которого отняли от матери, когда он еще сосал. Фанион вырастила его у себя на коленях и кормила весенними цветами. Он полюбил Фанион и забыл свою мать. Но он объелся цветами и умер. Фанион оплакивала его. Она похоронила его в саду среди лимонных деревьев, а могилу его она могла видеть со своей постели. И песни поэтов утешали тень зайчонка.

Добрейшая г-жа Марме сказала, что г-н Ле Мениль производит прекрасное впечатление благодаря своим изысканным и скромным манерам, которых больше не встретишь у молодых людей. Ей бы очень хотелось повидаться с ним. Ей надо попросить его об одной услуге.

— Поговорить с ним о моем племяннике, — пояснила она. — Он — артиллерийский капитан, на прекрасном счету, и его очень любит начальство. Его полковник долго служил под командованием дяди господина Ле Мениля, генерала Бриша. Если бы господин Ле Мениль согласился попросить своего дядю написать полковнику Фору несколько слов о моем племяннике, я была бы ему очень благодарна. Впрочем, мой племянник немного знаком с господином Ле Менилем. В прошлом году они вместе были на балу-маскараде, который капитан де Лессе дал в отеле «Англетер» офицерам Канского гарнизона и молодежи из окрестных имений.

Госпожа Марме добавила, опустив глаза:

— Гости не принадлежали, разумеется, к светскому обществу. Но, говорят, среди них были прехорошенькие. Их выписали из Парижа. Мой племянник, от которого я знаю все эти подробности, был одет фореитором, а господин Ле Мениль — гусаром смерти и имел большой успех.

Мисс Белл, по ее словам, было очень досадно, что она не знала о приезде господина Ле Мениля во Флоренцию. Она, конечно, пригласила бы его приехать отдохнуть во Фьезоле.

Дешартр до конца обеда был мрачен и рассеян, а когда Тереза на прощанье протянула ему руку, то почувствовала, что он не отвечает на пожатье.

На следующий день она пришла в укромный флигель на Виа Альфьери и заметила, что Дешартр озабочен. Сперва она попыталась отвлечь его от мыслей своим бурным весельем, своей нежной и задушевной страстностью, великолепным смирением любящей женщины, отдающей всю себя. Но он был мрачен по-прежнему. Всю ночь он размышлял, растревлял, вынашивал свою печаль и свою досаду. Нашлось много поводов для терзаний. Руку, опускавшую письмо в почтовый ящик перед бронзовой статуей св. Марка, он мысленно связал с тем пошлым и страшным незнакомцем, которого видели на вокзале. Теперь страдания Жака Дешартра приобрели очертания, имя. Он сидел в том старом кресле, в котором сидела Тереза в день своего первого посещения и которое теперь уступила ему, и отдавался во власть мучительных образов, а она оперлась на ручку кресла и склонилась к Дешартру, окутывая его теплотой своего тела, своей любящей души. Она слишком хорошо догадывалась о причине его страданий, чтобы прямо его спросить.

Надеясь навести его на более отрадные мысли, она стала вспоминать о сокровенных тайнах комнаты, в которой они сидели, о их прогулках по городу. Она вспоминала простые и милые подробности.

— Ложечка, которую вы мне подарили у Ланци, — ложечка с красной лилией — теперь служит мне по утрам, когда я пью чай. И по тому, с какой радостью я смотрю на нее, когда просыпаюсь, я чувствую, как я люблю тебя.

Но его ответ был грустен и туманен, и она сказала:

— Вот я здесь, с вами, а вам нет дела до меня. Вы заняты мыслью, которой я не знаю. Но я-то существую на свете, а мысль — это ничто.

— Мысль — ничто? Вы думаете? Мысль делает счастливым или несчастным; мыслью живут, от мысли умирают. Ну да, я думаю...

— О чем вы думаете?

— Зачем спрашивать? Вы же знаете, я думаю о том, что узнал вчера вечером и что вы скрывали от меня. Я думаю о вашей вчерашней встрече на вокзале, ведь она не была случайной, о ней было условлено в письме — вспомните письмо, опущенное в почтовый ящик у Ор-Сан-Микеле. О! Я вас не упрекаю. Я не имею права на это. Но зачем же вы отдавались мне, если не были свободны?

Она решила, что надо лгать.

— Вы говорите о человеке, которого я видела вчера на вокзале? Уверю вас, это была самая обычная встреча.

Его больно поразило, что она не смеет назвать по имени того, о ком говорит. Он тоже избегал произносить его имя.

— Тереза, он приезжал не ради вас? Вы не знали, что он во Флоренции? Он для вас — не что иное, как человек, с которым вы встречаетесь в свете и который бывает у вас? Он — не тот, кто и незримый заставил вас сказать мне на берегу Арно: «Я не могу». Он для вас — ничто?

Она твердо ответила:

— Он иногда бывает у меня. Мне его представил генерал Ларивьер. Вот и все. Уверю вас, мне он несколько не интересен, и я просто не постигаю, что вам приходит в голову.

Она испытывала какое-то странное удовлетворение, отрекаясь от человека, который с такой жестокостью и грубостью заявлял о своих правах на нее. Но она вступила на скользкий путь, ей хотелось скорее остановиться. Она встала и посмотрела на своего друга нежным и

серьезным взглядом.

— Послушайте: с того дня, как я стала вашей, вся моя жизнь принадлежит лишь вам. Если что-нибудь возбudit в вас сомнение или встревожит, спрашивайте меня. Настоящее принадлежит вам, и вы ведь знаете, что в нем — только вы, вы один, ты один. А что до моего прошлого, то если б вы только знали, какая это была пустота, вы бы остались довольны. Не думаю, чтобы другая женщина, как я, созданная для любви, могла принести вам такую нетронутую любовью душу. Это так, клянусь вам. Я не жила те годы, что прошли без вас. О них и говорить не стоит, И мне нечего стыдиться прошлого. Другое дело — можно жалеть о многом, и я жалею, что так поздно познакомилась с вами. Зачем, друг мой, зачем вы не появились раньше? Пять лет тому назад я с такой же радостью стала бы вашей, как сейчас. Но, право же, не стоит терзать себя, не стоит рыться в прошлом. Вспомните Лознгрину[115]. Если вы меня любите, то я для вас — рыцарь лебеда. Я ни о чем не спрашивала вас. Я ничего не хотела узнать. Не делала вам упреков по поводу Жанны Танкред. Я видела, что ты меня любишь, что ты страдаешь, и для меня этого было довольно... потому что я любила тебя.

— Женщина не может ни ревновать так, как ревнует мужчина, ни чувствовать то, от чего мы больше всего страдаем.

— Право, этого я не знаю. Но почему же?

— Почему? Потому что в крови, в плоти у женщины нет той безумной и высокой жажды обладания, того древнего инстинкта, который мужчина превратил в свое право. Мужчина — это бог, который желает безраздельно владеть своим твореньем. А женщина создана так с незапамятных времен, что ей суждено делиться собою. Нашими страстями управляет прошлое, туманное прошлое. Мы стары от рождения. Ревность для женщины — всего лишь укол самолюбия. Для мужчин — это пытка, глубокая, как нравственное страдание, долгая, как страдание физическое... Ты спрашиваешь, почему? Потому что, вопреки моей покорности и моей почтительности, вопреки страху, который ты внушаешь мне, ты — плоть, а я — мысль, ты — вещь, а я — душа, ты — глина, а я — ваятель. О! не жалуйся на это. Что значит смиренный и грубый горшечник подле округлой, обвитой гирляндами амфоры? Она невозмутима и прекрасна. Он жалок. Он томится, он желает, он мучится; ведь желать — это значит мучиться. Да, я ревнив. Я знаю, что заложено в моей ревности. Когда я вглядываюсь в нее, я нахожу извечные предрассудки, гордость дикаря, болезненную чувствительность, смесь глупой грубости и жестокой слабости, бессмысленное и злобное восстание против законов жизни и света. Но хоть я и постиг, что это такое, она все же не оставляет и терзает меня. Я — как химик, исследующий свойство кислоты, которую он выпил, и знающий, с какими элементами она вступает в соединения и какие соли образует. Но ведь кислота жжет его и прожжет до костей.

— Друг мой, ведь это нелепость?

— Да, нелепо, я сознаю это лучше, чем вы сами. Желать женщину во всем блеске ее красоты и ума, женщину независимую, искушенную, смелую, — а от этого она еще прекраснее и желаннее, — женщину, чей выбор свободен, сознателен, разумен, увлечься ею, любить ее такой, какая она есть, и страдать оттого, что нет в ней ни детской чистоты, ни чахлой пресной невинности, которые в ней были бы противны, если бы вообще они могли в ней быть, требовать, чтобы она была естественной и в то же время неестественной, обожать ее такой, какой сделала ее жизнь, и горько сожалеть, что жизнь, сделавшая ее прекрасной, коснулась ее, о, как все это нелепо! Я люблю тебя, понимаешь, люблю со всеми теми чувствами, всеми привычками, с которыми ты пришла ко мне, со всем тем, что дал тебе опыт, со всем тем, что дал тебе он, а быть может, они, как знать... Вот мое блаженство, вот мое мучение. Глубокий смысл, должно быть, заложен в глупом общественном мнении, которое считает нашу любовь преступной. Радость всегда преступна, когда она безмерна. Вот почему я страдаю, любовь

моя.

Она стала перед ним на колени, взяла его за руки, привлекла к себе:

— Я не хочу, чтобы ты страдал, не хочу. Да это просто безумие. Я люблю тебя и никого другого не любила. Ты можешь мне поверить, я не лгу.

Он поцеловал ее в лоб.

— Если б ты, дорогая, обманывала меня, я бы на тебя не сердился. Напротив, я был бы тебе благодарен. Обманывать того, кто страдает, — что может быть справедливее, что может быть человечнее? Что бы с нами было, — о боже! — если бы женщины из милосердия не лгали нам? Лги, любовь моя, лги из жалости. Дай мне насладиться грезой, ведь она расцвечивает черную печаль. Лги, не упрекай себя. Ведь к мечте о любви и красоте у меня прибавилась бы еще одна несбыточная мечта.

Он вздохнул:

— О! здравый смысл! людская мудрость!

Она спросила, что он хочет сказать и что это за людская мудрость. Он ответил, что есть верная, но грубая поговорка, о которой лучше умолчать.

— Скажи все-таки.

— Пусть будет по-твоему: «От поцелуев уста не блекнут».

И прибавил:

— Да, правда: любовь сохраняет красоту, а тело женщины живет ласками, как пчела — цветами.

Она поцелуем запечатлела свою клятву на его губах.

— Клянусь тебе, что никогда никого не любила, кроме тебя. Нет, нет, не ласки помогли мне сохранить частицу очарования, которую я с радостью отдам тебе. Я люблю тебя! люблю!

Но он помнил о письме, опущенном в ящик у Ор-Сан-Микеле, и о незнакомце, с которым она встретилась на вокзале.

— Если бы вы действительно любили меня, вы любили бы лишь меня одного.

Она поднялась, негодуя.

— Вы решили, что я люблю другого. Но ведь вы говорите чудовищные вещи. Вот, значит, какого вы мнения обо мне! И еще уверяете, что любите меня... Послушайте, мне просто жаль вас, ведь вы сумасшедший.

— Сумасшедший, правда? Повторите. Повторите же. Став на колени, она гладила ему виски и щеки своими мягкими ладонями. Она еще раз сказала, что нелепо тревожиться из-за самой обыкновенной, самой простой встречи. Она заставила его поверить, или, вернее, забыть. Он больше ничего не видел, не знал, не признавал, кроме этих легких рук, этих горячих губ, этих жадных зубов, этой округлой шеи, этого тела, отдававшего ему. Он хотел теперь лишь одного — раствориться в ней. Горечь и злоба рассеялись, и осталось лишь острое желание все забыть, заставить ее обо всем забыть и вместе с ней погрузиться в небытие. Она же, вне себя от тревоги и желания, чувствуя, какую всеобъемлющую страсть она внушает, сознавая все свое беспредельное могущество и в то же время свою слабость, в порыве безудержной

страсти, до сих пор неведомой ей самой, ответила на его любовь. И безотчетно, в каком-то исступлении, охваченная смутным желанием отдать всю себя, как никогда прежде, она осмелилась на то, что раньше считала для себя невозможным. Горячая мгла окутывала комнату. Золотые лучи, вырываясь из-за краев занавеси, освещали корзинку с земляникой на столе, рядом с бутылкой асти. У изголовия постели улыбался поблекшими губами светлый призрак венецианки. Бергамские и веронские маски на ширмах предавались безмолвной радости. Роза в бокале, поникнув, роняла лепесток за лепестком. Тишина была пронизана любовью; они наслаждались своей жгучей усталостью.

Она заснула на груди у своего возлюбленного, и легкий сон продлил ее блаженство. Раскрыв глаза, она, полная счастья, сказала:

— Я тебя люблю.

Он, приподнявшись на подушке, с глухой тревогой смотрел на нее.

Она спросила, почему он печален.

— Ты только что был счастлив. Что же случилось?

Но он покачал головой, не произнеся ни слова.

— Говори же! Лучше упреки, чем это молчание.

Тогда он ответил:

— Ты хочешь знать? Так не сердись же. Я никогда так не страдал, как сейчас, — ведь теперь я знаю, что ты даешь.

Она резко отодвинулась от него и с укором и болью во взгляде сказала:

— Неужели вы думаете, что и с другим я была такой же, какой с вами! Вы оскорбляете меня в том, что для меня всего выше, — в моей любви к вам. Я вам этого не прощаю. Я вас люблю. Я никого не любила, кроме вас. Я страдала только из-за вас. Можете радоваться. Вы мне сделали так больно... Неужели вы злой?

— Тереза, нельзя быть добрым, когда любишь.

Свесив, словно купальщица, свои обнаженные ноги, она долго сидела на постели, неподвижная и задумчивая. Лицо, побледневшее от пережитых наслаждений, снова порозовело, и на ресницах показались слезы.

— Тереза, вы плачете!

— Простите меня, друг мой. Я впервые люблю и любима по-настоящему. Мне страшно.

## XXIV

Пока по лестницам носили сундуки и глухой шум наполнял виллу Колоколов, пока Полина, с пакетами в руках, бесшумно и легко сбегала по ступенькам, пока добрейшая г-жа Марме спокойно и бдительно следила за отправкой багажа, а мисс Белл одевалась у себя в комнате, Тереза в сером дорожном костюме, облокотившись на перила террасы, в последний раз смотрела на город цветов.

Она решилась уехать. Муж в каждом письме звал ее вернуться. Если, как он неотступно просил ее, она возвратится в Париж в первых числах мая, им удастся до окончания сезона дать два-три обеда и устроить несколько приемов. Общественное мнение было на стороне его партии. Течение несло ее вперед, и Гарен полагал, что салон графини Мартен может оказать благотворное влияние на будущее страны. Эти доводы мало трогали ее, но теперь она чувствовала дружеское расположение к мужу и ей хотелось поскорее оказать ему услугу. Третьего дня она получила письмо от своего отца. Г-н Монтессюи, не касаясь политических перспектив зятя и ничего не советуя дочери, давал понять, что в свете начинают говорить о таинственном пребывании графини Мартен во Флоренции, в кругу поэтов и художников, и что издали ее пребывание на вилле Колоколов принимает характер некоего сентиментального каприза. Она сама чувствовала, что в маленьком мирке Фьезоле за нею наблюдают слишком пристально. В этой новой жизни г-жа Марме стесняла ее, а князь Альбертинелли беспокоил. Свидания во флигеле на Виа Альфьери становились затруднительны и опасны. Профессор Арриги, с которым князь поддерживал знакомство, встретил ее однажды вечером на безлюдной улице, когда она шла, прильнув к Дешартру. Профессор Арриги, автор трактата о земледелии, был самый любезный из всех ученых на свете. Этот седоусый красавец с мужественными чертами лица отвернулся, а на другой день ограничился тем, что сказал Терезе: «В былые времена я издали угадывал приближение красивой женщины. Теперь я вышел из того возраста, когда на меня благосклонно глядели дамы, но небо надо мною сжалилось: оно скрывает их от меня. У меня очень плохое зрение. Я не узнаю даже самого очаровательного лица». Она поняла и сочла это за предупреждение. Теперь она стремилась скрыть свое счастье в необъятном Париже.

Вивиан, которой она объявила о скором своем отъезде, уговаривала ее остаться еще на несколько дней. Но Тереза подозревала, что ее приятельница оскорблена советом, за которым однажды ночью приходила к ней в спальню, где на драпировках сплетались лимонные деревья, что во всяком случае ей теперь не вполне приятно общество наперсницы, которая не одобрила ее выбора и которую князь изобразил как кокетку и женщину, быть может, легкомысленную. Отъезд был назначен на пятое мая.

День сиял, чистый, очаровательный, над долиною Арно. Тереза, погруженная в задумчивость, могла видеть, стоя на террасе, голубую чашу Флоренции, а над нею гигантскую розу утренней зари. Она слегка наклонилась над перилами, стараясь отыскать взглядом, у подножья цветущих склонов, тот невидимый отсюда уголок, где она познавала беспредельное блаженство. Там, вдали, темным пятнышком вырисовывался кладбищенский сад, рядом с которым и находилась Виа Альфьери. Тереза представила себя в этой комнате, бесконечно для нее дорогой, куда она больше никогда, вероятно, не войдет. Безвозвратно ушедшие часы вставали в ее памяти подернутые печалью. Она почувствовала, как глаза ее затуманиваются, ноги подкашиваются, сердце замирает; ей казалось, что жизнь ее теперь уже вне ее, что она осталась в том уголке, где черные сосны поднимают к небу свои неподвижные вершины. Она упрекала себя, что так волнуется, без всякого повода, а между тем ей бы, напротив, следовало быть спокойной и радостной. Она знала, что встретится с Жаком Дешартром в Париже. Им хотелось вернуться туда в одно и то же время, или, вернее, вместе. Если они и решили, что ему необходимо остаться дня на три — на четыре во Флоренции, то во всяком случае встреча была близка, свидание назначено, и она жила уже одной мыслью о нем. Любовь сливалась с ее плотью и текла в ее крови. И все же какая-то частица ее существа осталась во флигеле, украшенном козами и нимфами, частица, которую ей уже никогда не вернуть. И сейчас, когда жизнь улыбалась ей, для нее умирали бесконечно дорогие чувства. Она вспоминала, как Дешартр ей сказал: «Любовь развивает фетишизм. Я сорвал на террасе черные высохшие ягодки бирючины, на которую вы посмотрели». Почему же она не взяла хоть маленького камешка на память о доме, где она забывала весь мир?

Мысли ее были прерваны — это вскрикнула Полина. Шулетт, выскочив из-за кустов ракитника, обнял горничную, которая относила в коляску плащи и саквояжи. Теперь он

мчался по аллеям, радостный, косматый, а уши, торчащие точно рога, украшали его лысую голову. Он поклонился графине Мартен.

— Так, значит, мы прощаемся, сударыня?

Он оставался в Италии. Его призывала к себе некая дама; то была римская церковь. Ему хотелось повидаться с кардиналами. Одного из них, которого превозносили как старца весьма рассудительного, быть может заинтересует мысль о церкви социалистической и революционной. У Шулетта была цель — на развалинах несправедливой и жестокой цивилизации воздвигнуть распятие с Христом, но не мертвым и нагим, а полным жизни и осеняющим вселенную руками, излучающими свет. Ради этого намерения он основывал монашеский орден и газету. Про орден г-жа Мартен уже знала. Газета же будет стоять су и состоять из ритмических фраз, строиться как духовный стих. Ее можно и должно будет петь. Стих очень простой, страстный или радостный, — это в конечном счете единственная подходящая для народа речь. Проза нравится только людям с очень изысканным умом. Он бывал у анархистов на улипе св. Иакова. Вечера они проводили, распевая и слушая романсы.

И он добавил:

— Газета, которая будет сборником песен, найдет доступ к душе народа. За мной признают некоторый талант. Не знаю, справедливо ли это, но следует согласиться, что ум у меня практический.

Мисс Белл, натягивая перчатки, спускалась с террасы.

— О darling, и город, и горы, и небо хотят, чтобы вы плакали по ним. Сегодня они постарались блеснуть красотой, чтобы вы пожалели о разлуке и захотели вновь увидеть их.

Но Шулетт, которому надоедала изящная сухость тосканской природы, скучал по зеленой Умбрии и ее влажному небу. Он вспоминал Ассизи, этот город, возносящий молитвы над тучной равниной, где земля как-то мягче и как-то смиреннее.

— Есть там, — сказал он, — леса и скалы, есть поляны, над которыми открывается клочок неба в белых облаках. Я бродил там по следам доброго святого Франциска и переложил там его «Похвалу солнцу» старинными французскими стихами, простыми и наивными.

Госпожа Мартен сказала, что хочет их послушать. Мисс Белл уже слышала их, и лицо ее приняло проникновенное выражение ангела, изваянного Мино[116].

Шулетт предупредил их, что это будет произведение бесхитростное, безыскусное. Этим стихам не пристало быть красивыми. Они — просты, хотя и неправильны по размеру, но зато легко звучат. Затем медленно и монотонно он прочел свою песнь:

Я тебя восхваляю, о господь, за то, что ты властной рукой

Назначенный людям мир изукрасил дивной работой.

Как опытный книжник, ты покрыл строку за строкой

Ультрамарином здесь, там — зеленью и позолотой.

Я тебя восхваляю за то, что великому Солнцу-царю

Ты дал в удел красоту и блеск чудотворного жара,

Что ты облачил его в достойную бога зарю

И что ты придал ему совершенную форму шара.  
Я тебя восхваляю, о господь, и за нашу сестрицу Луну,  
И за то, что наш братец Вихрь поднимается к Звездам-сестрам,  
И за то, что на синий свод ты набрасываешь пелену,  
И за то, что рассветный туман влачишь ты по травам пестрым.  
О владыко, тебя восхваляю и стократно восславлю, господь,  
За могучий дубовый ствол над цветочной крошечной чашей,  
И за буйного брата Огня, согревающего нашу плоть,  
И за скромный лепет Воды, самой чистой сестрицы нашей,  
И за Землю, за то, что она, разукрасив цветами луга,  
Кормит грудью и всех матерей, над детьми поникающих с дрожью,  
И того, кто молится днесь, и того, чьих слез жемчуга  
Носят ангелы в пригоршнях ввысь, к золотому престолу божью.  
И еще за сестру мою, Жизнь, и за Смерть, вторую сестру,  
Буду славить тебя в светлый миг и склоняясь под смертною сенью,  
Потому что, смежая глаза, в этот час я усну, не умру,  
Чтоб, проснувшись, воздать хвалу лучезарной заре Воскресенью.[117]

— О господин Шулетт, — сказала мисс Белл, — эта песнь поднимается к небу, как тот отшельник на фреске Кампо Санто в Пизе[118], что восходит на гору, любезную козам. Вот что: старец отшельник идет ввысь, опираясь на посох веры, и шаг его неровен, потому что он опирается лишь на один костыль, и одна нога его двигается быстрее, чем другая. Поэтому-то ваши стихи и неровны. О! я это поняла.

Поэт принял похвалу, убежденный, что он заслужил ее, хоть и невольно.

— Вот вы верите, господин Шулетт, — заметила Тереза. — А для чего же вам вера, если не для того, чтобы слагать прекрасные стихи?

— Чтобы грешить, сударыня.

— О! мы и без того грешим.

Появилась г-жа Марме, уже совсем готовая в путь, преисполненная тихой радости при мысли, что, наконец, она вернется в свою квартирку на улице Ла-Шез, увидит свою собачку Тоби, старого своего друга г-на Лагранжа и после этрусков музея Фьезоле — своего домашнего воина, окруженного коробками конфет и глядящего в окно на сквер Бон-Марше.

Мисс Белл отвезла приятельниц на вокзал в своей коляске.

Дешартр зашел в вагон проститься с путешественницами. Расставшись с ним, Тереза почувствовала, чем он для нее стал: благодаря ему жизнь приобрела новый вкус, такой чудесный и такой живительный, такой сильный, что она ощущала его на губах. Она жила во власти какого-то очарования, мечтая вновь увидеть его; она кротко удивлялась, когда во время путешествия г-жа Марме говорила: «Мы, кажется, переезжаем границу», или: «На берегу моря цветут розы». Эту внутреннюю радость она хранила еще и тогда, когда после ночи, проведенной в Марселе в гостинице, она увидела серые оливковые деревья среди каменистых полей, потом шелковицы и далекие очертания горы Пилата, и Рону, и Лион, а потом — привычные пейзажи, деревья, поднимающие к небу свои пышные верхушки, еще недавно темно-лиловые, теперь же одетые нежной зеленью, полосатые коврики посевов на склонах холмов и ряды тополей у берегов рек. Путешествие текло для нее ровно; она наслаждалась всей полнотой прожитых часов и удивлялась глубине своих радостей. А когда поезд остановился у платформы, она словно очнулась от сна и улыбнулась, увидев в белесом вокзальном свете мужа, очень довольного ее возвращением. Обняв на прощание добрейшую г-жу Марме, она сказала, что от всего сердца благодарит ее. И в самом деле, она всех и за все готова была благодарить — совсем как св. Франциск, столь милый Шулетту.

Сидя в карете, катившейся по набережным в пыли, пронизанной лучами заходящего солнца, она без раздражения слушала мужа, который рассказывал ей о своих ораторских успехах, о намерениях своих сторонников в парламенте, о своих проектах, надеждах и о необходимости из деловых соображений дать два или три званых обеда. Она закрыла глаза, чтобы лучше мечталось. Она подумала: «Завтра я получу письмо, а через неделю увижу его». Когда карета проехала по мосту, Тереза поглядела на воду, переливавшуюся огнями, на закоптелые пролеты, на ряды платанов, на аллею Королевы, где в шахматном порядке стояли цветущие каштаны; привычное зрелище приобрело в ее глазах прелесть новизны. Ей казалось, что ее любовь расцвела весь мир новыми красками. И она спрашивала себя, узнают ли ее камни и деревья. «Неужели, — думала она, — мое молчание, мои глаза, все мое тело и небо и земля не разглашают моей тайны?» Г-н Мартен-Беллем, полагая, что она утомлена, посоветовал ей отдохнуть. Ночью, запершись у себя в спальне среди глубокого безмолвия, словно слыша, как трепещет ее душа, она написала тому, кого с ней не было, письмо, полное тех слов, что напоминают цветы в их вечной новизне: «Я люблю тебя, я жду тебя. Я счастлива. Я чувствую твою близость, на свете только мы с тобой. Из окна я вижу голубоватую звезду, она мерцает, я смотрю на нее и думаю о том, что и ты видишь ее во Флоренции. На стол я положила ложечку с красной лилией. Приезжай! Даже издали ты сжигаешь меня. Приезжай!» Так она черпала из глубины души бессмертные чувства и бессмертные образы во всей их свежести.

Целую неделю она жила внутренней жизнью, ощущая в себе нежную теплоту, оставшуюся от тех часов, что были проведены на Виа Альфьери, дыша его поцелуями и любя себя за то, что любима. Она продуманно, тщательно, со всем своим изощренным вкусом принялась заказывать себе новые туалеты. Она нравилась, она хотела нравиться самой себе. До безумия тревожась, когда на почте для нее не оказывалось ничего, и трепеща от радости, когда сквозь решетку маленького окошечка ей протягивали письмо, на котором она узнавала размашистый затейливый почерк своего друга, она упивалась воспоминаниями о нем, его желаниями и надеждами. И часы, разрываясь, теснясь, сгорая, быстро уносились прочь.

И только утро того дня, когда он должен был вернуться, показалось ей невыносимо длинным. На вокзал она приехала заблаговременно. Было объявлено, что поезд опаздывает. Это ее удручало. Будучи оптимисткой в своих планах и так же, как ее отец, силой заставляя судьбу быть своей союзницей, она в этом непредвиденном опоздании увидела чуть ли не

предательство. Серый свет, целых три четверти часа просачивавшийся сквозь стеклянную крышу, лился на нее, словно поток песчинок в огромных песочных часах, меривших для нее минуты, которые были потеряны для счастья. Она уже приходила в отчаяние, как вдруг, в красном свете солнца, уже склонившегося к закату, показался паровоз курьерского поезда и, чудовищный, но послушный, остановился у платформы, а в толпе пассажиров, вырвавшейся из вагонов, она увидела Жака, высокого и стройного, — он шел к ней. Он смотрел на нее с какой-то сумрачной и жгучей радостью, которая была ей так знакома. Он сказал:

— Наконец-то я с вами! Я боялся, что не доживу до встречи. Вы не знаете, да и я сам не знал, какая это пытка — прожить неделю вдали от вас. Я ходил в наш домик на Виа Альфьери. Там, в комнате, перед старинным пастельным рисунком я кричал от любви и от ярости...

Она обрадованно взглянула на него.

— А ты думаешь, я не звала тебя, пока была одна, не тосковала о тебе, не тянулась к тебе? Твои письма я прятала в шифоньер, где лежат мои драгоценности. Ночью я перечитывала их; это было блаженство, но и неосторожность. Твои письма — это ты, в них — слишком много твоего и все-таки слишком мало.

Они пересекли двор, по которому проезжали фиакры, нагруженные чемоданами. Тереза спросила, не взять ли экипаж.

Он не ответил. Он как будто и не слышал. Она продолжала:

— Я видела ваш дом, но войти не посмела. Я заглянула сквозь решетку и заметила в глубине двора платан, а за ним старинное окно, увитое ползучими розами. И подумала: «Вот это где!» Я никогда не испытывала такого волнения.

Он больше не слушал ее, больше не глядел на нее. Он быстро перешел вместе с нею через мостовую и спустился по узкой лестнице на пустынную улицу, тянущуюся за вокзальным двором. Там, между дровяными и угольными складами, возвышалась гостиница с рестораном в нижнем этаже; на тротуаре стояли столики. На окнах под раскрашенной вывеской виднелись белые занавески. Дешартр остановился перед узкой входной дверью и заставил Терезу войти в темный коридор.

Она спросила:

— Куда вы меня ведете? Который час? Мне надо вернуться домой к половине восьмого. Это просто безумие!

Но в комнате с красным плиточным полом, где стояла кровать орехового дерева и лежал коврик с изображением льва, они вкусили божественное забвение.

Спускаясь по лестнице, она сказала:

— Жак, друг мой, мы слишком счастливы; мы обкрадываем жизнь.

XXVI

На другой день фиакр отвез ее на улицу, густо населенную, но все-таки тихую, и грустную, и вместе с тем веселую, где в промежутках между новыми домами тянутся ограды садов, и остановился в том месте, где мостовая проходит под сводчатой аркой особняка времен Регентства, по какой-то прихоти ставшего поперек улицы, покрытого теперь пылью и

преданного забвению. То тут, то там зеленые ветки, протягиваясь между камнями, оживляют этот уголок города. Позвонив у калитки, Тереза увидела в узкой перспективе домов блок над слуховым окошком и большой золотой ключ — вывеску слесаря. Ее взгляд охватывал эти новые для нее, казалось, уже такие привычные картины. Голуби пролетали над ее головой; она слышала кудахтанье кур. Калитку отворил усатый слуга, видом своим напомилавший и солдата и крестьянина. Она очутилась во дворе, посыпанном песком, в прохладной тени платана; слева, почти в уровень с землей, виднелась каморка привратника, на ее окнах висели клетки с канарейками. Слева же подымалась, увитая зеленью, стена соседнего дома. Около нее примостилась застекленная мастерская скульптора, внутри которой виднелись гипсовые фигуры, дремавшие в пыли. Справа в невысокую ограду, окружавшую двор, вделаны были драгоценные обломки фриз, переломанные стволы легких колонн. А в глубине стоял и самый дом, совсем небольшой, с фасадом в шесть окон, полускрытым под плющом и вьющимися розами.

Филипп Дешартр, влюбленный во французскую архитектуру XV века, весьма искусно воспроизвел детали частного жилища времен Людовика XII. Дом этот, начатый в середине Второй империи, так и не был закончен. Строитель стольких замков умер, не достроив свой домик. Но хорошо, что случилось именно так. Задуманный в манере, имевшей тогда свою ценность и свои достоинства, но ставшей теперь и банальной и старомодной, мало-помалу лишившись той широкой зеленой рамы, которой служили ему окрестные сады, зажатый ныне между стенами высоких зданий, особнячок Филиппа Дешартра грубостью своих необтесанных камней, которые крошились в ожидании зодчего, умершего уже лет двадцать тому назад, наивной тяжеловесностью трех своих едва отделанных слуховых окошек, простотой кровли, которую вдова архитектора распорядилась покрыть без лишних издержек, — словом, благодаря удачному сочетанию незаконченного и случайного, исправлял недостатки своей слишком уж юной старины, изъяны своей археологической романтики и гармонировал с этим скромным кварталом, пострадавшим от притока населения.

Как бы то ни было, маленький одетый зеленью особняк хоть и являл вид разрушения, но дышал своеобразной прелестью. Тереза чутьем, неожиданно угадывала здесь и другие красоты. В этом запустении, о котором говорили и стены, обвитые плющом, и потемневшие стекла в окнах мастерской, и даже склоненный платан, облупившаяся кора которого шелухой покрывала густую траву во дворе, она чувствовала душу хозяина, беспечную, расточительную, подолгу отдающуюся скуке, знакомой человеку с сильными страстями. Несмотря на всю радость, у ней вдруг сжалось сердце, когда во всем этом она узнала то безразличие, с которым ее друг относился к окружавшим его вещам. Она видела в этом своеобразную прелесть и благородство, но вместе и некий дух отрешенности, чуждый ее собственному характеру и составлявший полную противоположность фамильной расчетливости и бережливости Монтессюи. Она сразу же решила, что, не нарушая задумчивой прелести этого дикого уголка, она внесет в него свою любовь к деятельному порядку, велит посыпать аллею песком и оживит весельем цветов то место у стены, куда украдкой проникает солнце. Она с сочувствием поглядела на статую, попавшую сюда из какого-нибудь разоренного парка, — Флору[119], распростертую на земле, всю изъеденную черным мхом; рядом лежали ее отбитые руки. Терезе захотелось, чтобы ее поскорее подняли и водрузили на цоколь с лепными гирляндами, который она заметила у антиквара в одном из дворов на улице Старой Голубятни.

Дешартр, уже час ждавший ее прихода, радостный, все еще беспокойный, весь дрожа от счастья и волнения, спустился с крыльца. В прохладном сумраке передней, где смутно угадывался строгий блеск мрамора и бронзы, она остановилась, оглушенная биением собственного сердца, — оно так и колотилось у нее в груди.

Он прижал ее к себе и долго целовал. Тереза, у которой кровь стучала в висках, слушала, как он вспоминает о жгучем блаженстве, испытанном вчера. Она представила себе атласного льва на коврик у кровати и с упоительной медлительностью вернула Жаку его поцелуй.

Он провел ее по угловатой деревянной лестнице в обширную комнату, прежде служившую кабинетом его отцу, где сам он теперь рисовал, лепил, а главное — читал; чтение он любил, как некий опиум, предаваясь мечтам над недочитанной страницей.

Чудесные гобелены XVI века, на которых среди сказочного леса можно было смутно различить даму в старинном головном уборе, а у ног ее, на траве, покрытой цветами, единорога, подымались над шкафами до самых балок потолка, выкрашенных масляной краской.

Он подвел ее к широкому низкому дивану, покрытому подушками, которые были обшиты великолепными лоскутьями испанских риз и византийских церковных одеяний; но она села в кресло.

— Вы пришли, вы пришли! Теперь хоть миру конец.

Она ответила:

— О гибели мира я думала прежде, но я ее не боялась. Господин Лагранж пообещал ее мне из любезности, и я ее ждала. Пока я вас не знала, мне было так скучно!

Она оглядела комнату, столы, уставленные вазами и статуэтками, гобелены, великолепное и беспорядочное нагромождение оружия, эмалей, мрамора, картин, старинных книг.

— У вас много красивых вещей.

— По большей части они достались мне от отца, который жил в золотое для коллекционеров время. Например, гобелены с единорогом отец нашел в тысяча восемьсот пятьдесят первом году в одной гостинице в Мен-сюр-Иевре, а полностью вся эта история изображена на гобеленах, хранящихся в Клюни.

Но ее любопытство было обмануто, и она сказала:

— Я не вижу ваших вещей, ни одной статуи, ни одного барельефа, ни восковых фигур, которые так любят в Англии, ни одной статуэтки, ни одной дощечки, ни одной медали.

— Неужели вы думаете, что мне было бы приятно жить среди моих произведений!.. Я их слишком хорошо знаю... Они мне надоели. То, в чем нет тайны, лишено прелести.

Она с притворным недовольством посмотрела на него.

— Вы мне не говорили, что прелесть для вас теряется, когда исчезает тайна.

Он обнял ее за талию.

— Ах! во всем, что живо, слишком много тайн. А ты для меня, любимая, остаешься загадкой, и ее неведомый смысл таит все блаженство жизни и все муки смерти. Не бойся быть моей. Ты всегда будешь желанной для меня, и я никогда не узнаю тебя. Разве обладаешь тем, что любишь? Поцелуи, ласки — да разве это не порыв блаженного отчаяния? Когда я держу тебя в объятиях, я все еще тебя ищу и ты никогда не бываешь моей, потому что я всегда хочу обладать тобою, хочу в тебе невозможного и беспредельного. Что ты такое — да разве я узнаю это когда-нибудь? Ведь если я и вылепил несколько жалких статуэток, я еще не скульптор. Я скорее нечто вроде поэта и философа, который в природе ищет поводов для тревог и терзаний. Чувства формы для меня недостаточно. Мои собратья надо мной смеются, потому что у меня нет их простоты. Они правы. И это животное Шулэтт тоже прав, когда требует, чтобы мы жили без мыслей и без желаний. Наш друг сапожник на площади Санта-Мария-Новелла, не знающий всего того, что сделало бы его несправедливым и несчастным, мастер в науке жизни. Я должен был бы любить тебя просто, без всей этой

метафизики страсти, которая делает меня безрассудным и злым. Хорошо лишь неведение и забвение. Иди ко мне, иди, я так измучился, думая о тебе, когда терзался вдали от тебя. Лишь в твоих объятиях я могу забыть тебя и забыться сам.

Он обнял ее и, приподняв вуалетку, стал целовать ее в губы.

Чуть испуганная, как бы смущенная взглядами всех этих необыкновенных вещей, окружавших ее в большой незнакомой комнате, она опустила до подбородка черную вуаль.

— Здесь! Да что вы!

Он ответил, что они здесь одни.

— Одни? А тот человек со страшными усами, что отворил мне калитку?

Он улыбнулся:

— Это Фюзелье, старый слуга моего отца. Он и его жена — весь мой штат. Не беспокойтесь. Они сидят у себя, да и старые ворчуны мне преданы. Госпожу Фюзелье вы увидите; она держится бесцеремонно, предупреждаю вас.

— Друг мой, почему у Фюзелье, швейцара и дворецкого, усы как у татарина?

— Дорогая, ими его наделила природа, и я их охотно ему оставляю. Мне приятно, что у него вид отставного фельдфебеля, ставшего садовником, и что я могу себя тешить иллюзией, будто он мой сосед по деревне.

Усевшись в углу дивана, он привлек ее к себе на колени и стал целовать; она отвечала на его поцелуи. Вдруг она поднялась.

— Покажите мне другие комнаты. Я любопытна. Мне хочется все видеть.

Он повел ее на верхний этаж. По стенам коридора развешаны были акварели Филиппа Дешартра. Он открыл одну из дверей и ввел ее в комнату с палисандровой мебелью.

То была комната его матери. Он сохранял ее в неприкосновенности, во власти недавнего прошлого — только оно и трогает и печалит нас по-настоящему. Комната, в которой уже девять лет никто не жил, не казалась еще обреченной на запустение. Зеркальный шкаф словно ловил взгляд старой дамы, а на ониксовых часах скучала задумчивая Сафо, уже не слыша стука маятника.

На стенах было два портрета. Один из них, работы Рикара[120], изображал Филиппа Дешартра, очень бледного, со всклокоченными волосами, со взглядом, погруженным в романтическую грезу, с выразительным и добрым ртом. На другом портрете, писанном менее порывистой рукой, представлена была дама средних лет, почти красивая, несмотря на свою резкую худобу. Это была жена Филиппа Дешартра.

— Комната покойной мамы — вроде меня, — сказал Жак, — она умеет помнить.

— Вы похожи на мать, — заметила Тереза. — У вас такие же глаза. Поль Ванс мне говорил, что она вас обожала.

— Да, — ответил он, улыбаясь, — она была хорошим человеком: умная, милая, с очаровательными странностями. Материнская любовь доходила у нее до безумия, и она не давала мне ни минуты покоя; она себя терзала и терзала меня.

Тереза рассматривала бронзовую фигуру работы Карпо[121], стоявшую на шифоньере.

Дешартр сказал:

— Узнаете императора по ушам, похожим на крылья Зефира, — они оживляют его холодное лицо. Это бронза — подарок Наполеона Третьего. Мои родители бывали в Компьене. Мой отец, когда двор находился в Фонтенебло, составлял план замка и рисовал галерею. По утрам император в сюртуке и с пенковой трубкой приходил и становился возле него, как пингвин на скале. В то время я учился в лицее Бонапарта. Рассказы об этом я слушал за столом, и они мне запомнились. Император стоял спокойный и кроткий и только изредка нарушал молчание, что-то бормоча в свои густые усы; потом он немного оживлялся, начинал излагать проекты всяких машин. Он был изобретатель и механик. Вынув из кармана карандаш, он для наглядности принимался чертить на рисунках моего отца, которого это приводило в отчаяние. Он таким образом портил ему два-три этюда в неделю... Он очень любил моего отца и все обещал ему работы и почести, которых отец так и не дождался. Император был добрый, но не имел влияния, как говаривала мама. В то время я еще был мальчишкой. С той поры у меня осталась какая-то смутная симпатия к этому человеку, у которого вовсе не было таланта, но была нежная душа, который к великим потрясениям жизни относился с мужественной простотой и кротким фанатизмом... А кроме того, он мне симпатичен еще и потому, что его победили и предали поруганию люди, стремившиеся занять его место и даже не знавшие той любви к народу, которая таилась у него в душе. Потом мы их видели у власти. Боже! до чего они омерзительны. Сенатор Луайе, например, который у вас в курительной набивал себе сигарами карманы и советовал мне делать то же самое. «На дорогу», — говорил он. Этот Луайе — гнусный человек, он жесток к несчастным, к слабым, к смиренным. А Гарен — как по-вашему, не мерзкая у него душа? Помните, первый раз, что я у вас обедал, разговаривали о Наполеоне. Волосы у вас были высоко подобраны и заколоты бриллиантовой иглой, они так мило и причудливо вились над затылком. Поль Ванс говорил с тонким остроумием, а Гарен не понимал. Вы спросили мое мнение.

— Для того, чтобы дать вам блеснуть. Я уже и тогда гордилась вами.

— О! я даже и одной фразы не мог бы придумать в обществе таких серьезных людей. Все же мне хотелось сказать, что Наполеон Третий мне нравится больше, чем Первый, может быть потому, что он как-то спокойнее, но, пожалуй, эта мысль произвела бы дурное впечатление. Впрочем, я не так бездарен, чтобы заниматься политикой.

Он ходил по комнате, с родственной нежностью смотрел на вещи. Он выдвинул один из ящичков бюро:

— Вот смотрите — мамины очки. Сколько раз она искала эти очки! Теперь я покажу вам мою комнату. Если там плохо прибрано, извините госпожу Фюзелье, я ее приучил уважать мой беспорядок.

Занавеси на окнах были спущены. Он не поднял их. Через час она сама раздвинула красные шелковые шторы; лучи света ослепили ее и разлились в ее распущенных волосах. Она стала искать трюмо и нашла тусклое венецианское зеркало в широкой раме черного дерева. Став на цыпочки, чтобы посмотреться в него, она спросила:

— Неужели же это я — вот та мрачная, далекая тень? Другие тоже смотрели в это зеркало, как я! Вы страшный чародей: женщины, которых вы покоряете, становятся призраками!

Внезапно ее охватила тревога:

— Боже мой! Что подумают обо мне супруги Фюзелье?

Но тут же она заметила на стене медальон — вылепленный Дешартром профиль девчонки, забавной и порочной.

— Это еще что такое?

— Это Клара, молоденькая продавщица газет с улицы Демур. Она каждое утро приносила мне «Фигаро». У нее были ямочки на щеках, словно созданные для поцелуев. Как-то раз я ей сказал: «Я сделаю твой портрет». Она пришла летним утром в серьгах и кольцах, купленных на гулянье в Нельи. И больше не являлась. Не знаю, что с ней приключилось. Она была слишком непосредственна, чтобы сделаться настоящей кокеткой. Хотите, я ее уберу?

— Нет, она очень подходит к этому уголку. Я не ревную к Кларе.

Ей пора было возвращаться домой, но она не могла решиться уйти. Она обвила руками шею своего друга:

— О! я тебя люблю! И сегодня ты был такой радостный и веселый. Веселость тебе так идет! Она у тебя тонкая и легкая. Мне хотелось бы всегда приносить тебе веселье. Мне нужна радость, почти так же, как любовь, а кто мне даст радость, если не ты?

## XXVII

Все время после своего возвращения в Париж, целых полтора месяца, Тереза жила в жгучем счастливом полусне, и этот бездумный сон наяву все длился. С Жаком она встречалась каждый день в его особняке под сенью платана, а когда они вечером отрывались, наконец, друг от друга, она уносила в своей душе бесценные воспоминания. Ее блаженная усталость и воскресающие желания составляли ту нить, которая соединяла в одно целое часы, отданные любви. У них были одинаковые вкусы: оба они подчинялись одним и тем же фантазиям. Одни и те же прихоти увлекали их. Для них были отрадой прогулки по сомнительным и красивым предместьям Парижа, по улицам, где акации бросают тень на кабачки, выкрашенные в темно-красный цвет, по каменистым дорогам, где у подножья стен растет крапива, по рошицам и полям, над которыми расстилается нежное небо с полосами фабричного дыма. Она была счастлива, что вот он — рядом с нею в этих местах, которых она не узнавала и где она тешила себя иллюзией, будто здесь можно заблудиться.

В тот день им вздумалось сесть на пароход, который она так часто видела из своих окон. Она не боялась, что их встретит кто-нибудь из знакомых. Опасность была не велика, а с тех пор, как Тереза полюбила, она утратила всякую осторожность. Берега реки мало-помалу становились веселее, освобождаясь от горячей пыли предместий; они проплыли мимо островков, где купы деревьев бросают тень на трактирчики и бесчисленные лодки привязаны к прибрежным ивам. Вышли они в Нижнем Медоне. Она сказала, что ей жарко и хочется пить, и он повел ее через боковую дверь в кабачок с комнатами для приезжих. То было строение со множеством деревянных галерей, благодаря безлюдью казавшееся более обширным; оно дремало среди сельской тишины в ожидании воскресного дня, который наполнит его женским смехом, криками лодочников, запахом жаркого и ухи, приготовленной на вине.

По лестнице, напоминавшей стремянку и скрипевшей под ногами, они поднялись во второй этаж, и служанка принесла им в номер вина и бисквитов. Шерстяной полог закрывал кровать красного дерева. В углу над камином висело овальное зеркало в рамке с цветами. В открытое окно видна была Сена, зеленые скаты берегов, далекие холмы, окутанные дымкой, и солнце, уже склоняющееся к верхушкам тополей. Над рекой кружились в пляске стаи мошкары. И небо, и земля, и вода полны были трепетным покоем летнего вечера.

Тереза долго смотрела на реку. Прошел пароход, винтом разрезая воду, и струи, расходившиеся за его кормой, достигали берега, — казалось, что дом, склонившись над

рекой, сам качается, как судно.

— Я люблю воду, — сказала Тереза, обернувшись к своему другу. — Боже, как я счастлива!

Губы их встретились.

Для них, погруженных в зачарованную бездну любви, время отмечалось лишь легким всплеском волн, которые каждые десять минут, когда проходил пароход, разбивались о берег под приотворенным окном.

Она приподнялась на подушках; не подымая с пола нетерпеливо сброшенной одежды, она увидела в зеркале свою цветущую наготу и в ответ на ласковые, восхищенные речи своего друга она сказала:

— А ведь правда, что я создана для любви.

И, сознавая собственное величие, она созерцала отражение своего тела, освещенного красными лучами, которые оживляли то бледно-розовые, то светло-пурпурные тона щек, губ и груди.

— Я люблю себя за то, что ты меня любишь.

Да, конечно, он любил ее и сам не мог себе объяснить, почему он любит ее со страстным благоговением, с каким-то священным неистовством. Он любил ее не за красоту — пусть столь редкостную, бесценную. Ей присуща была красота линий, а линия следует за движением и вечно ускользает: она исчезает и вновь выступает, вызывая в художнике радость и взрывы отчаяния. Прекрасная линия — это молния, дивно ослепляющая взор. Мы любуемся ею и поражаемся. То, что заставляет желать и любить, — сила нежная и страшная, более могучая, чем красота. Среди тысячи женщин мы встречаем одну, которую уже не в силах покинуть, если обладали ею, и которую вечно желаем, желаем все более страстно. Цветок ее тела — вот что порождает этот неизлечимый любовный недуг. И есть еще нечто иное, чего нельзя выразить словами, — душа ее тела. Тереза была такой женщиной, которую нельзя ни покинуть, ни обмануть.

Она радостно воскликнула:

— Так меня нельзя покинуть, нельзя?

И спросила, почему он не вылепит ее бюста, если находит ее красивой.

— Почему? Потому что я посредственный скульптор. И я это сознаю, что не свидетельствует о посредственном уме. Но если тебе непременно хочется считать меня великим скульптором, я назову тебе другие причины. Чтобы создать образ, в котором была бы жизнь, надо относиться к натуре, как к простому материалу, из которого добываешь красоту, который сжимаешь, который давишь, чтобы извлечь его сущность. А в тебе — в твоих чертах, в твоём теле, во всем твоём существе нет, ничего, что бы не было для меня драгоценно. Если бы я стал лепить твой бюст, я рабски старался бы передать мелочи, — ведь они для меня все, потому что они — частицы тебя. Я упорствовал бы с бессмысленным пристрастием, и мне не удалось бы создать целое.

Она смотрела на него, немного удивленная.

Он продолжал:

— По памяти — это еще другое дело. У меня есть карандашный набросок, который я всегда ношу с собой.

Она во что бы то ни стало хотела видеть набросок, и Дешартр показал его. То был эскиз на альбомном листке, очень простой и очень смелый. Она не узнала себя, нашла в нем что-то жесткое, что-то чуждое ей.

— Так вот какой я рисуюсь тебе, какой живу в твоей душе!

Он закрыл альбом.

— Нет, это просто заметка для памяти, краткая запись, вот и все. Но она, по-моему, правильная. Возможно, что ты видишь себя не совсем такой, какой я вижу тебя. Всякое человеческое существо по-разному представляется каждому, кто на него смотрит.

И он шутливо добавил:

— В этом смысле можно сказать, что одна и та же женщина никогда не принадлежала двум разным мужчинам. Это мысль Поля Ванса.

— По-моему, это верно, — сказала Тереза.

И спросила:

— А который час?

Было семь.

Она заторопилась с отъездом. С каждым днем она все позднее возвращалась домой. Муж это заметил. Он сказал: «Мы на все обеды приезжаем последними; просто несчастье». Но, задерживаясь каждый день в Бурбонском дворце[122], где обсуждался бюджет, и будучи поглощен работой подкомиссии, которая избрала его докладчиком, он и сам никогда не являлся вовремя, и дела государственной важности прикрывали опоздания Терезы.

Она улыбнулась, вспомнив тот вечер, когда в половине девятого приехала к г-же Гарен. Она боялась, что это сочтут предосудительным. Но это был как раз день запроса в парламент. Муж ее только к девяти часам приехал из палаты вместе с Гареном. И тому и другому пришлось обедать в пиджаках. Зато состав кабинета был спасен.

Потом она задумалась:

— Милый, ведь когда в парламенте начнутся каникулы, у меня больше не будет повода оставаться в Париже. Папа и то никак не поймет, что за самоотверженность меня удерживает здесь. Через неделю мне придется ехать к нему в Динар. Что со мной будет без тебя?

Она сложила руки и с бесконечной нежностью и печалью взглянула на него. Но он, помрачнев, сказал:

— Это я, Тереза, это я должен с тревогой задавать себе вопрос, что со мной будет без тебя. Когда ты оставляешь меня одного, меня осаждают мучительные мысли; эти черные мысли кольцом окружают меня.

Она спросила, что это за мысли.

Он ответил:

— Любимая моя, я уже говорил тебе: я должен забыть тебя, забываясь в твоих объятиях. Когда ты уедешь, воспоминание о тебе будет меня терзать. Приходится расплачиваться за счастье, которое ты мне даришь.

Синее море, усеянное розовыми рифами, лениво кидало полосы серебристой бахромы на берег, покрытый мелким песком и раскинувшийся полукругом, по обеим сторонам которого высилось два золотых утеса. Великолепие этого дня освещало лучом эллинского солнца могилу Шатобриана[123]. В комнате с узорными обоями, с балкона которой открывался вид на вершины миртовых и тамариндовых деревьев и дальше — на пляж, на океан, на острова и мысы, Тереза читала письма, за которыми ездила утром на почту в Сен-Мало и которые не могла распечатать на пароме, переполненном пассажирами. Сразу же после завтрака она заперлась у себя в комнате и здесь, разложив письма на коленях, с жадностью читала их, торопливо вкушая свое тайное счастье. В два часа ей предстояла прогулка в наемном экипаже вместе с отцом, мужем, княгиней Сенявиной, г-жой Бертье д'Эзелль, женою депутата, и г-жой Ремон, женою академика. Сегодня она получила два письма. То, которое она прочла первым, дышало тонким и радостным ароматом любви. Жак никогда еще не казался ей таким веселым, таким простым, таким счастливым, таким очаровательным.

Он, по его словам, с тех пор как полюбил ее, чувствовал такую легкость и исполнен был такого ликования, что ноги его едва касались земли. Он боялся только одного — как бы все это не оказалось сном и как бы ему не пришлось пробудиться чужим для нее человеком. Он, наверное, видит сон. И какой сон! Флигель на Виа Альфьери, кабачок в Медоне, поцелуи и эти божественные плечи, и это тело с улыбающимися ямочками, гибкое, свежее и благоуханное, как ручей среди цветов. Если же это не сон наяву, то значит — хмельная песнь. К счастью, он уже совсем лишился рассудка. Он все время видит ее, хотя она далеко. «Да, я вижу рядом с собой тебя, вижу твои ресницы над серыми глазами, более чудесными, чем вся лазурь небес и все цветы, твои губы, которые мягкостью и вкусом подобны волшебному плоду, твои щеки, на которых от смеха образуются две пленительных ямочки, я вижу тебя, прекрасную и желанную, но ускользающую и неуловимую, и когда я раскрываю объятия, тебя уже нет, и я вижу тебя вдаль, совсем вдаль, на длинном золотистом пляже, в розовом платье, под зонтиком, маленькую, как веточка цветущего вереска! О! совсем крошечную, такую, какой я видел тебя однажды с колокольни на Соборной площади во Флоренции. И я думаю о том же, о чем думал в тот день: «Она могла бы спрятаться от меня за былинкой, а между тем она для меня — неисчерпаемый источник радости и страдания».

Он жаловался только на мучения разлуки. Но жалобы сменялись улыбкой счастливой любви. Он в шутку угрожал Терезе, что невзначай явится к ней в Динар. «Не бойся. Меня не узнают. Я наряжусь продавцом гипсовых статуэток. Да это и не будет обманом. С лицом и бородой, покрытыми белой пылью, одетый в серую блузу и тиковые панталоны, я появлюсь у ворот виллы Монтессюи и позвоню. Ты узнаешь меня, Тереза, по лотку, нагруженному статуэтками, который я буду держать на голове. Это будут одни амурчики. Будет там амур верный, амур ревнивый, амур нежный, амур страстный. Амуров страстных будет много. И я буду кричать на грубом и звонком наречии пизанских или флорентинских ремесленников: «Tutti gli Amori per la signora Teresina!»[124]

Последняя страница письма была проникнута благоговейной нежностью. Она дышала каким-то набожным восторгом, напоминавшим Терезе те молитвенники, что она читала в детстве. «Я вас люблю и люблю все, что связано с вами: землю, по которой вы так легко ступаете и которую украшаете, свет, который позволяет мне видеть вас, воздух, которым вы дышите. Я люблю склонившийся платан на моем дворе, потому что вы видели его. Я нынче ночью ходил гулять на ту улицу, где встретил вас однажды вечером. Я сорвал ветку самшита, на который вы смотрели. В этом городе, где вас нет, я вижу только вас».

Под конец он писал ей, что сейчас пойдет завтракать. Г-жа Фюзелье уехала накануне в Невер, свой родной город, и дома перестали готовить; он пойдет в ресторанчик на

Королевской улице, к которому привык. И там, среди незнакомой толпы, он будет наедине с нею.

Тереза, убаюканная нежностью этих невидимых ласк, закрыла глаза и откинула голову на спинку кресла. Услышав стук экипажа, поданного к подъезду, она распечатала другое письмо. Как только она увидела изменившийся почерк, стремительные и неровные строки, говорившие о печали и раздражении, она встревожилась.

С самого же начала, хотя еще и не ясного, уже давала о себе знать внезапная тревога, черные подозрения: «Тереза, Тереза, зачем же вы отдавались, если отдавали не всю себя? Что пользы в вашем обмане, если теперь я знаю то, чего не хотел знать?»

Она остановилась; в глазах у нее потемнело. Она подумала: «Мы только что были так счастливы. Боже мой! Что случилось? А я-то радовалась его радости, которая уже умчалась. Лучше было бы и не писать, если письма выражают исчезнувшие чувства, забытые мысли».

Она продолжала читать. И видя, что его терзает ревность, упала духом: «Если я не доказала ему, что люблю его всей силой души, всем своим существом, как же я смогу убедить его?»

И она стала нетерпеливо искать причину этого внезапного безумия. Жак рассказывал о ней сам:

Завтракая в ресторанчике на Королевской улице, он встретил старого товарища, который проездом находился в Париже по пути с курорта на морские купания. Они разговорились; случилось так, что этот человек, много бывавший в свете, упомянул о графине Мартен, с которой был знаком. И тотчас вслед за тем, прерывая свой рассказ, Жак воскликнул:

«Тереза, Тереза, к чему вы лгали мне, если все-таки я должен был узнать то, чего не знал только я один? Но в этой ошибке я виноват больше, чем вы. Письмо, брошенное вами в почтовый ящик у Ор-Сан-Микеле, ваши встречи на Флорентинском вокзале достаточно могли бы мне сказать, если бы я не старался так упрямо, наперекор очевидности оставаться в заблуждении. Я не хотел, нет, я не хотел знать, что вы принадлежали другому, когда отдавались мне, сводя меня с ума дерзкой грацией, истинной страстью. Я не знал и не хотел знать. Я вас больше ни о чем не спрашивал — из страха, что вам не удастся солгать; я был осторожен, а случилось так, что какой-то болван, внезапно, грубо, за столом ресторана, открыл мне глаза, заставил меня узнать. О! Теперь, когда я знаю, теперь, когда я не могу сомневаться, — мне кажется, что сомнение было бы блаженством. Он назвал мне имя, имя, которое я слышал еще во Фьезоле, из уст мисс Белл, и прибавил: «Это же известная история».

«Так вы его любили, вы любите его и сейчас! И теперь, когда я, один в своей комнате, кусаю подушку, на которую ты клала голову, он, быть может, подле тебя. Он несомненно с тобой. Он каждый год ездит в Динар на скачки. Мне так говорили. Я вижу его. Я все вижу. Если бы ты знала, какие образы осаждают меня, ты бы сказала: «Он сумасшедший!» — и пожалела бы меня. О! как бы я хотел забыть тебя, забыть обо всем! Но я не в силах. Ты ведь знаешь, что забыть тебя я могу только в твоих объятьях. Я все время вижу тебя с ним. Это пытка. Я считал себя несчастным в ту ночь, — помнишь, — на берегу Арно. Но в то время я даже не знал, что значит страдать. Теперь я это знаю».

Дочитывая письмо, Тереза подумала: «Слово, брошенное на ветер, привело его в такое состояние. Одно слово повергло его в отчаяние и безумие». Она пыталась угадать, кто этот подлец, так отзывавшийся о ней. Она заподозрила двух-трех молодых людей, которых ей когда-то представил Ле Мениль с предупреждением, что их следует остерегаться. И в приступе той холодной ярости, которую она унаследовала от отца, она решила: «Я это узнаю». Но что делать сейчас? Она не могла броситься к своему другу, полному отчаяния, безумному, больному, обнять его, отдаться ему и телом и душой, чтобы он почувствовал, что

она принадлежит ему безраздельно, и чтобы он поверил в нее. Написать? Но насколько же лучше было бы поехать к нему, без слов упасть к нему на грудь и потом сказать: «Посмей теперь думать, что я принадлежу не тебе одному!» Но она могла только написать ему. Едва она успела начать письмо, как услышала голоса и смех в саду. Княгиня Сенявина уже взбиралась на подножку экипажа.

Тереза спустилась вниз и вышла на крыльцо спокойная, улыбающаяся; широкополая соломенная шляпа, увенчанная маками, бросала на ее лицо прозрачную тень, в которой блестели серые глаза.

— Боже, какая она хорошенькая! — воскликнула княгиня. — И какая жалость, что никогда ее не видно! Утром она переправляется на пароме и потом бродит по улицам Сен-Мало; днем запирается у себя в комнате. Она нас избегает.

Экипаж огибал широкий округлый берег, над которым по склону холма в несколько рядов возвышались виллы и сады. А налево видны были стены и колокольня Сен-Мало, выступавшие из синевы моря. Потом экипаж свернул на дорогу, окаймленную живыми изгородями, вдоль которых проходили жительницы Динара, — стройные женщины, в больших батистовых чепцах с колышащимися оборками.

— Старинные костюмы, — сказала г-жа Ремон, сидевшая рядом с Монтессюи, — выводятся, к сожалению. В этом виноваты железные дороги.

— Это верно, — заметил Монтессюи, — не будь железных дорог, крестьяне и до сих пор носили бы свои старинные живописные костюмы. Но мы бы их не видели.

— Не все ль равно? — возразила г-жа Ремон, — мы бы их воображали.

— Неужели вам иногда случается видеть что-нибудь интересное? — спросила княгиня Сенявина. — Мне — никогда.

Госпожа Ремон, позаимствовавшая из книг своего мужа некоторую философичность, объявила, что вещи ничего не значат, а мысли — все.

Не глядя на г-жу Бертье д'Эзелль, сидевшую направо от нее на второй скамейке, графиня Мартен тихо сказала:

— О да! люди только и видят, что свои мысли; они доверяются только своим мыслям. Они слепы и глухи. Остановить их нельзя.

— Но, дорогая моя, — сказал граф Мартен, сидевший впереди нее, рядом с княгиней, — без руководящих мыслей мы бы шли только наугад. А кстати, Монтессюи, читали вы речь Луайе при открытии памятника Каде де Гассикуру?[125]. Там замечательное начало. Луайе не лишен политического чутья.

Экипаж, оставив позади луга, окаймленные ивами, поднялся в гору; путь лежал теперь через обширное лесистое плоскогорье. Долго ехали вдоль ограды какого-то парка. Дорога, на которую ложилась прохладная тень, уходила вдаль.

— Это Геррик? — спросила княгиня Сенявина.

И вдруг, меж двух каменных столбов со львами наверху, показались закрытые наглухо ворота, увенчанные железной короной. Сквозь решетку в глубине длинной липовой аллеи можно было различить серое здание замка.

— Да, — ответил Монтессюи, — это Геррик.

И, обращаясь к Терезе, сказал:

— Ты ведь была хорошо знакома с маркизом де Ре... В шестьдесят пять лет он еще был полон сил, был молод. Он был законодателем мод, с его вкусом считались, и женщины любили маркиза. Молодые люди брали за образец покррой его сюртука, его монокль, его жесты, его очаровательную дерзость, его забавные чудачества. И вдруг он бросил свет, закрыл свой дом, распродал лошадей, перестал показываться. Ты помнишь, Тереза, его внезапное исчезновение? Незадолго перед тем ты вышла замуж. Он бывал у тебя довольно часто. В один прекрасный день стало известно, что он покинул Париж. Среди зимы он приехал сюда, в Геррик. Стали искать причину этого неожиданного бегства, думали, что скрыться его заставило какое-нибудь горестное событие, унижение, испытанное при первой неудаче, и страх, что люди увидят, как он стареет. Старость — вот чего он боялся всего больше. Как бы то ни было, за те шесть лет, что он живет в уединении, он ни разу не вышел из своего замка и парка. В Геррике он принимает двух-трех стариков, товарищей своей молодости. Эти ворота отворяются только для них. С тех пор как он здесь уединился, его никто ни разу не видел; больше никогда и не увидят. Скрывается он с таким же упорством, с каким раньше показывался в свете. Он не пожелал, чтобы люди смотрели на его закат. Он заживо себя похоронил. Это, по-моему, заслуживает уважения.

И Тереза, вспомнив любезного старика, который стремился покорить ее, чтобы со славой завершить свою романическую жизнь, обернулась и посмотрела на Геррик, подымавший над серыми верхушками дубов свои четыре башни, похожие на перечницы.

Когда вернулись с прогулки, она, сославшись на мигрень, сказала, что не будет обедать. Она заперлась у себя в спальне и достала из шкатулки для драгоценностей горестное письмо Дешартра. Она перечитала последнюю страницу.

«Мысль, что ты принадлежишь другому, жжет и терзает меня. И я не хочу, чтобы это был он».

То была навязчивая мысль. Он три раза повторял на одной и той же странице: «Я не хочу, чтобы это был он».

Ее тоже преследовала одна только мысль — не потерять его. Чтобы не потерять его, она сказала бы, она сделала бы решительно все. Она села за стол и в приливе страстной нежности и тоски написала письмо, в котором повторялось, словно стенанье: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я никого никогда не любила, кроме тебя. Ты один, один, — слышишь? — один в моей душе, во всем моем существе. Не слушай какого-то подлеца. Слушай меня. Я никогда никого не любила, клянусь тебе, никого, кроме тебя».

В то время как она писала, море своими могучими вздохами вторило вздохам, вырывавшимся из ее груди. Она хотела, она думала быть правдивой в своих словах, и правдивость того, что она писала, была правдой ее любви. Она услышала на лестнице тяжелые уверенные шаги своего отца. Она спрятала письмо и отворила дверь. Монтессюи ласково спросил, не лучше ли ей.

— Я пришел, — сказал он ей, — пожелать тебе спокойной ночи и кое о чем спросить тебя. Возможно, что я завтра на скачках увижу Ле Мениля. Он приезжает на них каждый год. Ведь он — человек постоянный. А если я его встречу, как, по-твоему, милочка, можно мне будет пригласить его сюда на несколько дней? Твой муж думает, что его приезд развлечет тебя и будет тебе приятен. Мы могли бы отвести ему голубую комнату.

— Как найдешь нужным. Но я предпочла бы, чтобы голубую комнату ты оставил для Поля Ванса, которому очень хочется приехать. Вероятно, Шулетт приедет без всякого предупреждения. Это его обыкновение. В одно прекрасное утро он, как нищий, позвонит у ворот. И знаешь, мой муж ошибается, если думает, что Ле Мениль мне приятен. А кроме того,

на той неделе мнз надо будет дня на два-три поехать в Париж.

## XXIX

Сутки спустя после своего письма Тереза приехала из Динара и очутилась у домика в квартале Терны. Для нее не представило трудности найти предлог, чтобы съездить в Париж. Приехала она вместе с мужем, желавшим повидать в Эне избирателей, которых социалисты пытались привлечь на свою сторону. Она застала Жака утром в мастерской, где он работал над большой статуей Флоренции, оплакивающей на берегу Арно свою былую славу.

Натурщица, рослая черноволосая девушка, застыв в нужной позе, сидела на очень высоком табурете. Резкий свет, падавший от окон, подчеркивал прекрасные формы обнаженного тела, без всякого снисхождения выделял неровности кожи и контрасты тонов, не сливавшихся друг с другом, открывал грубую правду природы. Дешартр бросил на Терезу взгляд, полный радости и страдания, положил резец на край станка, накинул на статую мокрую тряпку и, окунув в горшок с водой руки, запачканные глиной, сказал натурщице:

— На сегодня, милая, довольно.

Она спустилась на пол, подобрала свою одежду — какие-то темные шерстяные лохмотья, грязное белье и ушла за ширму одеваться.

Между тем Жак вместе с Терезой вышел из мастерской.

Они прошли мимо платана, который чешуйками своей коры усеивал весь двор, посыпанный песком.

Она сказала:

— Вы больше не верите, правда?

Он провел ее в свою спальню.

Письмо, присланное из Динара, уже немного смягчило остроту первого впечатления. Оно пришло как раз в ту минуту, когда, устав страдать, он ощутил потребность в успокоении и в нежности. Несколько строк, написанные ее рукой, умиротворили его душу, истерзанную воображением, восприимчивую не столько к вещам, сколько к символам вещей. Но в сердце у него остался надлом.

В комнате, где все говорило в ее защиту, где мебель, портьеры, ковры рассказывали про их любовь, она шептала ему ласковые слова.

— Вы могли поверить... Неужели вы не знаете, кто вы?... Это же безумие... Разве женщина потерпит другого после того, как узнала вас?

— Да, но прежде?

— Прежде я ждала вас.

— И он не был на скачках в Динаре?

Вряд ли он там был, и — что уже не подлежало сомнению — она-то ведь там не была. Лошади и любители лошадей ей наскучили.

— Жак, никого не опасайтесь, потому что вы ни с кем не сравнимы.

Он, напротив, знал, как мало он значит и как мало мы значим в мире, где люди подобны зернам и полове, которые то смешиваются, то разделяются в веялке по воле какого-нибудь невежды-крестьянина или некоего божества. Впрочем, образ веялки настоящей или символической — слишком четко воплощал в себе меру и порядок, поэтому его нельзя было в точности применять к жизни. Ему скорее представлялось, что люди — зерна в кофейной мельнице. Он так живо почувствовал это третьего дня, когда посмотрел на г-жу Фюзелье, молловшую кофе.

Тереза сказала:

— Почему у вас нет честолюбия?

Она мало что прибавила к этим словам, но говорили ее глаза, движения ее рук, дыхание, от которого поднималась и опускалась грудь.

Удивленный и счастливый тем, что видит ее, слышит ее, он позволил себя убедить.

Она его спросила, кто же сказал про нее эту гнусность.

У него не было причин скрывать это от нее. Сказал ему обо всем Даниэль Саломон.

Она не удивилась. Даниэль Саломон, о котором говорили, что он не в состоянии стать любовником ни одной женщины на свете, интересовался сердечными делами и тайнами каждой. Она догадывалась, почему он так говорил.

— Жак, не сердитесь на то, что я вам скажу. Вы не слишком тонко скрываете свои чувства. Он подозревал, что вы меня любите, и хотел удостовериться. Я уверена, что теперь у него нет больше никаких сомнений насчет нас с вами, но мне это безразлично. Если бы вы лучше умели скрывать, я даже была бы менее спокойна. Я бы думала, что вы недостаточно любите меня.

Боясь встревожить его, она быстро перешла к другим темам:

— Я еще не сказала вам, понравилась ли мне ваша новая работа. Это Флоренция на берегу Арно. Так, значит, это мы с вами?

— Да, в эту вещь я вложил волнения своей любви. Она печальна, а я хотел бы, чтоб она была прекрасна. Видите ли, Тереза, красота мучительна. Вот почему с тех пор, как моя жизнь стала прекрасной, сам я страдаю.

Он стал шарить в кармане своей фланелевой куртки и вынул портсигар. Но она торопила его одеваться. Она собиралась везти его завтракать к себе. Они не расстанутся весь день. Это будет чудесно.

Она с детской радостью посмотрела на него. Потом ей взгрустнулось при мысли, что в конце недели ей придется вернуться в Динар, затем ехать в Жуэнвиль и что все это время они проведут в разлуке.

Она попросит отца, чтобы он пригласил его на несколько дней в Жуэнвиль. Но они там не будут одни, как в Париже, и не будут так свободны.

— Это верно, — сказал он, — в Париже, таком необъятно огромном, нам хорошо.

И добавил:

— Даже когда тебя здесь нет, я не могу уехать из Парижа. Мне было бы противно жить в краях, которые тебя не знают. Небо, горы, деревья, фонтаны, статуи, которые не могли бы рассказывать мне о тебе, были бы немые для меня.

Пока он одевался, она перелистывала книгу, которую нашла на столе. То была «Тысяча и одна ночь». На романтических гравюрах, рассеянных среди текста, изображены были визири, султанши, черные евнухи, базары, караваны.

Она спросила:

— Вас занимает «Тысяча и одна ночь»?

— Очень, — ответил он, завязывая галстук. — Я начинаю верить, когда мне вздумается, в этих арабских принцев, чьи ноги превратились в черный мрамор, в гаремных жен, блуждающих ночью по кладбищам. Сказки навевают легкие сны, которые помогают мне забыться. Вчера мне было так грустно, когда я ложился спать. И вот в постели я прочел историю о трех кривых дервишах.

Она с горечью заметила:

— Ты хочешь забыться! А я ни за что на свете не согласилась бы утратить даже воспоминание о горе, которое ты причинил бы мне.

Они вместе вышли на улицу. Она собиралась пройтись еще немного пешком, взять экипаж и приехать домой на несколько минут раньше, чем он.

— Мой муж ждет вас к завтраку.

Дорогой они говорили о мелочах, которым их любовь придавала значительность и обаятельность. Они уславливались о том, как провести остальную часть дня, — им хотелось упиться радостью, насладиться утонченными удовольствиями. Она советовалась с ним о своих туалетах. Расстаться с ним она не решалась, счастливая тем, что идет рядом с ним по улицам, залитым солнцем и весельем полудня. Выйдя на Тернскую улицу, они увидели целый ряд лавок, соперничавших друг с другом в великолепном изобилии снеди. Тут, у дверей харчевни, гирляндами висела дичь, а там, во фруктовой лавке, виднелись ящики с абрикосами и персиками, корзины винограда, целые горы груш. Телега с плодами и цветами стояла по обе стороны мостовой. Под стеклянным навесом ресторана завтракали какие-то мужчины и женщины. Тереза узнала Шулетта, который сидел один за маленьким столиком, прислонившись к кадке с лавровым деревом, и закуривал трубку.

Завидев ее, он великолепным жестом бросил на стол монету в сто су, встал, поклонился. Он был очень серьезен; его длинный сюртук придавал ему вид благопристойный и суровый.

Он сказал, что ему очень хотелось посетить г-жу Мартен в Динаре. Но ему пришлось задержаться в Вандее у маркизы де Рие. Тем временем он все же выпустил новым изданием «Уединенный сад», дополнив его еще «Вертоградом святой Клары». Он потряс души людей, которые казались бесчувственными, он иссекал воду из утесов.

— Таким образом, — сказал он, — я как бы явился неким Моисеем[126].

Порывшись в кармане, он вытащил из бумажника истрепанное и засаленное письмо.

— Вот что мне пишет госпожа Ремон, жена академика. Я оглашаю ее слова, ибо они — к ее чести.

И, развернув тонкие листки, прочитал:

— «Я познакомила мужа с вашей книгой; он воскликнул: «Это чистейший спиритуализм! В этом уединенном саду, с той его стороны, где растут лилии и белые розы, есть, вероятно, маленькая калитка, за которой открывается дорога в Академию».

Шулетт просмаковал эти слова, пропитавшиеся в его рту также и запахом водки, и бережно вложил письмо в бумажник.

Госпожа Мартен поздравила поэта с тем, что его кандидатуру выставляет г-жа Ремон.

— Вы, господин Шулетт, были бы и моим кандидатом, если бы я занималась выборами в Академию. Но разве вас прельщает Академия?

Он несколько минут хранил торжественное молчание, потом проговорил:

— Сударыня, я спешу отсюда прямо на совещание с некими светилами политического и религиозного мира, живущими в Нельи. Маркиза де Рие уговаривает меня выставить в ее округе мою кандидатуру на пост сенатора — он стал вакантным после смерти одного старца, который, говорят, в течение всей эфемерной своей жизни был генералом. По этому поводу я спрошу совета у священников, у женщин, у детей — о вечная премудрость! — на бульваре Бино. Избирательный округ, где, надеюсь, за меня подадут голоса, находится в местности холмистой и лесистой, поля там окаймлены ивами с обрубленными верхушками. И нередко в дупле такой старой ивы можно найти скелет какого-нибудь шуана, до сих пор сжимающего костями пальцев ружье и четки. Я изложу свои убеждения и распорядюсь расклеить воззвания на коре дубов; и люди прочтут: «Мир священникам! Да приидет день, когда епископы, взяв в руки деревянный посох, уподобятся самому бедному викарию самого бедного прихода! Иисуса Христа распяли епископы. Они звались Анна и Кайафа[127]. Эти имена они сохраняют и доселе — перед лицом сына божьего. Итак, его пригвоздили к кресту, а я был тем добрым разбойником, которого повесили рядом с ним». Он тростью указал по направлению к Нельи.

— Дешартр, друг мой, не думаете ли вы, что там направо — бульвар Бино в облаках пыли?

— Прощайте, господин Шулетт, — сказала Тереза. — Не забудьте меня, когда станете сенатором.

— Сударыня, я не забываю о вас ни в одной из моих молитв, как утренних, так и вечерних. И я говорю богу: «Если ты во гневе своем даровал ей богатство и красоту, то будь к ней милостив и поступи с нею, как велит твое великое сострадание».

И, расставшись с ними на оживленной улице, он удалился, волоча ногу, строгий и прямой.

XXX

Закутавшись в розовую суконную накидку, Тереза вместе с Дешартром спустилась по ступеням подъезда. Он утром приехал в Жуэнвиль. Она пригласила его в числе немногих близких друзей до начала псовой охоты, на которую, как она опасалась, мог, по примеру прошлых лет, приехать и Ле Мениль, хотя она ничего не знала о нем. Легкий сентябрьский ветерок играл завитками ее волос, и склонявшееся к закату солнце зажигало золотые искры в ее глубоких серых глазах. Позади над тремя пролетами аркады нижнего этажа замка, в промежутках между окнами фасада, подымались на высоких постаментах бюсты римских императоров. Главный корпус был сжат двумя высокими флигелями, которые были крыты шифером и казались еще выше благодаря бесчисленному множеству ионических колонн. По

плану этого здания можно было узнать искусство зодчего Лево, который в 1650 году построил замок Жуэнвиль на Уазе для богача Марейля, креатуры Мазарини и счастливого сообщника главного интенданта Фуке.

Тереза и Жак смотрели на раскинувшиеся перед ними клумбы — цветы образовали огромные орнаменты, начертанные Ленотром, — на зеленый луг, на бассейн; дальше был виден грот с пятью сводами, сложенными из грубого камня, и гигантские гермы под сенью высоких деревьев, которые осень начала уже расцветивать золотом и багрянцем.

— В этой зеленой геометрии, — сказал Дешартр, — есть, конечно, своя красота.

— Да, — отозвалась Тереза. — Но я думаю о платане, склонившемся среди дворика, где между камнями растет трава. Ведь мы посадим там цветы, не правда ли?

Прислонившись к каменному льву с почти человеческим ликом, который вместе с другими львами стоял на страже над засыпанным рвом у подножья лестницы, она обернулась к замку и, указав на одно из овальных окошек над самым карнизом, проговорила:

— Вот там — ваша комната, я заходила в нее вчера вечером. В том же этаже, но с другой стороны, в самом конце, папин кабинет. Простой деревянный стол, шкаф красного дерева, на камине графин с водой — таким был его кабинет в молодые годы. Оттуда и пошло все наше богатство.

По усыпанным песком дорожкам цветника они дошли до изгороди из подстриженного самшита, окаймлявшей парк с южной стороны. Они миновали оранжерею, над монументальной дверью которой распластался лотарингский крест Марейлей, и углубились в липовую аллею, тянущуюся вдоль зеленого ковра лужайки. Под деревьями, наполовину уже оголенными, статуи нимф вздрагивали от холода во влажной тени, местами пронизанной неяркими лучами. Голубь, сидевший на плече у одной из белых фигур, вспорхнул. Время от времени ветер своим дуновением отрывал засохший лист, и он падал — точно раковина красного золота, с дождевой каплей в глубине. Тереза показала на нимфу и заметила:

— Она смотрела на меня, когда я еще ребенком желала себе смерти. Я мучилась: мне и хотелось чего-то и было страшно. Я вас ждала. Но вы были так далеко.

Липовая аллея прерывалась у округлой площадки: там был большой пруд, посреди которого возвышалась группа тритонов и nereид, дующих в раковины, и где в часы, когда бил фонтан, струйки воды сливались в диадему, украшенную пеной.

— Это корона Жуэнвиля, — сказала Тереза. Она показала на дорожку, которая начиналась у пруда и шла к востоку, теряясь где-то в поле.

— Вот моя дорожка. Сколько раз я гуляла по ней и грустила! Мне было грустно, когда я не знала вас.

Они снова пошли по липовой аллее: она тянулась и по другую сторону площадки и тоже была украшена нимфами. Они прошли по ней до самых гротов. То были пять больших ниш, расположившихся полукругом в глубине парка, выложенных раковинами, с балюстрадой наверху и разделенных гермами. Крайняя возвышалась в чудовищной своей наготе над остальными и, потупившись, не сводила с них диких и кротких каменных глаз.

— Когда мой отец купил Жуэнвиль, — говорила Тереза, — гроты представляли собой развалины, поросшие травой, и кишели змеями. Там было множество кроличьих нор. Столбы и аркады он восстановил по эстампам Перреля[128], которые хранятся в Национальной библиотеке. Он сам был себе архитектором.

Им хотелось тени и тайны, и они пошли в сторону буковой аллеи, огибающей гроты. Но оттуда до них донесся шум шагов, и они остановились. И сквозь листву они увидели Монтессюи, обнимавшего за талию княгиню Сенявину. Монтессюи и княгиня преспокойно шли к замку. Жак и Тереза, прижавшись к герме, подождали, пока они пройдут. Потом она сказала Дешартру, молча глядевшему на нее:

— Теперь я понимаю, почему этой зимой княгиня Сенявина спрашивала у папы советов насчет покупки лошадей.

И все же Тереза восхищалась своим отцом, сумевшим завоевать эту красивую женщину, которая считалась неприступной и слыла богатой, несмотря на денежные затруднения — следствие ее невероятной безалаберности.

Тереза спросила Жака, считает ли он княгиню красавицей. Он признавал, что в ней есть какое-то чисто животное величие и физическая привлекательность, слишком пряная, однако, на его вкус; ему представлялось, что соски у нее обведены широкой коричневой каймой, живот окрашен в тона охры, шафрана и серы, а ноги — волосатые. Главное же, он находил ее кожу несколько грубой. Тереза согласилась, что все это — вполне вероятно, но все же при вечернем освещении княгиня Сенявина затмевает других женщин.

Она повела Жака по мшистым ступеням, что поднимались позади гротов к Снопу Уазы — пучку свинцовых веток, украшавшему широкий бассейн из розового мрамора. Там стеной вставали огромные деревья, замыкавшие собою парк, и начинался лес. Они вошли под высокие своды деревьев. Они молчали среди жалобных, чуть слышных шорохов листвы. За великолепной стеной вязов раскинулась чаща, здесь и там виднелись группы осин и берез, бледные стволы которых зажигал последний луч солнца.

Он сжимал ее в своих объятиях и целовал ее глаза. Ночь спускалась с небес, первые звезды мигали между ветвями. В росистой траве, как флейты, пели жабы. Дальше они не пошли.

Они уже в темноте вернулись к замку, и на губах у нее оставался вкус поцелуев и мяты, а в глазах — образ ее друга, прислонившегося к стволу березы и напомнившего ей фавна, когда она, в его объятиях, закинув руки за голову, замирала от страсти. В липовой аллее она улыбнулась нимфам, видевшим слезы ее детских лет. Созвездие Лебеда распростерло в небе свой крест, а в бассейне Короны отражался тонкий серп луны. Из травы неслись любовные призывы насекомых. За последним поворотом самшитовой изгороди они увидели черную, расчлененную на три части громаду замка, а за широкими окнами нижнего этажа угадывались движущиеся в красном свете фигуры. Звонили в колокол.

Тереза воскликнула:

— Я едва успею переодеться к обеду.

И она умчалась, будто наяда или ореада, оставив своего друга перед каменными львами.

В гостиной после обеда Бертъе д'Эзелль читал газету, а княгиня Сенявина, сидя за ломберным столом, гадала на картах. Тереза, с полузакрытыми глазами, склонилась над книгой и, чувствуя, как горят ее ноги, расцарапанные колючим кустарником, через который они пробирались там, за Снопом Уазы, вспоминала с легкой дрожью, как Дешартр обнял ее среди деревьев, точно фавн, играющий с нимфой.

Княгиня спросила ее, занимательно ли то, что она сейчас читает.

— Не знаю. Я читала и думала. Поль Ванс прав: «В книгах мы находим только самих себя».

Из бильярдной сквозь спущенные портьеры доносились отрывистые возгласы играющих и

сухой стук шаров.

— Вышло! — воскликнула, бросая карты, княгиня.

Она поставила большую сумму на лошадь, которая как раз сегодня участвовала в скачках в Шантильи.

Тереза сказала, что получила письмо из Фьезоле: мисс Белл сообщает ей о своей помолвке с князем Эусебио Альбертинелли делла Спина.

Княгиня засмеялась:

— Вот человек, который окажет ей замечательную услугу.

— Какую? — спросила Тереза.

— Внушит ей отвращение ко всем мужчинам.

В гостиную вошел Монтессюи, настроенный очень весело. Он выиграл партию на бильярде.

Сел он рядом с Бертье д'Эзеллем и взял газету, лежавшую на диване.

— Министр финансов сообщает, что после открытия палаты внесет свой проект закона о сберегательных кассах.

Речь шла о том, чтобы разрешить сберегательным кассам давать деньги в долг общинам, а это отняло бы у руководимых Монтессюи учреждений лучшую их клиентуру.

— Бертье, — спросил финансист, — вы решительно не согласны с этим проектом?

Бертье кивнул головой.

Монтессюи встал и положил руку на плечо депутата:

— Дорогой мой Бертье, мне думается, что правительство падет еще в начале сессии.

Он подошел к дочери:

— Я получил странное письмо от Ле Мениля.

Тереза встала и затворила дверь, отделявшую гостиную от бильярдной.

Она словно опасалась сквозняков.

— Странное письмо, — продолжал Монтессюи. — Ле Мениль не приедет в Жуэнвиль на охоту. Он купил яхту в восемьдесят тонн — «Розбад». Плавает по Средиземному морю и хочет жить только на воде. А жаль. Я не знаю другого такого охотника.

В эту минуту в гостиную вошли Дешартр с графом Мартеном, который, обыграв его в бильярд, почувствовал к нему расположение и теперь объяснял, какую опасность представляет налог, основанный на размере домашних расходов и количестве прислуги.

XXXI

Бледное осеннее солнце, прорезывая мглу над Сенной, освещало собак Удри над дверями

столовой.

По правую руку г-жи Мартен сидел депутат Гарен, бывший министр юстиции, бывший председатель совета, по левую руку — сенатор Луайе. Справа от графа Мартен-Беллема — Бертье д'Эзелль. Это был строго деловой завтрак в узком кругу приглашенных. Как и предвидел Монтессюи, правительство пало — случилось это четыре дня тому назад. Вызванный сегодня утром в Елисейский дворец, Гарен принял на себя задачу — составить кабинет. Здесь за завтраком он подготавливал состав правительства и вечером должен был представить его на рассмотрение президента. А пока они перебирали разные имена, Тереза воскрешала в памяти пережитое.

В Париж она вернулась вместе с графом Мартеном к открытию палаты и с тех пор вела жизнь, полную очарования.

Жак любил ее; и в его любви чудесно сочетались страсть и нежность, мудрая опытность и какая-то удивительная наивность. Он был нервен, легко возбудим, беспокоен; но неровности настроения заставляли еще больше ценить его веселость. Пленительная веселость, вспыхивавшая внезапно, как пламя, ласкала их любовь, ничем не оскорбляя ее. И Терезу приводило в восхищение остроумие ее друга. Она и не подозревала раньше, что он с таким непогрешимым вкусом, с такой непосредственностью может шутить и веселиться, что столько непринужденности в его забавных выходках. В первое время он с каким-то сумрачным однообразием проявлял свои чувства. И уже это покорило ее. Но с тех пор она успела открыть в нем душу веселую, богатую, многостороннюю, какое-то удивительное обаяние, умение давать столько радости, столько наслаждения ее душе, всему ее существу.

— Легко сказать — однородное правительство, — воскликнул Гарен. — А как-никак надо принимать в расчет точки зрения различных фракций палаты.

Он беспокоился. Кругом ему чудились западни, и их было ровно столько, сколько он сам готовил для других. Даже сотрудники оказывались его врагами.

Граф Мартен желал, чтобы новое правительство отвечало требованиям нового духа[129].

— В ваш список входят лица, существенно разнящиеся друг от друга и происхождением и взглядами, — сказал он. — Между тем самый, пожалуй, значительный факт в политической истории последних лет — это возможность, я сказал бы даже — необходимость создать единство воззрений в правительстве республики. Это, мой дорогой Гарен, как раз те мысли, которые вы сами высказывали с редким красноречием.

Господин Бертье д'Эзелль молчал.

Сенатор Луайе катал хлебные шарики. Ему, завсегдаю ресторанов, мысли приходили в голову, когда он мял хлеб или строгал пробки. Он поднял свое багровое лицо, обросшее неопрятной бородой. И, глядя на Гарена узенькими глазками, в которых загорались красные искорки, сказал:

— Я говорил, но мне не захотели поверить. Уничтожение монархической правой явилось для вождей республиканской партии непоправимым несчастьем. Все было направлено против нее. Истинная поддержка правительства — это оппозиция. Империя правила наперекор орлеанистам и нам; правительство шестнадцатого мая действовало наперекор республиканцам[130]. Мы были счастливее и правили наперекор правой. Правая — какая это была превосходная оппозиция, угрожающая, наивная, бессильная, обширная, честная, непопулярная! Надо было сохранить ее. А не сумели. Да и кроме того, скажем прямо, все изнашивается. Однако править всегда приходится наперекор кому-нибудь. Теперь остались одни только социалисты — они могут дать нам ту поддержку, которую целых пятнадцать лет правая оказывала нам[131] с таким постоянным великодушием. Но они слишком слабы. Надо

было бы их усилить, дать им вырасти, сделать из них политическую партию. В настоящее время это — первая задача для министра внутренних дел.

Гарен, который не был циником, ничего не ответил.

— Гарен, вы еще не знаете, — спросил граф Мартен, — что вы возьмете на себя вместе с председательством: юстицию или внутренние дела?

Гарен ответил, что его решение будет зависеть от выбора N., участие которого в кабинете было необходимо и который еще колебался между двумя портфелями. Он, Гарен, готов пожертвовать личными интересами ради высших соображений.

Сенатор Луайе поморщился. Он мечтал о портфеле министра юстиции. Он уже давно к этому стремился. Во времена империи он, тогда еще преподаватель законовещения, с успехом давал уроки за столиками кофеен. Он владел даром крючкотворства. Начав свою политическую карьеру статьями, которые он писал так, чтобы навлечь на себя преследования, стать жертвой судебного процесса и подвергнуться нескольким неделям тюремного заключения, он с тех пор смотрел на прессу, как на оружие оппозиции, которое всякое умелое правительство обязано сломить. С 4 сентября 1870 года[132] он мечтал сделаться министром юстиции, чтобы все могли увидеть, как он, человек, издавна принадлежавший к богеме, узник Пелажи времен Баденге[133], преподаватель законовещения, который когда-то объяснял свод законов, ужиная кислой капустой, сумеет быть высшим начальником суда.

Глупцы дюжинами обгоняли его. Он состарился в сенате среди скудных почестей, лишен был всякого лоска, жил с женщиной, с которой познакомился в пивной, был беден, ленив, разочарован, и только его якобинский дух да искреннее презрение к народу, пережившие его честолюбивые помыслы, еще делали из него государственного деятеля. Теперь, войдя в кабинет Гарена, он рассчитывал получить портфель министра юстиции. И его покровитель, который не давал ему этого места, становился несносным соперником. Он усмехнулся в бороду, стараясь вылепить из хлебной мякоти собачку.

Господин Бертье д'Эзелль, очень спокойный, очень серьезный, очень мрачный, поглаживал свои красивые седые бакенбарды.

— Не думаете ли вы, господин Гарен, что следовало бы дать место в кабинете людям, с самого начала державшимся той политики, к которой теперь стремимся мы?

— Их она погубила, — нетерпеливо возразил Гарен. — Политический деятель не должен опережать событий. Не прав тот, кто прав слишком заблаговременно. С мыслителями дела не поведешь. А впрочем, будем откровенны: если вы хотите министерство левого центра[134], так и скажите — я уйду. Но я вас предупреждаю, что ни парламент, ни страна не будут с вами.

— Несомненно, — заметил граф Мартен, — что надо обеспечить себе большинство.

— Мой список и даст нам это большинство, — сказал Гарен. — Прежнее правительство имело против нас поддержку в меньшинстве, да еще в тех голосах, которые мы у него отвоевали. Господа, взываю к вашей самоотверженности.

И деятельное распределение портфелей снова началось. Граф Мартен получил сперва министерство общественных работ, от которого отказался, сославшись на свою некомпетентность, потом иностранные дела, которые принял без возражения.

Зато г-н Бертье д'Эзелль, которому Гарен предлагал торговлю и земледелие, еще воздерживался.

Луайе достались колонии. Он, казалось, был очень занят собачкой из хлебного мякиша — ему хотелось заставить ее держаться на скатерти. Все же он своими узенькими, окруженными морщинистой кожей глазками посматривал на графиню Мартен и находил ее привлекательной. Он смутно предвкушал удовольствие встречать ее и в дальнейшем, стать к ней чуть ближе.

Он предоставил Гарену заниматься делом, а сам стал разговаривать со своей красивой соседкой, стараясь угадать ее вкусы и привычки, спрашивая, любит ли она театр, бывает ли с мужем по вечерам в кофейне. И Тереза уже находила его более интересным, чем остальных, несмотря на его неопрятность, его незнание света, невероятный цинизм.

Гарен поднялся. Ему еще надо было повидать N., N. N. и N. N. N., прежде чем нести список президенту республики. Граф Мартен предложил свой экипаж, но у Гарена был собственный.

— Вам не кажется, — спросил граф Мартен, — что президент, пожалуй, будет возражать против некоторых имен?

— Президент, — ответил Гарен, — поступит так, как ему подскажут требования момента.

Он уже вышел из комнаты, как вдруг хлопнул себя по лбу и тотчас вернулся.

— Мы забыли про военного министра.

— Вы легко его найдете, если поищите среди генералов, — сказал граф Мартен.

— О! — воскликнул Гарен, — вы думаете, что выбрать военного министра — легкое дело. Сразу видно, что вы не были, как я, в составе трех кабинетов и не председательствовали в совете. Когда я был министром и председателем, самые большие осложнения случались из-за военного министра. Генералы все одинаковы. Вы ведь знаете того, которому я предложил войти в состав кабинета[135]. Когда мы его пригласили, он ничего не смыслил в наших делах. Он знал только, что есть две палаты. Пришлось объяснить ему все подробности парламентского механизма, сообщить, что существует комиссия по делам армии, финансовая комиссия, разные подкомиссии, докладчики, обсуждение бюджета. Он попросил записать для него все эти сведения на бумажке... Его незнание людей и дел пугало нас... Через две недели он уже до тонкостей знал свое ремесло, уже был лично знаком со всеми сенаторами и всеми депутатами и вместе с ними интриговал против нас. Если бы не помощь президента Гриви, который не доверял военным, он бы нас опрокинул. А это был самый обыкновенный генерал, такой же, как все они! О! не воображайте, что портфель военного министра можно отдать наспех, не подумав...

И Гарен еще вздрагивал, вспоминая своего бывшего коллегу по Сен-Жерменскому бульвару [136]. Он удалился.

Тереза встала из-за стола. Сенатор Луайе предложил ей руку тем изящно округлым жестом, которому он сорок лет тому назад научился на балах в Бюлье[137]. Политических деятелей она оставила в гостиной. Она спешила встретиться с Дешартром.

Рыжеватая мгла застилала Сену, каменные набережные и золотистые платаны. Тереза, выйдя из дому, наслаждалась живительной свежестью воздуха, великолепием умирающего дня. С момента возвращения в Париж она в своем счастье каждое утро радовалась сменам погоды. Ей казалось, что для нее ветер колеблет оголенные деревья, для нее серая сетка дождя затягивает улицы, а солнце влачит в озябшем небе свою остывшую громаду; все это — для нее, для того, чтоб она, входя в домик в Тернах, могла сказать: «Сегодня ветрено», или: «Идет дождь», или: «Погода приятная», сливая безбрежность жизни с тесным миром своей любви. И все дни были для нее прекрасны, потому что все они приводили ее в объятия друга.

Идя в этот день, как и во все прочие дни, к домику в Тернах, она размышляла о своем нежданном, таком полном счастье, в котором она теперь была, наконец, уверена. Она шла в последних лучах солнца, уже тронутого зимой, и говорила себе:

«Он любит меня. Мне кажется, что он любит меня по-настоящему. Любить для него легче и естественнее, чем для других мужчин. Их жизнь заполняют идеи, которые выше их, вера, привычки, интересы. Они верят в бога, или в свой долг, или в самих себя. Он же верит только в меня. Я — его бог, его долг, его жизнь». Потом подумала: «Правда и то, что ему никого не нужно, даже меня. Его мысль — великолепный мир, в котором он так легко мог бы жить один. Но я-то — я не могу без него жить. Что бы случилось со мною, если бы я потеряла его?»

Она успокаивала себя, думая о том страстном влечении, которое он чувствовал к ней, которое стало для него чарующе привычным... Она вспомнила, что как-то раз сказала ему: «Ты любишь меня только чувственной любовью. Я не жалею, это может быть единственная настоящая любовь». А он ей ответил: «Это самая большая и самая сильная любовь на свете. У нее — своя мера и свое оружие. Она полна смысла и образов. Она — любовь страстная и таинственная. Она привязывается к телу и к душе, живущей в нем. Все остальное — лишь заблуждение и ложь». Тереза в своей радости была почти спокойна. Подозрения, тревоги рассеялись, как грозовые тучи летом. Самая дурная пора их любви была та, когда они жили в разлуке. Если любишь, никогда не надо расставаться.

На углу бульвара Марсо и улицы Галилея она не столько узнала, сколько угадала забытый образ, тень, скользнувшую рядом с нею. Она думала, она надеялась, что ошиблась. Тот, кто ей почудился сейчас, больше не существовал, да он и не существовал никогда. То был призрак, который она видела в прошлом, во мраке некоей полужизни, как бы в преддверии новых дней. И она шла, чувствуя после этой встречи, как смутная холодная тоска сжимает ее сердце.

Проходя по бульвару Марсо, она увидела газетчиков, которые неслись ей навстречу, протягивая номера вечернего выпуска, где крупными буквами объявлялось о новом правительстве.

Она миновала площадь Звезды; и чем нетерпеливее жаждала она встречи, тем быстрее шла. Она уже видела Жака, ждущего ее внизу лестницы среди нагих мраморных и бронзовых статуй; он возьмет ее в свои объятия и понесет ее, истомленную, трепещущую от поцелуев, в комнату, полную тени и блаженства, где сладость жизни заставит ее забыть самую жизнь.

Но вот на безлюдном бульваре Мак-Магона тень, которая мелькнула перед ней на углу улицы Галилея, приблизилась, приобрела отчетливость, и Терезе сразу стало тягостно и скучно.

Она узнала Робера Ле Мениля, который шел за ней следом от набережной Бильи и настиг в самом спокойном и самом удобном месте.

В его облике, в его манере держаться проступала та ясность души, которая когда-то нравилась Терезе. Его лицо, всегда жесткое, а теперь еще и обветренное, потемневшее от загара, немного осунувшееся и очень спокойное, говорило о глубоком скрытом страдании.

— Мне надо с вами поговорить.

Она замедлила шаг. Он пошел рядом с ней.

— Я старался забыть вас. После того, что случилось, это было вполне понятно, не правда ли? Для этого я сделал все. Конечно, забыть вас было бы лучше всего. Но я не мог. Тогда я купил яхту. И был полгода в плавании. Вы, может быть, слышали об этом?

Она кивнула в знак того, что слышала.

Он продолжал:

— «Розбад», хорошенькая яхта водоизмещением в восемьдесят тонн. У меня было шесть человек команды. Я вместе с ними управлял судном. Это было для меня развлечением.

Он замолчал. Она шла медленно, огорченная, но еще больше раздосадованная. Ей казалось нелепым, бесконечно мучительным — слушать чуждые ей слова.

Он продолжал:

— Мне стыдно было бы сказать вам, что я выстрадал на этой яхте.

Она почувствовала, что он говорит правду, и отвернулась.

— О! я вас извиняю. Я много думал в одиночестве. Я дни и ночи проводил, лежа на диване в рубке, и без конца перебирал все одни и те же мысли. За эти полгода я передумал больше, чем за всю свою жизнь. Не смейтесь. Ничто так не расширяет умственный кругозор, как страдание. Я понял, что потерял вас по своей вине. Надо было уметь удержать вас. И лежа ничком на диване, пока «Розбад» неслась по морю, я думал: «Я не сумел. О! если бы можно было начать сызнава». Я столько думал и страдал, что понял наконец, — понял, что недостаточно вникал в ваши вкусы и ваши взгляды. Вы женщина необыкновенная. Об этом я не думал, потому что не за это любил вас. Сам того не подозревая, я вас раздражал, шокировал.

Она покачала головой. Но он настаивал.

— Да! да! Я часто вас шокировал. Я мало считался с вашей чуткостью. Между нами бывали недоразумения. И все оттого, что у нас разные характеры. Да и потом я не умел вас занять. Я не доставлял вам тех развлечений, которые вам нужны; не понимал, что может доставить удовольствие такой умной женщине, как вы.

Он был так прямодушен и так искренен в своих сожалениях и в своем горе, что вызвал в ней что-то похожее на симпатию. Она мягко ответила ему:

— Друг мой, я не могу пожаловаться на вас.

— Все, что я вам говорю, — правда. Я это понял, когда был один, в открытом море, на своей яхте. Я провел на ней такие мучительные часы, каких не пожелаю даже человеку, причинившему мне всех больше зла. Сколько раз мне хотелось броситься в воду. Я этого не сделал. Почему — из-за религиозных убеждений, из любви к родным или потому, что у меня не хватило мужества? Не знаю. А быть может, вы издали привязывали меня к жизни. Меня влекло к вам, — не даром я здесь. Я два дня подстерегаю вас. Мне не хотелось появляться у вас в доме. Я не застал бы вас там одну, не мог бы поговорить с вами. И к тому же вам поневоле пришлось бы меня принять. Я решил, что лучше поговорить с вами на улице. Эта мысль пришла мне тоже на яхте. Я сказал себе: «На улице она выслушает меня, если захочет, как четыре года тому назад, в жуэнвильском парке, помните, под статуями около Короны».

И, тяжело вздохнув, он продолжал:

— Да, как в Жуэнвиле, раз все надо начинать сызнава. Уже два дня я подстерегаю вас. Вчера шел дождь: вы поехали в экипаже. Я мог бы поехать за вами, узнать, куда вы отправились. Мне очень этого хотелось. Я этого не сделал. Я не хочу делать то, что не понравилось бы вам.

Она протянула ему руку.

— Благодарю вас. Я ведь знала, что не пожалею о том доверии, которое питала к вам.

Встревоженная, нетерпеливая, раздраженная, боясь того, что он скажет, она попыталась прервать разговор и ускользнуть.

— Прощайте! Перед вами еще вся жизнь. Вы ведь счастливый. Знайте это и больше не мучайтесь из-за того, что не стоит терзаний.

Но его взгляд остановил ее. Его лицо приняло то резкое и решительное выражение, которое было ей знакомо.

— Я сказал вам, что мне надо поговорить с вами. Выслушайте меня, подождите минуту.

Она думала о Жаке, который уже ждал ее.

Редкие прохожие оглядывали ее и продолжали свой путь. Она остановилась под черными ветвями иудина дерева и стала ждать — с жалостью и страхом в душе.

Он сказал ей:

— Вот что: я прощаю вас и готов все забыть. Вернитесь ко мне. Обещаю никогда ни слова не говорить о том, что было.

Она вздрогнула и невольным движением, с такой непосредственностью выказала и удивление и печаль, что он умолк.

Потом, после недолгого раздумья, проговорил:

— То, что я вам предлагаю, необычно, я это знаю. Но я все обдумал, все принял в расчет. Только это и возможно. Подумайте, Тереза, и не отвечайте мне сразу.

— Было бы дурно обманывать вас. Я не могу, я не хочу делать то, о чем вы говорите, и вы знаете почему.

Мимо медленно проезжал фиакр. Она знаком велела кучеру остановиться. Он удержал ее на мгновение.

— Я предвидел, что вы мне это скажете. И потому-то я вам говорю: не отвечайте мне сразу.

Сев в экипаж, она сразу перестала смотреть на Робера. Этот миг был для него мучителен: он помнил то время, когда в минуту расставания ее чудесные серые глаза все еще продолжали с благодарностью глядеть на него из-под полуопущенных усталых век. Он сдержал рыдание и сдавленным голосом пробормотал:

— Послушайте, я не могу жить без вас, я вас люблю. Теперь-то я вас и люблю. Прежде я этого не знал.

Кучеру она бросила наудачу адрес какой-то модистки, а Ле Мениль пошел прочь легкой и быстрой, на этот раз чуть неровной походкой.

От встречи у нее осталось тревожное чувство и какой-то неприятный осадок. Уж раз суждено было встретиться с ним, она предпочла бы видеть его таким же грубым, каким он был во Флоренции.

На углу улицы она быстро крикнула кучеру:

— Улица Демур в Тернах.

Это было в пятницу, в опере. Занавес только что опустился, скрыв лабораторию Фауста. В глубине волнующегося партера зрители наводили бинокли и осматривали красный с золотом зал — необъятное пространство, залитое светом. В темных углублениях лож виднелись женские головки, обнаженные плечи, сверкавшие драгоценностями. Амфитеатр нависал над партером длинной гирляндой из цветов, бриллиантов, причесок, человеческих тел, газа и шелка. В ложах у авансены можно было увидеть жену австрийского посла и герцогиню Гледвин, в амфитеатре — Бертю д'Изиньи и Джен Тюль, которая вчера стала знаменита благодаря самоубийству ее любовника; в ложах — г-жу Берар дела Малль, с опущенными глазами — длинные ресницы бросали тень на ее нежные щеки, — великолепную княгиню Сенявину — прикрываясь веером, она зевала, как пантера, — г-жу де Морлен, сидевшую между двумя молодыми дамами, в которых она воспитывала изящество ума; г-жу Мейан, с ее неоспоримой тридцатилетней славой всепокоряющей красавицы; чопорную г-жу Бертье д'Эзелль с серо-стальными волосами, усеянными бриллиантами. Ее красное лицо лишь подчеркивало величавую строгость позы. Она привлекала внимание. Утром стало известно, что после того, как провалился план Гарена, г-н Бертье д'Эзелль принял на себя задачу — составить правительство. Это уже почти было сделано. Газеты печатали список, в котором на долю Мартен-Беллема приходились финансы. Но бинокли напрасно поворачивались к ложе графини Мартен; ложа была пуста.

Нескончаемый гул голосов наполнял театр. В третьем ряду партера генерал Ларивьер, стоя у своего кресла, разговаривал с генералом де ла Бришем.

— Скоро я сделаю то же, что и ты, старый товарищ, — поеду в Турень, буду жить на лоне природы.

Он переживал период меланхолии, близость конца наводила его на мысль о небытии. Он заискивал перед Гареном, а Гарен, считая его слишком хитрым, предпочел сделать военным министром не его, а какого-то сумасбродного близорукого артиллерийского генерала. Ларивьер мог по крайней мере наслаждаться неудачей Гарена, покинутого, обманутого своими друзьями — Бертье д'Эзеллем и Мартен-Беллемом. Он смеялся над ним всеми морщинками, окружавшими его маленькие глазки. Одни только морщины и смеялись на его лице. Это как раз было видно в профиль. Устав от долгой жизни, полной притворства, он вдруг позволил себе радостную роскошь — откровенно высказать свою мысль:

— Вот видишь ли, дорогой мой Ла Бриш, осточертели они нам со своей постоянной армией, которая обходится дорого, а никуда не годна. Хороши одни только малые армии. Таково было мнение Наполеона, а он-то знал в этом толк.

— Верно, совершенно верно, — вздохнул генерал де Ла Бриш умиленно, со слезами на глазах.

Монтессюи, направляясь к своему креслу, прошел мимо них; Ларивьер протянул ему руку.

— Говорят, это вы, Монтессюи, провалили Гарена. Поздравляю.

Монтессюи отрицал, что пользуется каким бы то ни было политическим влиянием. Не был он ни сенатор, ни депутат, ни даже генеральный советник на Узе. Лорнируя зал, он проговорил:

— Смотрите-ка, Ларивьер, там в бенуаре, направо, прехорошенькая брюнетка с гладкой

прической.

И он сел на свое место, спокойно вкушая прелесть достигнутой власти.

А между тем в фойе, в коридорах, в зале из уст в уста, среди вялой равнодушной толпы повторялись имена новых министров: председатель совета и министр внутренних дел — Бертье д'Эзелль, юстиции и вероисповеданий — Луайе, финансов — Мартен-Беллем. Все кандидатуры были известны, кроме министров торговли, военного и морского: имена их еще не были указаны.

Занавес поднялся, и стал виден кабачок Бахуса. Исполнялся уже второй хор студентов, когда в ложе появилась графиня Мартен с высокой прической, в белом платье, рукава которого напоминали крылья; в складках корсажа слева на груди сверкала большая рубиновая лилия.

Рядом с нею села мисс Белл в платье Queen Ann[138] зеленого бархата. После помолвки с князем Эусебио Альбертинелли делла Спина она приехала в Париж заказывать приданое.

Под шум и грохот кермессы мисс Белл говорила:

— Darling, во Флоренции у вас остался друг: он, как очарованный, свято хранит воспоминание о вас. Это профессор Арриги. Для вас он приберег самую прекрасную похвалу: он говорит что вы создание музыкальное. Но как мог бы не вспомнить о вас, darling, профессор Арриги, если вас не забыл даже раkitник в саду? Его отцветшие ветки грустят о вас. О! они тоскуют о вас.

— Скажите им, — ответила Тереза, — что я увезла чудесное воспоминание о Фьезоле и хочу сохранить его на всю жизнь.

В глубине ложи г-н Мартен-Беллем вполголоса излагал свои взгляды Жозефу Шпрингеру и Дювике. Он говорил: «Подпись Франции — первая в мире». И еще: «Погашать долги надо излишками, а не налогами». Он склонен был к осторожности в финансовых делах.

А мисс Белл говорила:

— О darling, я скажу раkitнику во Фьезоле, растущему на склоне холма, что вы тоскуете и скоро приедете его навестить. Да, вот о чем я хотела вас спросить: встречаетесь ли вы в Париже с господином Дешартром? Мне бы очень хотелось увидеть его. Он мне нравится — у него изящная душа. О darling, душа господина Дешартра полна изящества и изысканности.

Тереза ответила, что г-н Дешартр, вероятно, находится в театре и не преминет зайти поздороваться с мисс Белл.

Занавес опустился, скрыв пестрый вихрь вальса. Зрители уже толпились в коридоре: в мгновение ока маленькую аванложу наполнили финансисты, художники, депутаты. Окружив г-на Мартен-Беллема, они бормотали поздравления, жестаами приветствовали его через головы других и толкались, чтобы пожать ему руку. Жозеф Шмоль, слепой и глухой, кашляя и охая, проложил себе дорогу сквозь презренную толпу и добрался до г-жи Мартен. Он взял ее руку и, обдав своим дыханием, покрыв звонкими поцелуями.

— Говорят, ваш муж назначен министром. Это правда?

Она слышала об этом, но не думала, что все уже решено.

Впрочем, муж ее здесь. Можно спросить его самого. Он все понимал в буквальном смысле слова и сказал:

— Ах, вот как! Ваш муж еще не министр? Когда он будет назначен, я попрошу вас уделить мне несколько минут для разговора. Дело исключительно важное.

Он умолк, устремляя из-за золотых очков взгляда слепца и мечтателя: несмотря на грубость и определенность его натуры, в нем чувствовалось и нечто мистическое. Он внезапно спросил:

— Вы ездили в этом году в Италию, сударыня?

И, не дав ей времени ответить, продолжал:

— Знаю, знаю. Вы ездили в Рим. Смотрели на арку гнусного Тита[139], на это отвратительное сооружение из мрамора, где семисвечник изображен среди добычи, доставшейся от иудеев. Ну, так я вам, сударыня, скажу, что к стыду всего мира этот памятник продолжает еще стоять, да притом в городе Риме, где папы существовали только благодаря искусству евреев — ростовщиков и менял. Евреи принесли в Италию искусство Греции и Востока. Возрождение, сударыня, дело рук Израиля. Это — непризнаваемая и все же бесспорная истина.

И он вышел, проталкиваясь сквозь толпу посетителей, провожаемый треском цилиндров, которые давил по дороге.

Между тем княгиня Сенявина, сидя у себя в ложе, у самого барьера, лорнировала приятельницу с тем особым любопытством, которое порой возбуждала в ней женская красота. Она кивнула Полю Вансу, находившемуся подле нее:

— Не правда ли, госпожа Мартен необычайно хороша в этом году?

В фойе, переливавшем светом и золотом, генерал де Ла Бриш спрашивал Ларивьера:

— Вы видели моего племянника?

— Вашего племянника? Ле Мениля?

— Да, Робера. Он только что был здесь, в театре. Ла Бриш на минуту задумался. Потом проговорил:

— Этим летом он приезжал в Семанвиль. Он показался мне каким-то странным, был погружен в свои мысли. Симпатичный малый, притом на редкость прямодушный и умный. Но ему необходимо занятие, цель в жизни.

Звонок, возвещавший конец антракта, только что умолк. Два старца шли по опустевшему фойе.

— Да, цель в жизни, — повторял Ла Бриш, высокий, худой, согбенный, а его собеседник тем временем, весело и легко ускользнув от него, поспешил за кулисы.

Маргарита в саду пряла и пела. Когда она окончила арию, мисс Белл сказала г-же Мартен:

— Ах, darling, господин Шулетт прислал мне изумительно прекрасное письмо. Он пишет, что стал знаменитостью. И я так обрадовалась. Он написал мне еще: «Слава других поэтов окружена ароматом мирры и иных благовоний. Моя же слава истекает кровью и стонет под градом камней и устричных раковин». Неужели правда, my love, что французы побивают камнями милого господина Шулетта?

И пока Тереза успокаивала мисс Белл, Луайе, властный и несколько шумливый, велел отпереть дверь ложи.

— Я прямо из Елисейского дворца.

Он оказался так галантен, что г-жа Мартен первая узнала от него эту новость.

— Указы подписаны. Ваш муж получил финансы. Хорошее министерство.

— А президент республики, — спросил г-н Мартен-Беллем, — не возражал, когда ему назвали мое имя?

— Нет. Бертье указал президенту на наследственную честность Мартенов, на ваше имущественное положение, и главное — на связи, соединяющие вас с некоторыми деятелями финансового мира, чье содействие может быть полезно правительству. И президент, если пользоваться удачным выражением Гарена, поступил так, как подсказали ему требования момента. Он подписал.

На желтом лице графа Мартена появились и исчезли две-три морщинки. Он улыбался.

— Указ, — продолжал Луайе, — появится завтра в «Офисьель». Я сам в фиакре проводил чиновника, отвозившего его в типографию. Так оно надежнее. Во времена Греви, который все-таки не был тупицей, указы перехватывались по пути от Елисейского дворца к набережной Вольтера[140].

И Луайе опустил на стул. Глядя на плечи г-жи Мартен и вдыхая их аромат, он заметил:

— Теперь уж не будут говорить, как говорили во времена моего покойного друга Гамбетты [141], что республике недостает дам. Благодаря вам, сударыня, нас теперь ждут блистательные празднества в залах министерства.

Маргарита, надев ожерелье и серьги, глядела в зеркало и пела арию с драгоценностями.

— Надо будет, — сказал граф Мартен, — составить декларацию. Я думал об этом. Что до моего ведомства, то я, кажется, нашел формулу: «Погашать долги излишками, а не налогами».

Луайе пожал плечами:

— Мой дорогой Мартен, ничего существенного нам не приходится менять в декларации предыдущего кабинета; положение явно осталось тем же.

Он ударил себя по лбу.

— Черт возьми! я и забыл. Военное министерство мы дали вашему другу старику Ларивьеру, не спросив его. Мне поручено его известить.

Он рассчитывал найти его в кафе на бульваре, которое посещают военные. Но графу Мартену было известно, что генерал в театре.

— Надо его поймать, — сказал Луайе.

И с поклоном спросил:

— Вы мне позволите, графиня, увести вашего мужа?

Не успели они удалиться, как в ложу вошли Жак Дешартр и Поль Ванс.

— Поздравляю вас, сударыня, — сказал Поль Ванс.

Но она обернулась к Дешартру:

— Надеюсь, что хоть вы-то не собираетесь меня поздравлять...

Поль Ванс спросил ее, думает ли она переезжать в квартиру в здании министерства.

— Нет, нет! Ни за что!

— Но вы, сударыня, — продолжал Поль Ванс, — по крайней мере будете ездить на балы в Елисейский дворец и в министерства, а мы будем восхищаться искусством, с каким вы и впредь сохраните ваши таинственные чары: вы останетесь той, о которой мечтаешь.

— Перемена кабинета вызывает у вас, господин Ванс, мысли весьма игривые, — заметила г-жа Мартен.

— Я не скажу, сударыня, как говорил мой дорогой учитель Ренан: «Какое до этого дело Сириусу?» — продолжал Поль Ванс, — ибо мне с полным основанием ответят: «Какое дело маленькой Земле до огромного Сириуса?» Но меня всегда немного удивляет, что люди взрослые и даже старые поддаются иллюзии власти, как будто голод, любовь и смерть, все эти низкие или великие неизбежности жизни, не имеют над человеческой толпой слишком большого могущества, чтобы еще оставлять сильным мира что-нибудь иное, кроме господства на бумаге и власти на словах. А еще удивительнее, что народы верят, будто у них есть другие правители и министры, кроме их собственных невзгод, желаний и глупости. Мудр был тот, кто сказал: «В свидетели и в судьи дайте людям Иронию и Сострадание»[142].

— Но позвольте, господин Ванс, — рассмеялась г-жа Мартен, — ведь это написали вы. Я же вас читаю.

Тем временем оба министра тщетно разыскивали генерала в зрительном зале и в коридорах. По совету капельдинерш они проникли за кулисы и, пройдя мимо подымавшихся и опускавшихся декораций, пробравшись сквозь толпу молодых немок в красных юбках, ведьм, бесов, античных куртизанок, попали в фойе балета. Просторная зала, украшенная аллегорической росписью, почти безлюдная, имела торжественно важный вид, какой придают своим учреждениям государство и богатство.

В фойе неподвижно стояли две танцовщицы, подняв ногу на барьер, который тянется вдоль стен. Там и тут видны были почти безмолвные группы мужчин в черных фраках и женщин в коротких и пышных юбочках.

Луайе и Мартен-Беллем, войдя, сняли цилиндры. В глубине залы они заметили Ларивьера, беседующего с красивой девицей, одетой в розовую тунику с золотым поясом и с разрезами на бедрах, обтянутых трико.

В руке она держала кубок из золоченого картона. Подойдя ближе, они услышали, как она говорила генералу:

— Вы старый, но я уверена, что вы уж во всяком случае не уступите ему.

И она презрительным жестом обнаженной руки указала на молодого человека с гарденией в петлице, который ухмылялся, стоя рядом.

Луайе знаком дал понять генералу, что хочет с ним поговорить, подвел его к барьеру и сказал:

— Я имею удовольствие сообщить вам, что вы назначены военным министром.

Ларивьер, насторожившись, ничего не ответил. Этот плохо одетый человек с длинными волосами, в пыльном, мешковатом фраке, походивший скорее на балаганного фокусника, внушал генералу так мало доверия, что тот даже заподозрил — не ловушка ли это, или, чего доброго, скверная шутка.

— Господин Луайе, министр юстиции. — представил его граф Мартен.

Луайе настаивал:

— Генерал, вам никак нельзя уклониться. Я поручился за ваше согласие. Ваш отказ может способствовать возвращению Гарена, а он теперь еще более агрессивен. Он предатель.

— Ну, дорогой коллега, вы преувеличиваете, — сказал граф Мартен, — Гарену, пожалуй, несколько недостает прямоты. Однако согласие генерала совершенно необходимо.

— Родина прежде всего, — пробормотал взволнованный Ларивьер.

— Вы помните, генерал, — проговорил Луайе, — существующие законы должны применяться с неуклонной умеренностью. Не отступайте от нее.

Глазами он следил за двумя танцовщицами, которые вытягивали на барьере свои мускулистые ноги.

Ларивьер бормотал:

— Моральное состояние армии превосходное... Служебное рвение начальников всегда соответствует самым критическим обстоятельствам...

Луайе похлопал его по плечу:

— Большие армии, дорогой коллега, имеют свои достоинства.

— Вполне с вами согласен, — отвечал Ларивьер, — наша теперешняя армия отвечает высшим потребностям национальной обороны.

— Большие армии хороши тем, — продолжал Луайе, — что они делают войну невозможной. Надо быть сумасшедшим, чтобы вовлечь в войну все эти необъятные силы; управление ими требовало бы сверхчеловеческих способностей. Ведь вы такого же мнения, генерал?

Генерал Ларивьер подмигнул.

— Настоящее положение, — сказал он, — требует большой осмотрительности. Перед нами опасная неизвестность.

Тут Луайе спокойно-презрительно поглядел на своего военного коллегу:

— А не думаете ли вы, мой дорогой коллега, что если паче чаяния вспыхнет война, настоящими генералами окажутся начальники станций?

Три министра спустились по служебной лестнице. Председатель совета ждал их у себя.

Начинался последний акт; в ложе г-жи Мартен оставались теперь только Дешартр и мисс Белл.

Мисс Белл говорила:

— Я радуюсь, darling, — как это у вас говорится по-французски? — я восторгаюсь при мысли, что вы носите на сердце флорентинскую красную лилию. И господин Дешартр, у которого душа художника, тоже должен быть доволен, что видит на вашем корсаже эту прелестную драгоценность. О! мне хочется знать, darling, какой ювелир делал ее. Эта лилия — стройная и гибкая, как цветок ириса. О! она изящна, великолепна и жестока. Замечали вы, my love, что в драгоценностях есть черты какой-то великолепной жестокости?

— Мой ювелир здесь, и вы уже назвали его, — сказала Тереза, — господин Дешартр был так любезен, что сделал рисунок этой лилии.

Дверь ложи отворилась. Тереза слегка повернула голову и в полумраке увидела Ле Мениля. Он поклонился ей:

— Прошу вас, графиня, передайте вашему супругу мои поздравления.

Он сухо вато сказал, что она прекрасно выглядит. Для мисс Белл у него нашлось несколько любезных и подходящих случаю слов.

Тереза в тревоге слушала его, полуоткрыв рот, делая над собой мучительное усилие, чтобы ответить что-то незначительное. Он спросил, хорошо ли она провела лето в Жуэнвиле. Ему хотелось приехать туда на охоту. Но он не смог. Он плавал по Средиземному морю, потом охотился в Семанвилле.

— О, господин Ле Мениль, — воскликнула мисс Белл, — вы скитались по голубому морю. Видали ли вы сирен?

Нет, сирен он не встречал, но в течение целых трех дней поблизости от его яхты плыл дельфин.

Мисс Белл спросила, нравилась ли этому дельфину музыка.

Ле Мениль не думал, чтобы нравилась.

— Дельфины — это просто-напросто маленькие кашалоты, — сказал он, — моряки называют их морскими гусями, потому что в форме головы у них есть известное сходство с гусем.

Но мисс Белл не допускала, чтобы у чудовища, которое унесло поэта Ариона на мыс Тенар [143], могла быть гусиная голова.

— Господин Ле Мениль, если в будущем году дельфин снова проплывет вблизи вашего корабля, пожалуйста, сыграйте для него на флейте гимн Аполлону Дельфийскому. Вы любите море, господин Ле Мениль?

— Я предпочитаю лес.

Овладев собой, он говорил спокойно и просто.

— Ах! господин Ле Мениль, я знаю, вы очень любите леса и поляны, где зайчики пляшут при лунном свете.

Дешартр, побледнев, встал и вышел из ложи.

Шла сцена в церкви. Маргарита, стоя на коленях, в отчаянии ломала руки, голова ее с тяжелыми белокуроыми косами откинулась назад. И хор загремел вместе с органом, зазвучал заупокойный гимн:

Когда займется день господень в небесах,

Пожаром вспыхнет крест в благих его лучах

И обратит вселенную во прах.[144]

— Ах, darling, известно ли вам, что этот заупокойный гимн, который поется в католических церквах, возник во францисканском монастыре? В нем еще слышится шум ветра, что свистит

зимой среди ветвей лиственниц в горах Оверни.

Тереза не слушала. Душа ее улетела в узенькую дверь ложи.

В аванложе раздался шум — падали кресла. Это вернулся Шмоль. Он узнал, что г-н Мартен-Беллем назначен министром. Тотчас же он стал требовать, чтобы ему дали командорский крест и более просторную квартиру в здании Академии. Ведь та, которую он занимает сейчас, — темная, тесная, слишком маленькая для его жены и пяти дочерей. Свой кабинет ему пришлось устроить в каком-то чулане. Он долго и тягуче жаловался и решился уйти лишь после того, как г-жа Мартен обещала, что замолвит за него слово.

— Господин Ле Мениль, — спросила мисс Белл, — будете ли вы плавать и в будущем году?

Ле Мениль думал, что не будет. Он не намерен сохранять «Розбад». На море грустно.

И, спокойный, решительный, упрямый, он посмотрел на Терезу.

На сцене, в тюрьме у Маргариты, Мефистофель пел: «День наступает», и оркестр воспроизводил жуткий конский скак. Тереза прошептала:

— У меня голова болит, здесь душно.

Ле Мениль приотворил дверь.

Звонкая музыкальная фраза Маргариты, призывающей ангелов, белыми искрами рассыпалась в воздухе.

— Darling, вот что я вам скажу: эта бедная Маргарита не хочет спасти свою плоть и потому-то спасена ее душа живая. В одно я верю, darling, — я твердо верю, что все мы будем спасены. О да, я верю в конечное очищение от всех грехов.

Тереза встала, высокая и белая, с кровавым цветком на груди. Мисс Белл сидела неподвижно и слушала музыку. В аванложе Ле Мениль взял мантию г-жи Мартен. Он держал его наготове, а она вышла из ложи и остановилась у зеркала возле приотворенной двери. Он набросил на ее обнаженные плечи, чуть коснувшись их пальцами, расшитое золотом, подбитое горностаем красное бархатное манти, и совсем тихо, отрывисто, но очень отчетливо, сказал:

— Тереза, я вас люблю. Помните, о чем я просил вас третьего дня. Каждый день, каждый день с трех часов я буду ждать у нас, на улице Спонтини.

В эту минуту, оправляя на себе мантию, она сделала легкое движение головой и увидела Дешартра, который держался за ручку двери. Он слышал. Он посмотрел на нее с такой укоризной и такой скорбью, какую только в силах выразить человеческие глаза. Потом он исчез в коридоре. Она почувствовала, как огненные молоточки застучали у нее в груди, и застыла на пороге двери.

— Ты меня ждала? — сказал Монтессюи, зайдя за ней. — Тебя все покинули сегодня. Я отвезу вас обеих — тебя и мисс Белл.

XXXIII

И в карете и у себя в спальне Тереза все время видела взгляд друга, его жестокий и

скорбный взгляд. Она знала, как легко он поддается отчаянию, как быстро утрачивает волю к желаним. Так он убегал от нее на берегу Арно. Тогда она, счастливая, — несмотря на всю печаль и тревогу, — могла броситься за ним, крикнуть ему: «Вернись!» Да и теперь, хоть ее окружали люди, хоть за ней следили, она должна была бы что-то сделать, сказать, не дать ему уйти в безмолвии и горе. Она была ошеломлена, удручена. Все произошло так нелепо и так быстро. Ле Мениль был для нее слишком чужим, чтобы возбуждать ее гнев, да она и не хотела думать о нем. Она горько упрекала лишь себя самое — зачем она дала уйти своему другу, не проводив его ни словом, ни взглядом, в который могла бы вложить всю свою душу.

Полина ждала, чтобы помочь ей раздеться, а она в волнении ходила взад и вперед по комнате. Потом внезапно остановилась. В сумрачных зеркалах, где тонули отблески свечей, она видела коридор театра и своего друга, безвозвратно уходящего от нее.

Где он теперь? О чем он думает там, один? Для нее было пыткой, что она не может сию же минуту бежать к нему, увидиться с ним.

Она долго прижимала руки к груди — она задыхалась.

Вдруг Полина вскрикнула: на белом корсаже своей госпожи она увидела капельки крови. Сама того не заметив, Тереза уколола себе руку о лепестки красной лилии.

Она сняла эту символическую драгоценность, которую носила на глазах у всех, как кричащую тайну своего сердца и, держа ее в руке, еще долго смотрела на нее. И ей вспомнились дни во Флоренции, келья в монастыре св. Марка, где друг нежно поцеловал ее в губы, а она сквозь полуопущенные ресницы смутно видела ангелов и голубое небо на фреске; ей вспомнились статуи Ланци и сверкающее сооружение мороженщика на красной ситцевой скатерти, флигель на Виа Альфьери с его нимфами и козами на фронтоне и комната, где пастухи и маски на ширмах слушали, как она вскрикивает или как подолгу хранит молчание.

Нет, все это не были видения прошлого, призраки минувших часов. Это было живое настоящее ее любви. И что же — слово, бессмысленно брошенное каким-то чужим человеком, разрушит все это очарование? К счастью, это невозможно. Ее любовь, ее возлюбленный не могут зависеть от таких пустяков. Если бы только она могла броситься к нему сейчас же, вот так, полураздетая, среди ночи, могла бы войти к нему в комнату... Она увидела бы, как он сидит перед камином печальный, опустив голову на руки. Тогда, коснувшись пальцами его волос, она заставила бы его поднять голову, убедиться, что она любит его, что она его собственность, его живое сокровище, исполненное радости и любви.

Она отослала горничную. Лежа в постели, не погасив лампы, она возвращалась все к одной и той же мысли.

Это была случайность, нелепая случайность. Он же поймет, что их любви нет никакого дела до этой глупости. Что за безумие! Ему — беспокоиться из-за какого-то другого человека! Как будто на свете есть другие люди!

Господин Мартен-Беллем приотворил дверь спальни. Увидев свет, он вошел.

— Вы еще не спите, Тереза?

Он только что приехал от Бертье д'Эзелля, где совещался с коллегами. О некоторых делах он хотел посоветоваться с женой, которую считал женщиной умной. А главное — он испытывал потребность услышать искреннее слово.

— Дело сделано, — сказал он. — Вы, дорогой мой друг, надеюсь, поможете мне в моем положении, весьма лестном, но очень трудном и даже опасном, положении, которым я отчасти обязан вам, поскольку достиг я его прежде всего благодаря могущественному

влиянию вашего отца.

Он посоветовался с ней о выборе начальника канцелярии.

Она старалась помочь ему по мере сил. Она видела, что он рассудителен, спокоен и не глупее других.

Он предался размышлениям.

— Бюджет мне придется отстаивать перед сенатом в том виде, как его утвердила палата. В этом бюджете есть новшества, которых я не одобрял. Как депутат, я восставал против них, а как министр, буду их поддерживать. Раньше я на все это глядел со стороны. А когда присмотришься, картина меняется. И к тому же я не свободен.

Он вздохнул:

— Ах! если бы знали, как мало мы можем сделать, когда становимся у властн.

Он поделился с ней своими впечатлениями. Бертье не высказывается. Прочие остаются непроницаемыми. Один только Луайе проявляет себя крайне твердым человеком.

Она слушала его без всякого внимания, но и без нетерпения. Его лицо и бесцветный голос, точно часы, отмечали для нее минуты, которые медленно текли одна за другой.

— Луайе позволяет себе странные выходки. Он заявил себя безусловным сторонником Конкордата[145] и сказал: «Епископы — это духовные префекты. Я буду им покровительствовать, раз они мне подведомственны. А через них я буду держать в руках сельских духовных стражей — священников».

Муж напомнил Терезе, что теперь ей придется бывать в обществе, которое ей чуждо и пошлость которого ее будет, наверно, коробить. Но их положение требует, чтобы они никем не пренебрегали. Впрочем, он рассчитывает на ее такт и самоотверженность. Она растерянно посмотрела на него.

— Зачем спешить, друг мой. Там видно будет.

Он был утомлен, просто изнемогал. Ей он пожелал спокойной ночи, посоветовал скорей уснуть. Она расстроит себе здоровье, если будет читать целые ночи напролет. Он ушел.

Она прислушивалась к его шагам, несколько более тяжелым, чем обычно, пока он проходил через свой кабинет, заваленный синими папками и газетами, в спальню, где ему, может быть, удастся уснуть. Потом она почувствовала гнет ночного безмолвия, взглянула на часы. Было половина второго.

И она подумала: «Он тоже страдает, тоже... Он посмотрел на меня с таким отчаянием и такой злобой!»

Она сохраняла все свое мужество, всю свою готовность действовать. Ее раздражало, что она здесь — точно узница, заключенная в одиночную камеру. Когда настанет утро и вернет ей свободу, она поедет к нему, увидит его, все ему объяснит. Это же так ясно! Среди мучительного однообразия своих мыслей она слушала грохот телег, которые через долгие промежутки времени проезжали по набережной. Этот шум скрашивал ей ожидание, занимал ее, почти интересовал. Она прислушивалась к звукам, сперва слабым и отдаленным, потом нараставшим, так что можно было различить стук колес, скрип осей, удары подков о мостовую, и постепенно затихавшим, переходившим в еле уловимый рокот.

А когда водворялась тишина, она опять отдавалась все той же мысли.

Он поймет, что она его любит, что она никогда никого другого не любила. Вся беда в том, что ночь течет так медленно. Она не решалась посмотреть на часы, — из страха убедиться в тягостной неподвижности времени.

Она встала, подошла к окну и приподняла штору. По облачному небу разлито было бледное мерцание. Она подумала, что уже занимается день, и взглянула на часы. Было половина четвертого.

Она вернулась к окну. Темная беспредельность там, на улице, притягивала ее. Она стала смотреть. Тротуар блестел в свете газовых фонарей. С тусклого неба падал незримый и бесшумный дождь. Вдруг среди тишины раздался голос, сперва пронзительный, потом более низкий и прерывистый; в нем словно сливалось несколько отвечавших друг другу голосов. Это пьяница брел по тротуару, натываясь на деревья, и вел долгий спор с созданиями своей фантазии, которым великодушно предоставлял слово, а потом набрасывался на них с резкими упреками, при этом сильно жестикулируя. Тереза видела, как белая блуза этого бедняги мелькает вдоль парапета, точно тряпка, развеваемая ночным ветром, и время от времени до нее доносились слова, которые он твердил без конца: «Вот что я скажу правительству!»

Продрогнув, она опять легла в постель. Ее одолела новая тревога. «Он ревнив, он до безумия ревнив. Тут замешаны нервы, темперамент. Но и в любви его тоже замешаны нервы и темперамент. Любовь его и ревность — это одно и то же. Другой все понял бы. Достаточно было бы успокоить его самолюбие». Но у него ревность сочетается с какой-то страшной чувственностью. Она знает, что ревность для него — физическая пытка, незаживающая рана, которую еще растревляет воображение. Она знает, как глубоко коренится недуг. Она же видела, как он побледнел перед бронзовой статуей св. Марка, когда она опустила письмо в почтовый ящик на стене старинного флорентинского дома, а ведь он в то время обладал ею лишь в своих желаниях и мечтах.

Она вспоминала его глухие жалобы, внезапные приступы грусти, охватывавшей его потом, после долгих поцелуев, и мучительную загадку слов, которые он все время повторял: «Чтобы забыть тебя, я должен забыться в тебе». Она вспоминала письмо, присланное в Динар, и яростное отчаяние, в которое его повергла фраза, услышанная за ресторанным столиком. Она чувствовала, что удар пришелся по самому болезненному месту — в кровоточащую рану. Но она не теряла мужества. Она все ему скажет, во всем признается, и все ее признания будут одним воплем: «Я люблю тебя, я никогда никого не любила, кроме тебя!» Она ему не изменяла. Она не скажет ему ничего такого, о чем бы он уже не догадывался. Она лгала так мало, так мало, как только могла, и лишь для того, чтобы его не огорчать. Неужели он не поймет этого? И лучше ему знать все, раз это все — сущее ничто. Она без конца возвращалась все к тем же мыслям, повторяла все те же слова. Лампа бросала теперь лишь тусклый свет. Тереза зажгла свечи. Было половина седьмого. Тут она поняла, что вздремнула. Она подбежала к окну. Небо было черное и сливалось с землей в хаосе густого мрака. Теперь ей захотелось узнать точно, в котором часу встанет солнце. Она не имела ни малейшего понятия об этом. Она только знала, что в декабре очень длинные ночи. Она попыталась вспомнить, но это ей не удалось. Она не сообразила заглянуть в календарь, забытый на столе. Тяжелые шаги рабочих, проходивших целыми партиями, шум от проезжавших мимо тележек с молоком и зеленью донесли до ее слуха, как доброе предзнаменование. Она вздрогнула, ощутив пробуждение города.

Было девять часов утра, когда во дворе маленького дома в Тернах она увидела г-на Фюзелье: несмотря на дождь, с трубкой в зубах, он подметал дорожку. Из своей комнаты вышла г-жа Фюзелье. У обоих вид был смущенный. Первой заговорила г-жа Фюзелье.

— Господина Жака нет дома.

А так как Тереза не говорила ни слова и продолжала стоять неподвижно, Фюзелье, не выпуская метлы и пряча за спиной левую руку с трубкой, подошел к ней и сказал:

— Господин Жак еще не возвращался.

— Я его подожду, — сказала Тереза.

Госпожа Фюзелье провела ее в гостиную и затопила камин. Дрова не загорались и дымили, и она, положив руки на бедра, наклонилась к огню.

— Это из-за дождя не тянет, — сказала она.

Госпожа Мартен пробормотала, что не стоит растапливать камин, что ей не холодно.

Она увидела себя в зеркале.

Она была мертвенно-бледна, а на щеках горели красные пятна. Тут только она почувствовала, что ноги у нее озябли. Она подошла к камину. Г-жа Фюзелье, видя ее тревогу, постаралась сказать что-нибудь приветливое:

— Господин Жак скоро придет. Вам бы тем временем обогреться.

Сквозь стеклянную крышу, залитую дождем, проникал унылый свет. На стене дама с единорогом, застыв в напряженной позе, вся как-то поблекнув, уже не казалась прекрасной среди окружающих ее кавалеров, в лесу, полном цветов и птиц. Тереза повторяла про себя: «Не возвращался». И повторяла эти слова столько раз, что перестала их понимать. Горящими глазами она смотрела на дверь.

Так сидела она без мысли, без движения, сама не зная, сколько времени, — может быть, полчаса. Раздались шаги, отворилась дверь. Он вошел. Она увидела, что он весь промок, весь в грязи, что он пылает в лихорадке.

Она остановила на нем взгляд, полный такой искренности, такой прямоты, что он был поражен. Но почти тотчас же он вновь разбередил в себе боль.

Он сказал:

— Чего вам еще нужно от меня? Вы мне сделали все зло, какое только могли сделать.

От усталости он казался каким-то кротким. Это испугало ее.

— Жак, выслушайте меня...

Он сделал жест, означавший, что слушать ему нечего.

— Жак, выслушайте меня. Я вам не изменяла. Нет, нет, я вам не изменяла. Разве могло это быть? Разве...

Он прервал ее:

— Пожалейте меня. Не мучьте меня больше. Оставьте меня, умоляю вас. Если бы вы знали, какую ночь я провел, у вас не хватило бы духа снова терзать меня.

Он тяжело опустился на тот самый диван, где полгода тому назад целовал ее через вуалетку.

Он бродил всю ночь, шагал куда глаза глядят, прошел вверх по Сене вплоть до того места, где ее окаймляют уже только ивы и тополя. Чтобы меньше страдать, он придумывал себе развлечения. На набережной Берси он смотрел, как луна мчится меж облаков. Он целый час глядел, как она то заволакивается, то показывается вновь. Потом он с крайней тщательностью стал считать окна в домах. Начался дождь. Он пошел на Крытый рынок, выпил водки в каком-то кабаке. Толстая косая девка сказала ему: «Тебе, видать, не весело». Он задремал на скамейке, обитой кожей. То была хорошая минута.

Образы этой мучительной ночи вставали перед его глазами. Он сказал:

— Мне вспомнилась ночь на Арно. Вы отравили мне всю радость, всю красоту мира.

Он умолял оставить его. Он так устал, что испытывал острую жалость к самому себе. Он хотел бы уснуть; не умереть, — смерть страшила его, — а уснуть и никогда больше не просыпаться. Между тем он видел Терезу перед собой, такую желанную, такую же очаровательную, как прежде, несмотря на потускневший цвет лица и мучительную напряженность сухих глаз. И к тому же — теперь еще и загадочную, еще более таинственную, чем когда бы то ни было. Он видел ее. Ненависть возрождалась в нем вместе со страданием. Недобрым взглядом искал он на ней следы ласк, которых она еще не дождалась от него.

Она протянула к нему руки:

— Выслушайте меня, Жак.

Он сделал жест, означавший, что говорить бесполезно. Все же ему хотелось выслушать ее, и вот он уже жадно слушал. Он ненавидел и заранее отвергал то, что она собиралась сказать, но одно только это и занимало его сейчас в целом мире. Она сказала:

— Вы могли поверить, что я вам изменяю, что я живу не в вас, что я живу не вами? Значит, вы ничего не понимаете? Значит, вы не соображаете, что если бы этот человек был моим любовником, ему незачем было бы говорить со мной в театре, в ложе; он нашел бы тысячи других способов, чтоб назначить мне свидание. Ах нет, мой друг, уверяю вас, что с тех пор, как мне дано счастье, — даже и сейчас я, измученная, готовая отчаяться, говорю: счастье — счастье знать вас, я принадлежала только вам. Разве бы я могла принадлежать другому? То, что вам вообразилось, — ведь это же чудовищно. Я тебя люблю, я тебя люблю. Я люблю тебя одного. Я только тебя и любила.

Он ответил медленно, произнося слова с жестокой отчетливостью:

— «Я каждый день с трех часов буду у нас на улице Спонтини». Это вам говорил не любовник, не ваш любовник? Нет? Это был чужой, это был незнакомец?

Она выпрямилась и страдальчески торжественно сказала:

— Да, когда-то я принадлежала ему. Вы же это знали. Я отрицала это, я лгала, чтобы не огорчать вас, чтобы вас не раздражать. А я видела, что вы встревожены, мрачны. Но лгала я так мало и лгала так неудачно! Ты же это знал. Не упрекай меня. Ты ведь знал, знал об этом, ты часто заговаривал со мной о прошлом, а потом тебе сказали в ресторане... И ты вообразил больше, чем было на самом деле. Я, когда лгала, не обманывала тебя. Если бы ты знал, как мало это значило в моей жизни. Я не знала тебя — вот в чем вся причина. Я не знала, что ты появишься. Я томилась.

Она бросилась на колени.

— Я виновата. Надо было ждать тебя. Но если бы ты знал, до какой степени все это перестало существовать, да и не существовало никогда!

И в голосе ее прозвучала нежная певучая жалоба:

— Отчего ты не пришел раньше? Отчего?

Не поднимаясь с пола, она тянулась к нему, она хотела схватить его руки, обнять колени.

Он ее оттолкнул:

— Я был глуп. Я не верил, не знал. Не хотел знать.

Он поднялся и в порыве ненависти крикнул:

— Я не хотел, я не хотел, чтобы это был он!

Она села на место, с которого он только что встал, и жалобным, тихим голосом заговорила о прошлом. Ведь она была тогда так одинока в свете, а свет ужасающе пошел. Все случилось само собой, она просто уступила. Но тотчас же стала раскаиваться. О! если бы он знал, как тускла и уныла была ее жизнь, он не стал бы ревновать, он пожалел бы ее.

Она тряхнула головой и поглядела на него сквозь распустившиеся пряди волос:

— Да ведь я с тобой говорю о совсем другой женщине. С этой женщиной у меня нет ничего общего. А я — я существую лишь с тех пор, как узнала тебя, с тех пор, как стала твоей.

Он неистово скорыми шагами, такими, какими недавно шел по берегу Сены, принялся расхаживать по комнате. И вдруг разразился смехом, полным муки:

— Да, хорошо, но пока ты меня любила, что делала та, другая женщина, не ты?

Она с негодованием взглянула на него.

— Ты мог подумать...

— Вы не встречались с ним во Флоренции, не провожали его на вокзал?

Она рассказала ему, зачем он приезжал к ней в Италию, как она виделась с ним, как с ним порвала, как он уехал в гневе на нее и как с тех пор стремится вернуть себе ее любовь, а она даже не обратила на него внимания.

— Друг мой, я во всем мире не вижу, не знаю никого, кроме тебя.

Он покачал головой:

— Я тебе не верю.

Она возмутилась:

— Я вам все сказала. Обвиняйте меня, осуждайте, но не оскорбляйте мою любовь к вам. Это я вам запрещаю.

Он левой рукой закрыл себе глаза.

— Оставьте меня. Вы сделали мне слишком много зла. Я так вас любил, что принял бы все страдания, которые вы могли бы мне причинить, берег бы их, любил бы их; но эта боль отвратительна. Я ее ненавижу. Оставьте меня, мне слишком тяжело. Прощайте.

Она. стояла прямо, ее маленькие ножки словно приросли к коврику.

— Я пришла к вам. Я отстаиваю свое счастье, свою жизнь. Я упрямая, вы это знаете. Я не уйду.

И она повторила все, что уже говорила ему. Искренне и страстно, не сомневаясь в себе, она рассказала, как порвала связь, и без того непрочную и уже начинавшую ее раздражать, как с того дня, в который она отдалась ему в домике на Виа Альфьери, она принадлежала только ему, ни о чем, конечно, не сожалея, ни о ком не думая, ни на кого другого не глядя. Но одним упоминанием о другом она уже сердила его. И он кричал:

— Я вам не верю!

Тогда она опять начала говорить то, что уже говорила.

И вдруг невольно взглянула на часы:

— Боже мой! Двенадцать!

Сколько раз у нее вырывалось это тревожное восклицание, когда неожиданно подкрадывалось время расстаться. И Жак вздрогнул: услышав эти привычные слова, на этот раз такие скорбные и безнадежные. Еще несколько минут она что-то говорила — горячо, со слезами. Потом ей все-таки пришлось уйти; она ничего не достигла.

Дома, в передней, она увидела рыночных торговков, которые дожидались ее, чтобы поднести ей букет. Она вспомнила, что ее муж — министр. Лежали уже целые груды телеграмм, визитных карточек и писем, поздравлений, просьб. Г-жа Марме просила рекомендовать ее племянника генералу Ларивьеру.

Она вышла в столовую и в изнеможении опустилась на стул. Г-н Мартен-Беллем кончал завтрак. Его в одно и то же время ждали и в совете министров и у бывшего министра финансов, которому он должен был сделать визит. Низкопоклонство осторожных чиновников уже успело польстить ему, обеспокоить его, утомить. Он сказал:

— Не забудьте, дорогая, съездить к госпоже Бертье д'Эзелль. Вы знаете, что она щепетильна.

Тереза не ответила. Окуная свои желтые пальцы в хрустальный сосуд с водой, он вдруг поднял голову и увидел ее, такую усталую и расстроенную, что больше ничего не решился сказать.

Он столкнулся с какой-то тайной, которую не желал узнать, с сердечным горем, которое от одного слова могло прорваться. Он почувствовал беспокойство, страх и как бы уважение.

Он бросил салфетку на стол:

— Вы меня извините, дорогая.

И вышел.

Она пробовала поесть, но ничего не могла проглотить. Все вызывало в ней непреодолимое отвращение.

Около двух часов она вернулась в домик в Тернах. Жака она застала в спальне. Он курил деревянную трубку. На столе стояла чашка кофе, почти уже допитая. Во взгляде, которым он посмотрел на нее, была такая жестокость, что она вся похолодела. Она не решалась заговорить, чувствуя, что все, сказанное ею, только оскорбит и раздражит его и что, даже

храня смиренное молчание, она разжигает его гнев. Он знал, что она вернется, ждал с нетерпением ненависти, с такой же тревогой в сердце, с какою ждал ее во флигеле на Виа Альфьери. Она вдруг поняла, что сделала ошибку, придя к нему; что, не видя ее, он бы стремился к ней, желал ее, может быть, позвал бы. Но было слишком поздно, да, впрочем, она и не пыталась действовать с расчетом.

Она ему сказала:

— Вот видите. Я вернулась, я не могла иначе. Да это ведь и естественно, раз я тебя люблю. И ты это знаешь.

Она уже чувствовала, что все сказанное ею будет только раздражать его. Он спросил, говорит ли она то же самое на улице Спонтини.

Она с глубокой печалью посмотрела на него:

— Жак, вы не раз говорили мне, что есть в вас и затаенная злоба и ненависть ко мне. Вы любите мучить меня. Я это вижу.

Она с упорным терпением опять подробно рассказала ему всю свою жизнь, которая раньше так мало значила для нее, рассказала о том, как уныло было ее прошлое и как, отдавшись ему, она с тех пор жила только им, только в нем.

Слова текли прозрачно ясные, как ее взгляд. Она села рядом с ним. Порою она касалась его пальцами, робкими теперь, и обвевала его своим дыханием, слишком горячим. Он слушал ее со злобной жадностью. Жестокий к самому себе, он пожелал знать все, — о последних встречах с тем, другим, об их разрыве. Она в точности рассказала ему, что произошло в гостинице «Великобритания», но перенесла эту сцену в одну из аллей в Кашинах — из страха, что картина их печальной встречи в четырех стенах еще сильнее раздражит ее друга. Потом она объяснила свидание на вокзале. Она не хотела доводить до отчаяния человека неуравновешенного и измученного. Потом она ничего не знала о нем вплоть до того дня, когда он заговорил с нею на бульваре Мак-Магона. Она повторила то, что он ей сказал под иудиным деревом. Через день после этого она увидела его в своей ложе в опере. Разумеется, он пришел без приглашения. Это была правда.

Это была правда. Но давний яд, медленно скопившийся в нем, сжигал его. Прошое, непоправимое прошое после ее признании превратилось для него в настоящее. Перед ним вставали образы, терзавшие его. Он ей сказал:

— Я вам не верю... А если бы и верил, то от одной мысли, что вы принадлежали этому человеку, не мог бы больше видеть вас. Я вам это говорил, я вам об этом писал, — помните письмо в Динар. Я не хотел, чтобы это был он. А потом...

Он остановился. Она сказала:

— Вы же знаете, что потом ничего и не было.

Он с глухой яростью в голосе договорил:

— А потом я его увидал.

Они долго молчали. Наконец она сказала — удивленно и жалобно:

— Но, друг мой, вы же должны были представлять себе, что такая женщина, как я, замужняя... Ведь постоянно случается, что женщина приходит к своему возлюбленному с прошлым гораздо более тяжелым, чем у меня, а он все-таки любит ее. Ах! мое прошлое! если бы вы только знали, какая это малость!

— Я знаю, какое вы приносите счастье. Вам нельзя простить то, что можно было бы простить другой.

— Но, друг мой, я такая же, как все другие.

— Нет, вы не такая, как все другие. Вам ничего нельзя простить.

Он говорил, злобно стиснув зубы. Его глаза, глаза, которые она видела широко открытыми, которые раньше горели мягким огнем, были теперь сухи, жестки, словно сузились между складками век и смотрели на нее незнакомым взглядом. Он был ей страшен.

Она отошла в глубину комнаты, села на стул и долго сидела, трепеща, задыхаясь от рыданий, по-детски удивленно раскрыв глаза; сердце у нее сжималось. Потом она заплакала.

Он вздохнул:

— Зачем я вас узнал?

Она ответила сквозь слезы:

— А я не жалею, что узнала вас. Умираю от этого и все-таки не жалею. Я любила.

Он со злобным упорством мучил ее. Он чувствовал, как это отвратительно, но не мог совладать с собою.

— В конце концов вполне возможно, что вы, между прочим, любили и меня.

Она, плача, ответила:

— Но ведь я же только вас и любила. Я слишком вас любила. И за это вы меня наказываете... И вы еще можете думать, что с другим я была такой, какой была с вами!

— А почему бы и нет?

Она беспомощно, безвольно взглянула на него.

— Скажите, это правда, что вы не верите мне?

И совсем тихо прибавила:

— А если бы я убила себя, вы бы мне поверили?

— Нет, не поверил бы.

Она отерла щеки платком и, подняв к нему глаза, блестящие сквозь слезы, сказала:

— Значит, все кончено!

Она встала, еще раз оглянула комнату, все вещи, с которыми она жила в такой веселой и блаженной, в такой тесной дружбе, которые казались ей своими и вдруг стали для нее ничем, начали глядеть на нее как на незнакомку, как на врага; она увидела флорентинские медали, напоминавшие ей Фьезоле и волшебные часы под небом Италии, головку смеющейся девушки, которую когда-то начал лепить Дешартр, оттенивший ее милую болезненную худобу. На минуту она с сочувствием остановилась перед этой маленькой газетчицей, которая тоже приходила сюда, а потом исчезла, унесенная страшным и необъятным потоком жизни и событий.

Она повторила:

— Значит, все кончено?

Он молчал.

Сумерки уже стирали очертания вещей.

Она спросила:

— Что же будет со мной?

Он отозвался:

— А что будет со мной?

Они с жалостью взглянули друг на друга, потому что каждому было жаль самого себя.

Тереза сказала еще:

— А я-то боялась состариться, боялась ради вас, ради себя, ради нашей прекрасной любви, которой не должно было быть конца. Лучше было бы и не родиться. Да, мне было бы лучше, если б я вовсе не родилась на свет. И что за предчувствие было у меня еще в детстве под липами Жуэнвиля, около мраморных нимф, у Короны, когда мне так хотелось умереть?

Она стояла, опустив сложенные руки; когда она подняла глаза, влажный взгляд ее засветился, как луч в темноте.

— И никак нельзя заставить вас почувствовать, что мои слова — правда, что ни разу с тех пор, как я стала вашей, ни разу... Да как бы я могла? Самая мысль об этом мне кажется отвратительной, нелепой. Неужели вы так мало знаете меня?

Он грустно покачал головой.

— Да! Я не знаю вас.

Она еще раз бросила вопрошающий взгляд на все вещи вокруг, которые были свидетелями их любви.

— Так значит, все, чем мы были друг для друга... все это напрасно, не нужно. Можно разбиться друг о друга, а слиться друг с другом нельзя!

Ее охватило негодование. Невозможно, чтобы он не чувствовал, чем он был для нее.

И в порыве своей попоранной любви она бросилась к нему, осыпала его поцелуями, плача, вскрикивая, кусая его.

Он все забыл, он схватил ее, измученную, разбитую, счастливую, сжал в объятиях с мрачной яростью пробудившегося желанья. И вот уже, откинув голову на край подушки, она улыбалась сквозь слезы. Вдруг он оторвался от нее.

— Вы больше не одна. Я все время вижу возле вас того, другого.

Она взглянула на него, — безмолвно, с возмущением, с безнадежностью, — встала, с незнакомым ей чувством стыда оправила платье и прическу. Потом, сознавая, что все кончено, она окинула комнату удивленным взором ничего уже не видящих глаз и медленно вышла.

## Примечание

В мае 1893 г. Франс совершает путешествие в Италию. Вместе со своим другом, г-жой де Кайаве, он осматривает итальянские города, посещает музеи и соборы, восхищается живописной природой. Здесь, в Италии, окончательно оформляется замысел романа «Красная лилия». Франс начинает работу над ним в августе 1893 г., а весной 1894 г., с апреля по июнь, после многочисленных рукописных правок печатает его частями в «Revue de Paris». Отдельное издание романа выходит в свет 18 июля 1894 г.

Успех «Красной лилии» превзошел все ожидания. Друзья присылали Франсу восторженные письма. Видные критики, Ж. Пелисье, Т. Визева и Э. Род, в том же году опубликовали хвалебные рецензии. И все же никто в сущности не сумел правильно оценить произведение. «Красную лилию» рассматривали как типичный светский роман, как трагедию чувственной любви, неизбежно разрушаемой ревностью. Аналогичные мнения высказывали и более поздние исследователи, увидевшие в книге отражение личной драмы Франса.

Нет сомнения, что многие детали романа (а частично и замысел его) были подсказаны Франсу г-жой де Кайаве или выработаны совместно с ней. Совершенно очевидно также, что в рассуждениях персонажей, и прежде всего Поля Ванса, получили выражение идеи самого автора, а в некоторых ситуациях отразился и его собственный жизненный опыт. Однако это не дает никакого основания считать «Красную лилию» романизированной автобиографией. Характерно, что Франс отказался от первоначального намерения сделать писателя Ванса главным сюжетным героем.

В «Красной лилии» изображен парижский свет и действие многих сцен протекает в великосветском салоне. Но всем содержанием своего романа Франс борется с той идеологией, которая насаждалась «салонными» романистами эпохи, идеализировавшими высшие круги общества. «Если бы я обладал достаточным талантом для того, чтобы полностью выразить свою мысль, — писал он одному из своих критиков, — вы бы ясно увидели, что «Красная лилия» не является книгой консервативной и светской». Любовно-психологический роман стал под пером Франса романом философским и политическим с отчетливой демократической тенденцией.

Отношения Терезы и Дешартра освещены с большой психологической глубиной. Однако любовная драма отнюдь не играет здесь самодовлеющей роли. Она неразрывно связана с основной философско-психологической проблемой романа — проблемой взаимоотношения мысли и чувства, которая проходит через все творчество Франса и в «Красной лилии» получает новое разрешение, прежде всего в образе Дешартра.

Трагедия Дешартра — в его обостренном интеллектуализме, мешающем ему как человеку и художнику: размышления отвлекают его от творчества и губят его любовь; его ревность — плод его болезненной мысли. Характерно и отвращение Дешартра к политике. Он презирает политику не только потому, что политиканы Третьей республики действительно достойны презрения; ему, человеку интеллекта, чуждо всякое действие вообще, в том числе и политическое. Дешартр противопоставляет себя окружающей действительности, не видя в ней ничего, достойного внимания, и вместе с тем в поисках своих художественных идеалов теряет ощущение реальной жизни. Это типичный художник «конца века» — периода широкого распространения декадентства. Развенчивая Дешартра, Франс тем самым отвергает попытку уйти от реальной действительности в замкнутый мир чистой мысли.

Идея, заложенная в образе Дешартра, получает своеобразное подтверждение и в образе Вивиан Белл. Так же, как ее прототип, английская писательница Вернон Ли, она не живет

по-настоящему, а как бы «эстетизирует» жизнь, принимая в ней только то, что связано с искусством. Поэтому она плохо разбирается в людях, и ее первое серьезное увлечение — насквозь фальшивый князь Альбертинелли.

С точки зрения Франса, люди, подобные Дешартру или Вивиан Белл, всегда противопоставляют себя народу, «толпе», они антидемократичны. Дешартр враждебно говорит о революции, а Вивиан Белл ценит народность только в искусстве и резко выступает против равенства в общественной жизни, которое понимает как всеобщую нивелировку.

Прежде Франс прославлял чувство как единственно действенное творческое начало. В период создания «Красной лилии» он приходит к убеждению, что одним только чувством и инстинктивным действием невозможно преодолеть социальное зло. Для того чтобы спасти и исправить общество, нужно сочетать мысль и действие.

Философско-психологическая проблема мысли и чувства, мысли и действия становится для Франса важнейшей общественной проблемой, и в этом отражается растущее возмущение писателя буржуазной современностью, его желание включиться в общественную борьбу.

Поэта, христианского социалиста Шулетта, отвергающего мысль ради наивного чувства, Франс осуждает так же, как осудил Дешартра. В отличие от Дешартра, Шулетт живет чувством, а не мыслью, и творит легко, талантливо и просто. Но как только он переходит из области творчества в область практической жизни, он становится фальшив. Его нападки на разум, восхваление безумных и смиренных — в значительной мере поза, так же как и расшитая цветами красная котомка, экстравагантные выходы и манера одеваться. Эпизодический образ убогого флорентинского сапожника, которым восхищается Шулетт, еще раз развенчивает и самого Шулетта и его идеалы.

Создавая образ Шулетта, Франс использовал многие черты французского поэта-символиста Поля Верлена и частично — клерикального публициста Николардо. Вместе с тем он вложил в уста Шулетта и свои собственные политические идеи: Шулетт бросает резкие обвинения французской революции конца XVIII в. как революции буржуазной, страстно обличает современную ему демократию, основанную на социальном неравенстве, и мечтает о будущем справедливом строе. Но путь к всеобщей справедливости он видит в религии, в христианском социализме, и здесь Франс остро иронизирует над своим героем.

Оторванным от жизни мыслителям, проповедникам бездумного чувства и дельцам-политикам противопоставлена героиня романа как образец гармоничного человека, соединившего в себе глубину чувства и тонкую работу мысли. Именно в этом оправдание Терезы, секрет ее жизненной силы и даже возможность дальнейшего счастья после трагического разрыва с Дешартром.

Важнейшая задача Франса заключалась в изображении социальной среды, в которой живут его основные герои. В «Красной лилии» показаны несколько общественных сфер: французское светское общество конца XIX в., академические круги, мир искусства, высшие политические и военные сферы Третьей республики. Круг наблюдений здесь значительно шире, чем в любом салонном романе.

Светскую жизнь Франс рисует как жизнь банальную и пустую. Представители света — это либо опустошенные циники (княгиня Сенявина, маркиз де Ре), либо духовно ограниченные и убогие люди (г-жа Марме), либо корыстные и фальшивые интриганы (Даниэль Саломон, князь Альбертинелли). В «утонченном» свете отсутствует подлинная культура, здесь все равнодушно к искусству.

Еще в «Суждениях господина Жерома Куаньяра» Франс иронически изобразил Французскую академию, и академиков. В «Красной лилии» замечания Куаньяра получают свое развитие и образное воплощение. Безмерно тщеславный филолог Шмоль, бездарный академик —

«этриск» Марме и старый светский астроном Лагранж, глубоко равнодушный к науке, — все эти люди ярко воплощают честолюбивое убожество академического мира. Иного типа профессор Арриги, но Франс не случайно делает этого талантливого и жизнерадостного ученого итальянцем и помещает его в среду художников и поэтов.

Артистический мир изображен Франсом с явной симпатией. Поль Ванс и Дешартр, Вивиан Белл и даже Шулетт выше, глубже, чище светского и политического окружения Терезы. Талантливые, подлинно оригинальные натуры, они живут вне политических и светских интриг, живут своей напряженной духовной жизнью. Их разговоры об искусстве — постоянный фон «Красной лилии».

Тема искусства неразрывно сплетается с темой Италии. Франс знал и любил Италию, и прежде всего ее великое прошлое — античный Рим и итальянское Возрождение с его непревзойденными образцами искусства. «Красную лилию», полную итальянских образов и мотивов, он вначале предполагал назвать «Землею мертвых». Италия, воспроизведенная в романе, — это страна искусства, страна поэтов и артистов, столь не похожих на посредственных буржуа и аристократов современной писателю Франции. Роман Терезы и Дешартра развивается во Флоренции и Фьезоле, на фоне итальянской природы и итальянского искусства. Красная лилия, герб Флоренции, — это символ Италии. Красная лилия становится также символом любви Терезы.

И все же Франс отнюдь не призывает читателя уйти от французской действительности в «итальянскую» стихию любви и искусства. Люди искусства — Дешартр, Шулетт и Вивиан Белл — в свете основной психологической проблемы романа оцениваются Франсом, как люди ущербные. В то же время острая политическая критика, направленная в адрес современной Франции, преобладает над эстетическим любованием старой Италией — «землею мертвых».

Рисую политические кулуары Третьей республики, Франс ярко освещает разложение правящих французских кругов и обличает весь механизм политического управления страной. Политиканы «Красной лилии» говорят о высших интересах, которым они якобы подчиняют свои личные интересы и взгляды. Но все они беспринципны и глубоко враждебны народу. Интригуя и расставляя друг другу ловушки, они заботятся только о своей карьере. Циничный дележ портфелей на «деловом завтраке» у Мартен-Беллема отчетливо вскрывает истинные мотивы всей этой политической возни, от которой ничего не меняется в реальном положении страны и судьбе народных масс. Атмосфера Третьей республики начала 1890-х годов воскрешена в «Красной лилии» с большой полнотой. Мощный политический фон иногда даже заглушает психологическую драму. Перед читателем проходит целая галерея государственных деятелей, каждый из которых глубоко типичен. Среди них — и «немыслящий» политик депутат Гарен и влиятельный Бертье д'Эзелль, связанный с финансовыми кругами, и умный и циничный сенатор Луайе, открыто говорящий о своей ненависти к народу, и — полнейшее ничтожество — политик Гаво, и честолюбивый, посредственный Мартен-Беллем, и беспринципный и глупый генерал Ларивьер — все эти дельцы порождены гнилой системой буржуазно-республиканского государства. Позади депутатов и министров — направляющая рука финансиста Монтессюи, одного из хозяев Третьей республики.

В этом романе Франс еще не прибегает к гротеску, свойственному его более поздней манере письма. В обличении политиканов он нарочито сдержан и часто ограничивается отдельными штрихами, кратким диалогом, беглыми зарисовками. Но в этой сдержанности легко уловить сатирические интонации. Поэзия Франса, его отношение к персонажам и событиям выступают совершенно отчетливо.

В «Красной лилии» Франс не показал народа, не показал и растущего социалистического движения. Пути борьбы с общественным злом ему еще неясны. Но та острая критика Третьей

республики, которая содержится в романе, является критикой подлинно демократической. «Красная лилия» — первое крупное произведение Франса, в котором писатель, не прибегая к помощи прошедших эпох, разоблачает современную ему общественно-политическую жизнь.

В сотрудничестве с сыном г-жи де Кайаве, Гастоном, Франс драматизировал роман, и в 1899 г. пьеса была поставлена на сцене театра «Водевиль». Несмотря на блестящую игру актеров, она не имела успеха и бесследно исчезла с французской сцены. Текст этой пьесы не был напечатан.

В 1921 г. Франс выпустил в свет новое издание своего романа, в котором несколько изменил страницы, посвященные итальянскому искусству.

В мае 1955 г. автору «Красной лилии» поставлен во Флоренции памятник.

## Примечания

1

Перевод Э. Александровой.

2

Дорогая (англ.).

3

Вернон Ли — литературный псевдоним английской писательницы Вайолет Пейджет (1856–1935), автора романов, новелл и литературно-эстетических очерков. Увлекалась итальянским искусством раннего Возрождения и почти всю жизнь провела во Флоренции; Франс бывал в ее «вилле цветов» Пальмерино, у окраин Флоренции.

4

Мэри Робинзон (1758–1800) — английская актриса, поэтесса и романистка.

5

Берн-Джонс Эдуард (1833–1898) — английский художник, писавший картины на сюжеты легенд и рыцарских романов. «Тристан» — одна из его акварелей, стилизованных под «наивное» искусство раннего Возрождения.

6

...под портретом герцога Орлеанского. — Речь идет о графе Парижском (1838–1894), представителе орлеанской династии, свергнутой после революции 1848 г., претенденте на французский престол. Орлеанисты — монархическая группировка во Франции, приверженцы орлеанской династии.

7

...входил в состав кабинета в период изгнания принцев. — Закон, запрещавший пребывание во Франции главам двух династий — Орлеанской и Бонапартов, был проведен 22 июня 1886 г.

8

«Журналь де Деба» («Journal des Debats») — газета, представлявшая финансовые круги французской буржуазии.

9

Биметаллизм — двойная монетная система, при которой чеканились в определенной пропорции и золотая и серебряная монета. Споры о преимуществах биметаллизма приобрели особенно большой размах с конца 1880-х годов.

10

Антология — сборник древнегреческих эпиграмм, составленный в XIV в. греческим монахом Максимом Планудом на основе не дошедших до нас антологий I–VI вв.

11

Иезекииль (VI в. до н. э.) и Иеремия (VII–VI в. до н. э.) — по библейскому преданию, древнееврейские проповедники-пророки, именами которых названы книги Ветхого Завета, отличающиеся мрачным тоном.

12

Перевод Э. Александровой.

13

Моммзен Теодор (1817–1903) — немецкий историк и филолог, главный редактор издания латинских надписей.

14

Ренан Эрнест (1823–1892) — французский философ-идеалист, филолог и историк религии.

15

Опперт Юлий (1825–1905) — востоковед-ассириолог, по происхождению немецкий еврей, работал во Франции, по-видимому, явился прототипом Шмоля.

16

...в историческом замке Жуэнвиле... — В сведениях, сообщаемых о замке Жуэнвиль, А. Франс отступает от исторических фактов. Замок был построен в первой половине XVI в. первым герцогом Гизом на левом берегу р. Марны, а не Уазы. Архитекторы и декораторы Лего, Лебрен и Ленотр создавали в 1650-и годы не Жуэнвиль, а Во-ле-Виконт, роскошный замок близ г. Мелена, принадлежавший Фуке, министру финансов Людовика XIV.

17

...и либеральной Империи. — «Либеральной Империей» назывался последний период

Второй империи (1860–1870), когда правительство было вынуждено издать декрет о расширении прав Законодательного корпуса и сената и провести некоторые другие реформы.

18

...у старой шуанки, как она сама себя называет. — Французские аристократы-легитимисты называли себя шуанами в память контрреволюционных, роялистских мятежей «шуанов» (конец XVIII в.).

19

Лене Жозеф-Луи-Жоашен, виконт (1767–1835) — французский политический деятель, бонапартист, в дальнейшем роялист. В 1813 г. возглавлял комиссию, изучавшую отношения со странами коалиции, и в своем докладе в Законодательном корпусе подверг критике внешнюю политику Франции. Разгневанный Наполеон распустил Законодательный корпус и на ближайшей аудиенции в Тюильри назвал Лене мятежником, продавшимся Англии.

20

Удри Жан-Батист (1686–1755) — французский художник-анималист.

21

Альбигойцы (XII–XIII вв.) — религиозная ересь в южной Франции, выражавшая протест социальных низов против католической церкви. Папа римский организовал против альбигойцев кровавый крестовый поход.

22

Вальденсы — приверженцы средневековой ереси, возникшей в XII в. на юге Франции и широко распространившейся в европейских странах; в XVI в. по существу слилась с движением Реформации.

23

...притча о трех кольцах. — Имеется в виду восточное сказание о богаче, который тайно вручил каждому из своих трех сыновей, в знак особой власти, по одинаковому перстню. Боккаччо в новелле о мудром еврее Мельхиседеке использовал это сказание для доказательства равноценности иудейской, магометанской и христианской религий. Позднее, в целях борьбы с религиозным фанатизмом, эту новеллу обработал немецкий писатель-просветитель Лессинг в драме «Натан Мудрый» (1779).

24

...Норвен и Беранже, Шарле и Раффе создавали о нем легенду... — Норвен Жак-Марке, барон (1769–1854) — государственный деятель Первой империи; написал «Историю Наполеона» (1827–1828). Многие песни Беранже эпохи Реставрации посвящены солдатам наполеоновской армии. Шарле Никола (1792–1845) и Раффе Мари (1804–1860) — французские литографы и художники-баталисты, в своих картинах и рисунках прославлявшие Наполеона и его армию.

25

...тэновского кондотьера, который ударил Вольнея ногой в живот. — Французский историк Ипполит Тэн в своей книге «Происхождение современной Франции» называл Бонапарта «кондотьером» (начальником наемного войска). Ссылаясь на сомнительные источники, Тэн утверждал, что Бонапарт, будучи консулом и рассердившись на сенатора графа Вольнея, иронически отозвавшегося о проекте конкордата, ударил его ногой в живот с такой силой, что Вольней лишился сознания. Полемизируя с Тэном, Франс еще в 1887 г. отрицал достоверность этого эпизода («Тэн и Наполеон» — «Temps», 2 октября).

26

...от самого Мунье-сына. — Мунье Жан-Жозеф — французский политический деятель эпохи Революции и консульства; его сын барон Эдуард Мунье (1784–1843) занимал во время Империи высокие административные должности и играл видную роль в государственном аппарате вплоть до своей смерти.

27

Антмарки Франческо (1780–1838) — корсиканец по происхождению, последний врач Наполеона на острове Св. Елены, снявший с него посмертную маску. Автор мемуаров «Последние дни жизни Наполеона».

28

Галль Франц-Иосиф (1758–1828) — немецкий врач, основатель френологии, антинаучной теории о связи между наружной формой черепа и умственными и моральными качествами человека.

29

«Мемориал» (точнее «Мемориал Св. Елены», 1823) — дневник Э. Ласказеса, секретаря Наполеона на острове Св. Елены; вплоть до ноября 1816 г. он записывал все разговоры и замечания Наполеона.

30

Бюффон Жорж-Луи Леклер (1707–1788) — французский естествоиспытатель.

31

...в Люксембургском дворце... — В Люксембургском дворце происходят заседания сената. Купол библиотеки был расписан французским художником Э. Делакруа в 1845–1847 гг.

32

Преступление 2 декабря. — Имеется в виду государственный переворот, совершенный Луи Бонапартом 2 декабря 1851 г., уничтоживший республику и установивший во Франции Вторую империю.

33

...гобелены, ткавшиеся в Менси для Фуке... — В поселке Менси, близ замка Во-ле-Виконт, Фуке основал мануфактуру гобеленов, на которой работали фламандские мастера под руководством Лебрена.

34

Ленотр Андре (1613–1700) — французский архитектор и декоратор, создатель парков Во-ле-Виконта, Версаля, Трианона и др., разработавший особый «французский» (регулярный) тип парка.

35

...мозаик святого Виталия и двух святых Аполлинариев... — Церковь св. Виталия в Равенне, архитектурный памятник VI в., построена в византийском стиле и украшена монументальной мозаической живописью; два святых Аполлинария — две раннехристианские базилики, украшенные мозаиками в VI в.

36

Галла Плацидия (ум. 450) — дочь римского императора Феодосия I. Претерпев многие превратности судьбы, сумела возвести на трон Западной Римской империи своего несовершеннолетнего сына и правила от его имени. Мавзолей Галлы Плацидии, находящийся в Равенне, построен самой императрицей.

37

Вителлий Авл — римский император (69 г. н. э.); был ненасытным обжорой и, судя по дошедшему до нас мраморному бюсту (хранится во Флоренции), отличался необыкновенной тучностью.

38

Анненков. — Имеется в виду русский генерал Михаил Николаевич Анненков (1835–1899) — строитель Закаспийской ж. д. (1886–1888), вызвавшей интерес в политических кругах Европы.

39

Казимир-Перье Жан-Поль-Пьер (1847–1907) — премьер-министр (с декабря 1893 г. по май 1894 г.), в дальнейшем президент Третьей республики. Мартен-Беллем имеет в виду

сближение умеренных республиканцев с монархистски-клерикальными кругами, происходившее в начале 1890-х годов.

40

...вернуть конгрегации святого Франциска ее первоначальную чистоту. — Монахи нищенствующего ордена францисканцев, основанного в 1209 г. итальянским мистиком Франциском Ассизским, носили самую простую одежду и опоясывались белой веревкой, покрытой узлами.

41

...придворные епископы и театральные поэты семнадцатого века. — Имеются в виду религиозные стихи драматурга Пьера Корнеля (1606–1684), поэта Жоржа де Бребефа (1617–1661) и поэта-епископа Антуана Годо (1605–1672). Поль Ванс точно воспроизводит здесь суждения самого Франса о стихотворениях современного ему поэта Поля Верлена, основного прототипа Шюлетта.

42

Виоле ле Дюк Эжен-Эмманюэль (1814–1879) — французский архитектор; реставрировал архитектурные памятники средневековья (Собор Парижской богородицы, замок Пьерфон и др.), производя при этом их полную реконструкцию.

43

...молния, упавшая на пути в Дамаск. — Согласно евангельской легенде гонитель христиан Савл (будущий апостол Павел) по дороге из Иерусалима в Дамаск был ослеплен небесным видением, в результате которого немедленно обратился в христианство.

44

...это не в вашей витрине? — Слова: «Это не моя витрина» — приведены Франсом в одной из его статей (см. «Сад Эпикура») и затем в «Автобиографии» (1904).

45

Местр Жозеф де (1753–1821) — французский реакционный писатель, страстный клерикал.

46

Шамбор Анри-Шарль, граф (1820–1883) — внук короля Карла X и после его смерти претендент на престол.

47

...на гробницах Алискана. — Вдоль аллеи Алискан, близ г. Арля, были расположены гробницы, со временем почти полностью разрушенные; воспеты Данте.

48

Арен Поль (1843–1896) — французский (провансальский) поэт и писатель. Франс неоднократно писал о его провансальских песнях и посвятил статью его повести «Золотая коза» («Temps», 2 июня 1889 г.).

49

Донателло (1386–1466) — выдающийся итальянский скульптор. Известна его вырезанная из дерева статуя «Магдалина». Статуи св. Марка и св. Георгия, о которых неоднократно говорится в романе, принадлежат к лучшим работам Донателло.

50

...всем этим мисс Белл... — по-английски слово «Белл» (bell) значит колокол.

51

Гирландайо (Доменико Бигорди, 1449–1498) — выдающийся флорентинский живописец.

Чимабуэ (1240 — ок. 1302) — флорентинский живописец. Так называемая «Мадонна Руччелай» в церкви Санта-Мария-Новелла приписывалась ему ошибочно.

Ворт (1825–1895) — дамский портной, англичанин по происхождению, работавший в Париже; законодатель дамских мод.

Лев XIII — римский папа (1878–1903). Призвал французских католиков признать Третью республику. Под предлогом заботы о трудящихся, а на деле для борьбы с революционным движением, стремился создать во всех странах католические партии и профсоюзы.

Макиавелли Никколо (1469–1527) — итальянский писатель и политический деятель; считал, что только сильная монархическая власть способна объединить Италию, и рекомендовал правителям не считаться с правилами морали (трактат «Государь»).

Петр, Лин, Клет, Анаклет и Климент. — Петр (апостол), Лин, Анаклет и Климент I — папы I в., причисленные католической церковью к лику святых. Анаклет и Клет — одно и то же лицо, папа с 76 по 88 г.

Альдинские буквы. — Альды — семья венецианских типографов (конец XV–XVI вв.); применили в своих изданиях новый шрифт с наклоном вправо — так называемый «итальянский курсив».

Франсуа Вийон (род. 1431) — французский поэт, представитель демократических слоев средневекового города. В своих статьях Франс называл Верлена «мистическим Вийоном» и постоянно сравнивал обоих поэтов.

59

Перевод Э. Александровой.

60

О, светлый король Завтра (англ.).

61

...он ставил в вину дому Медичи... — Медичи — итальянский купеческий род, правивший во Флоренции в XV–XVIII вв. Флорентинский купеческий род Питти (XIV–XV вв.) своими колоссальными богатствами соперничал с Медичи.

62

Беноццо Гоццоли (1420–1498) — флорентинский живописец.

63

«Трубадур» — опера итальянского композитора Верди (1853).

64

Лоренцо Гиберти (1378–1455) — флорентинский скульптор.

65

Джотто и Мазаччо. — Джотто (род. 1266 или 1276 г., ум. 1337) — выдающийся флорентинский живописец, первый в западноевропейском средневековом искусстве обратился к реалистическому изображению человека, основатель так называемой «флорентинской школы». Мазаччо (1401–1428) — итальянский художник, один из наиболее замечательных представителей искусства раннего Возрождения.

66

...дочь Святого Людовика... пресвятой Елизаветы Венгерской. — Св. Людовик — Людовик IX, французский король (1226–1270), причисленный церковью к лику святых за участие в крестовых походах. Елизавета Венгерская (1207–1231) — дочь венгерского короля Андрея II, также причисленная к лику святых.

67

Фра Анджелико (1387–1455) — итальянский живописец, доминиканский монах, творчество которого носит религиозный характер.

68

Св. Себастиан — по церковному преданию, христианский мученик III в.; изображался обычно в виде красивого юноши, пронзенного стрелами.

69

Савонарола Джироламо (1452–1498) — флорентинский религиозно-политический реформатор. С позиций аскетизма выступал против искусства Возрождения, которое считал частью роскоши, окружавшей городскую знать. После народного восстания 1494 г. фактически стоял во главе Флорентинской республики. Сожжен на костре после подавления восстания.

70

Манфред (1232–1266) — король Сицилии, покровительствовавший жившим в Сицилии маврам (сарацинам) и пополнявший ими свои войска.

71

Гвидо Кавальканти (1259–1300) — итальянский поэт.

72

Перуджино (Пьетро Ваннучи, ок. 1446–1523) — итальянский живописец, один из учителей Рафаэля.

73

Дафнис — юноша-пастух, герой древнегреческого романа «Дафнис и Хлоя», приписываемого Лонгу (между II–IV вв.).

74

...жестокий римлянин... — Имеется в виду Юлиан Отступник, римский император (361–363), пытавшийся восстановить господствующее положение языческой религии.

75

Поллайоло Антонио (ум. 1498) — флорентинский живописец и скульптор. В галерее Уффици находятся две его картины, изображающие подвиги Геркулеса.

76

«Ослиная Шнур» — волшебная сказка Ш. Перро (1715). Ее героиня — королевская дочь, бежала от отца, одетая в ослиную шкуру, скрывалась на крестьянском дворе и делала черную работу на кухне в замке.

77

Метастазιο Пьетро (1698–1782) — итальянский поэт и драматург, автор многочисленных либретто для опер.

78

Перевод Э. Александровой.

79

...на выставке Марсова поля и у Дюран-Рюэля. — На Марсовом поле в Париже Академия художеств регулярно организовывала выставки произведений современных художников. В салоне Дюран-Рюэля, как правило, выставлялись произведения импрессионистов.

80

Перевод Э. Александровой.

81

Любовь моя (англ.).

82

...мода на Гвидо и Карраччи. — Гвидо (Гвидо Рени, 1575–1642) — итальянский живописец «болонской школы», имевшей большое значение в Италии в XVII в. и впервые сформулировавшей принципы академического искусства. С середины XIX в. болонская школа рассматривалась как начало упадка итальянской живописи. Карраччи: Аннибале (1560–1609), Лодовико (1555–1619) и Агостино (1557–1602) — итальянские живописцы болонской школы.

83

Мантенья Андреа (1431–1506) — итальянский живописец.

84

Альбани Франческо (1578–1660) — итальянский живописец болонской школы, ученик Карраччи.

85

Палаццо Барджелло (XIII–XIV вв.) — дворец во Флоренции, в котором находится Национальный музей.

86

Беатриче Портинари (ум. 1290) — реальное лицо, флорентинка, воспетая Данте в «Божественной Комедии».

87

...был настоящим доктором Болонского университета... — то есть ученым-схоластом. В 1058 г. в Болонье возник старейший в Европе университет, знаменитый своей школой права.

88

Жебар Эмиль (1839–1908) — французский литературовед, автор работ по итальянскому Средневековью и Возрождению.

89

...песнь, в которой Беатриче объясняет пятна на луне. — «Божественная Комедия», ч. III, песнь 2.

90

...фреске, которую они... видели вместе... Флоренцию и семь кругов. — Речь идет о фреске

Доменико Никкелино (1465) в соборе Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции; фреска изображает Данте в лавровом венке с «Божественной Комедией» в руках, на фоне Флоренции (справа), ада (слева) и чистилища, состоящего из семи кругов (в глубине).

91

Деталь Эдуард-Жан-Батист (1848–1912) — французский живописец-баталист.

92

Гупиль Адольф (род. 1806) — издатель гравюр, основавший в 1827 г. граверное предприятие и художественный магазин.

93

Симон (конец V — нач. IV в. до н. э.) — последователь Сократа. Некоторые его сочинения долго приписывались Платону.

94

Виктор-Эммануил II (1820–1878) — король Сардинии и первый король объединенной Италии (1861–1878). Будучи наследным принцем, носил титул герцога Савойского.

95

Либеччо — юго-западный ветер (итал.).

96

«Воистину, это дивный святой Георгий». — Этих слов в трагедии Шекспира нет.

97

Орканья Андреа (ок. 1308 — после 1368) — флорентинский живописец, скульптор и архитектор. В церкви Ор-Сан-Микеле находятся его главные скульптурные работы.

98

Квентин Массейс (1465 или 1466–1530) — выдающийся нидерландский живописец. Его работы отличаются правдивостью психологических характеристик и бытовых деталей.

99

...Панург у всех спрашивает, надо ли ему жениться... — Колебания Панурга (веселого спутника великана Пантагрюэля), намеревающегося жениться, описаны в 3-й книге романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

100

Розальба (1675–1757) — венецианская художница-портретистка, известная своими пастелями.

101

Св. Клара (ок. 1193–1253) — монахиня, основавшая в монастыре св. Дамиана женский францисканский орден «клариссинок».

102

Тогда он сочинил ликующий гимн... — В «Гимне солнцу», который согласно преданию сложен был Франциском Ассизским, автор называет солнце братом, а воду — сестрой. Ниже, в стихах Шулетта, приводится содержание этого гимна.

103

...похожа на мать Андре Шенье. — Мать французского поэта Андре Шенье (1762–1794) была

гречанка. Левантинка — жительница Леванта, то есть Ближнего Востока.

104

Бедекер — путеводитель для путешественников; назывался по имени немецкого издателя путеводителей Карла Бедекера (1801–1859).

105

Св. Антонин (1389–1459) — настоятель монастыря св. Марка во Флоренции, в дальнейшем с 1456 г. архиепископ Флоренции.

106

Холодные напитки (итал.).

107

Болонья Джованни (1529–1608) — нидерландский скульптор, работавший во Флоренции. Его скульптура «Похищение сабинянки» находится в галерее деи Ланци во Флоренции.

108

Весна (итал.).

109

Боттичелли Сандро (1444–1510) — флорентинский живописец.

110

Моррисон Альфред (1821–1897) — английский коллекционер произведений искусства и автографов.

111

Элиза, рожд. Бонапарт, по мужу Бачоки (1777–1820) — сестра Наполеона I, который в 1809 г. сделал ее великой герцогиней Тосканской. В этом звании она оставалась до 1814 г.

112

Парки — у древних римлян богини жизни и смерти, прядшие нить человеческой жизни. Кипарисы сажали на кладбище, как символ скорби.

113

...историю молодой любящей четы... — Эту христианскую легенду Франс пересказал в рассказе «Схоластика» (сб. «Перламутровый ларец»).

114

Макаронический стиль — шуточный литературный стиль, при котором слова родного языка перемежаются с искаженными иностранными словами или сами принимают иностранные (обычно латинские) окончания.

115

Лоэнгрин — герой одноименной оперы (1850) Р. Вагнера. Неизвестный рыцарь (Лоэнгрин), прибыв в ладье, влекомой лебедем, в страну герцогини Эльзы, женился на ней при условии, что она не попытается узнать его имени. После того как Эльза нарушила это условие, Лоэнгрин уплыл от нее в той же ладье, в которой прибыл. Франс посвятил опере Вагнера статью, и которой осуждал любопытство Эльзы («Temps», 17 апреля 1887 г.).

116

Мино да Фьезоле (ок. 1430–1484) — флорентинский скульптор.

117

Перевод Л. Успенского.

118

...как тот отшельник на фреске Кампо Санто в Пизе... — Речь идет о фреске «Триумф смерти», написанной пизанским живописцем Франческо Траини: на ней, среди других фигур, изображен отшельник — единственный, кто спасся от смерти во время флорентинской чумы 1348 г.; опираясь на посох, он поднимается в гору.

119

Флора — в древнеримской религии богиня цветов и садов.

120

Рикар Луи-Гюстав (1823–1872) — французский художник.

121

Карпо Жан-Батист (1827–1875) — французский скульптор. Речь идет о копии статуи наследного принца Наполеона, сына Наполеона III.

122

...в Бурбонском дворце... — В Бурбонском дворце в Париже заседала палата депутатов.

123

Могилы Шатобриана. — Французский писатель Шатобриан (1768–1848) был похоронен в

Бретани, на мысе, вдающемся в море, поблизости от курорта Динара, где отдыхает Тереза.

124

Всякого рода амуры для синьоры Терезины (итал.).

125

Каде де Гассикур Шарль-Луи (1769–1821) — придворный фармацевт Наполеона I.

126

...я как бы явился неким Моисеем. — Согласно библейскому преданию во время бегства евреев из Египта древнееврейский пророк и законодатель Моисей извлек воду из скалы, ударив по ней жезлом, и тем спас свой народ от гибели.

127

Анна и Кайафа — по евангельской легенде два иерусалимских первосвященника, добивавшихся осуждения Христа. Один из двух разбойников, распятых вместе с Христом, пожалел Христа, между тем как другой оскорблял его.

128

Перрель Габриэль (ок. 1602–1677) — французский художник, автор серии гравюр, изображающих виды Парижа и Версаля.

129

...чтобы новое министерство отвечало требованиям нового духа. — Речь идет о сближении в 1890–1893 гг. умеренных республиканцев с клерикально-монархическими кругами. 3 марта 1894 г. министр просвещения Спюллер призвал палату депутатов отказаться от антиклерикальной борьбы и назвал эту позицию «новым духом» Третьей республики.

...правительство шестнадцатого мая действовал наперекор республиканцам. — Речь идет о монархистском кабинете герцога де Брольи (17 мая 1877 г. — 19 ноября 1877 г.), образовавшемся в результате попытки президента Мак-Магона произвести во Франции монархический переворот; 16 мая 1877 г. президент сместил республиканский кабинет Жюля Симона и поставил у власти монархистов.

...поддержку, которую целых пятнадцать лет правая оказывала нам... — После неудавшегося монархического переворота Мак-Магона и укрепления у власти буржуазных республиканцев (1877) различные секции монархистов составляли правую оппозицию. К 1893 г. монархистско-клерикальные круги признали республиканский строй.

С 4 сентября 1870 года... — 4 сентября 1870 г. во Франции была провозглашена республика.

...узник Пелажи времен Баденге... — Сент-Пелажи — парижская тюрьма для политических заключенных (1792–1899). Баденге — насмешливое прозвище Наполеона III.

Левый центр — самая правая группировка буржуазных республиканцев, представлявшая интересы финансовых кругов и сохранявшая контакт с клерикалами.

...того, которому я предложил войти в состав кабинета. — Речь идет, по-видимому, о генерале Буланже, получившем портфель военного министра в 1886 г. и возглавившем в 1887–1889 гг. реакционно-шовинистическое движение («буланжизм»). Опасаясь государственного переворота, республиканцы во главе с президентом Жюлем Гриви (1879–1887) вывели Буланже из состава правительства (май 1887 г.), однако в дальнейшем

не сумели приостановить рост буланжистского движения.

136

...коллегу по Сен-Жерменскому бульвару. — На Сен-Жерменском бульваре помещалось Военное министерство.

137

Бюлье — танцевальный зал в Париже, посещавшийся главным образом студентами.

138

Здесь: времен королевы Анны (англ.).

139

...на арку гнусного Тита... — На триумфальной арке, воздвигнутой в Риме императору Титу (39–81) после победы над Иудеей, изображены римские солдаты, уносящие из иерусалимского храма священные предметы, в том числе канделябр с семью разветвлениями.

140

...от Елисейского дворца к набережной Вольтера. — Елисейский дворец — с 1873 г. резиденция президента республики; на набережной Вольтера в Люксембургском дворце помещается сенат.

141

Гамбетта Леон (1838–1882) — лидер буржуазных республиканцев, председатель палаты депутатов (1879–1881) и премьер-министр (ноябрь 1881 г. — январь 1882 г.).

В свидетели и в судьи дайте людям Иронию и Сострадание. — Ванс почти дословно цитирует слова А. Франса, высказанные им на страницах «Temps» и перепечатанные затем в «Саде Эпикура». Самая мысль об иронии и сострадании принадлежит Ренану (предисловие к «Философским драмам», 1888). Предыдущие слова Поля Ванса о власти голода, любви и смерти также воспроизводят рассуждения самого Франса в «Литературной жизни» и «Саде Эпикура».

...чудовища, которое унесло поэта Ариона на мыс Тенар... — Арион — древнегреческий поэт VII–VI вв. до н. э. По преданию, был брошен в море пиратами, но спасен дельфином, зачарованным его пением и перенесшим его на своей спине к мысу Тенар.

Перевод Э. Александровой.

...сторонником Конкордата... — то есть сторонником соглашения между государством и церковью (намек на сближение правых республиканцев с клерикальными кругами в начале 1890-х годов).